

М.В. Грулев

ЗАПИСКИ  
ГЕНЕРАЛА-ЕВРЕЯ

«Кучково поле» — «Гиперборея»

М.В. Грулев

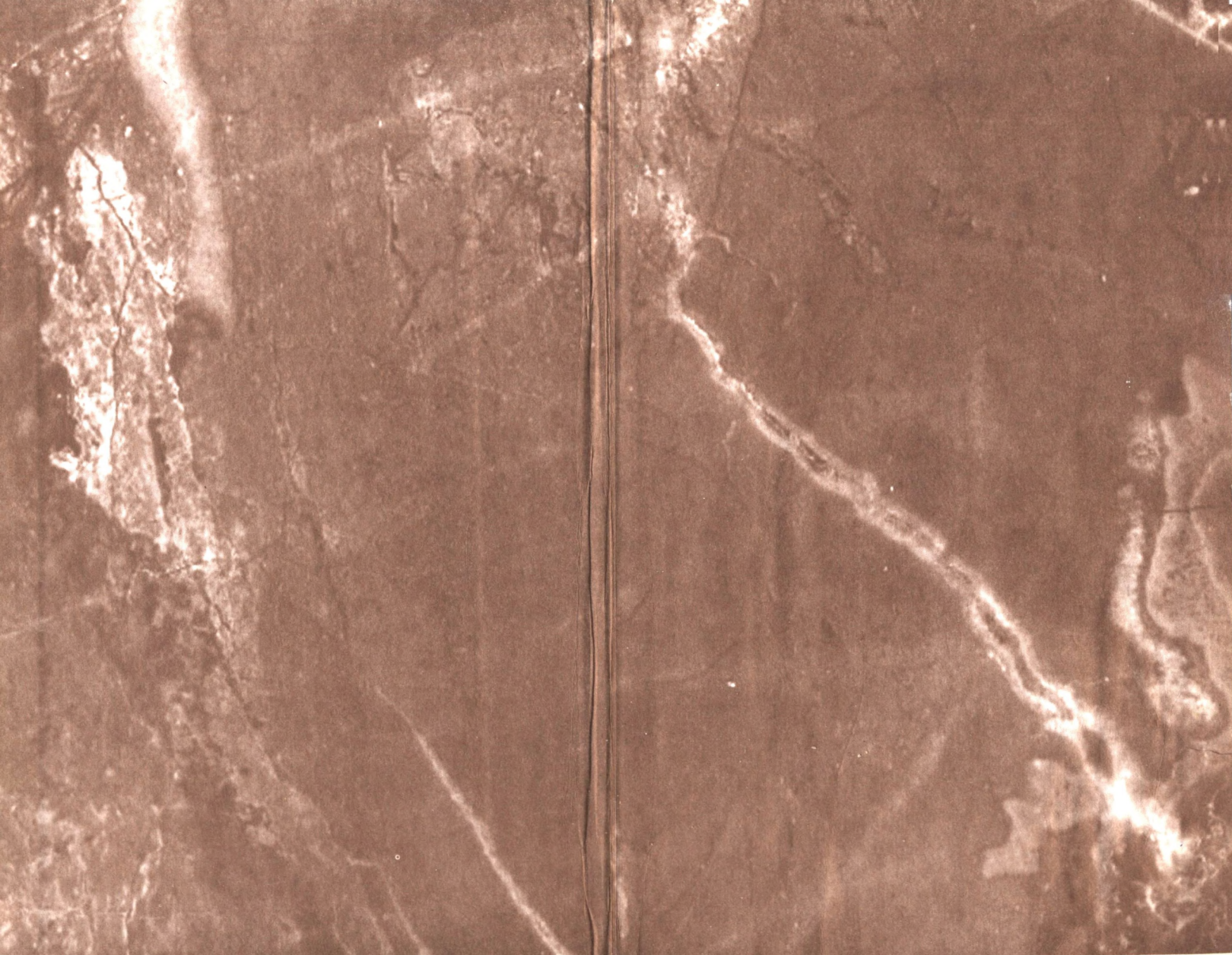
# ЗАПИСКИ ГЕНЕРАЛА- ЕВРЕЯ



ВОЕННЫЕ



МЕМУАРЫ







ВОЕННЫЕ  МЕМУАРЫ

**М.В. Грулев**

**ЗАПИСКИ  
ГЕНЕРАЛА-  
ЕВРЕЯ**

Москва  
«Кучково поле»  
«Гиперборей»  
2007

מספר הקליטת עליה בחיפה  
33041 חיפה 20 פרוץ  
ספריה  
8920  
9146/1

**Грулев М. В.**

Г90 Записки генерала-еврея / Примеч. В. Климанова и  
Е. Филишова. — М.: Кучково поле; Гипербория, 2007. —  
272 с. (Военные мемуары)

ISBN 978-5-901679-59-3

Судьба автора книги уникальна для России рубежа XIX–XX вв. Родившийся в простой еврейской семье, он сделал успешную военную карьеру: окончил Академию Генерального штаба, достиг генеральского чина. В своих воспоминаниях он дает широкую панораму жизни России того времени: еврейских местечек, военных гарнизонов, Академии, жизни столицы, Сибири, Кавказа, Туркестана.

**ББК 63.3(2)5**

*Последние мои думы и слова посвящаю памяти моих незабвенных родителей и многострадальному еврейскому народу.*

### **Мое исповедное слово**

Я родился и вырос в еврейской семье, в черте еврейской оседлости, отделявшей евреев, казалось, непроходимой пропастью от всякого доступа к какой бы то ни было карьере государственной службы. И, однако, волею судьбы, я стал генералом генерального штаба, на пути занять место временно-исправляющего должность военного министра (в 1909 г.) и ездить с докладом к Николаю II...

Все это не в какое-нибудь кипучее время революционных переворотов, а в эпоху наибольшего успокоения и блеска самодержавной власти, — когда евреев на пушечный выстрел не подпускали не то что к генеральским лампасам, а даже и к ефрейторским «лычкам», — когда даже при приеме к некоторые учебные заведения встряхивалось происхождение чуть ли не до второго и третьего поколения.

Если отмечаю эту превратность судьбы, как исходный пункт моих воспоминаний, в самом начале моих записок, то делаю это отнюдь не с целью заинтриговать читателя интересными метаморфозами, а для того, чтобы отметить, мимоходом, насколько в разное время изменчивы были взгляды творцов нашей внутренней политики и насколько

ко, в конечном итоге, беспильны все эти законодательные потуги, пытающиеся пошехонскими запрудами задержать могучий поток жизни.

Одуревляет меня и другая цель дать в печать эти записки. Моя сознательная жизнь не только зародилась, но и получила первоначальное развитие в еврейской среде, в заплесневелых условиях недоброй памяти черты оседлости. А затем дальнейшая моя жизнь развернулась в совершенно другой среде, при совершенно иных понятиях и взглядах и при другой обстановке. Это обстоятельство ставит меня, до известной степени, вне и выше тех и других социальных перегородок со всеми их предвзятыми взглядами и предрассудками и дает возможность, даже при скромной наблюдательности, осветить критическим анализом хорошие и дурные стороны в этих противоположных социальных лагерях.

Скажут, пожалуй: «А голос крови? А прирожденные симпатии и антипатии?»

Слов нет, эти данные неизбежно тяготеют над нашими суждениями и взглядами. Однако не так уж неотвратимо, как это кажется, и, во всяком случае, их влияние умеряется умственной зрелостью, настойчивой объективностью и естественной для каждого нормального человека врожденной любовью к правде, — в особенности, когда все счеты с жизнью покончены и приходится подводить итоги.

Самое важное, что я старательно и неусыпно держал всегда под светом моей совести, — это было то, что по мере сил я боролся, пассивно или активно, против несправедливых обвинений и гонений на евреев. Следуя, вот в этих случаях, «голосу крови» и велениям сердца, я, в то же время, видел в такой борьбе сокровенное и разумное служение России, моей Родине, по долгу совести и принятой присяги.



За *пятьдесят* лет моей литературной, публицистической и служебной деятельности я этому знамени никогда не изменял.

Двадцать лет жизни в тесной еврейской среде были, правда, достаточны для того, чтобы детская и юношеская восприимчивость впитала в себя не только сокровенную любовь ко всему родному, но и немало еврейских суеверий и предрассудков того времени. Но разве, с другой стороны, *пятьдесят* лет последующей зрелой жизни в другой среде, при совершенно иных социальных условиях, недостаточны для того, чтобы эти предрассудки рассеялись, как туман при ярком свете, оставив в тайниках сердца доподлинно лишь голос крови, — врожденную любовь и жалость к своему многострадальному народу? \* Разве эти пятьдесят лет умственной и трудовой жизни, при новом мировоззрении, недостаточны, чтобы сроднить с новой средой, претворить в ней впечатления детства и заложить прочный фундамент вполне сознательного влечения к новым идеалам, понятиям и взглядам?

Теперь, на склоне семидесяти двух лет, наступило время подводить итоги, — итоги двум полосам моей жизни. Для одной я постараюсь быть беспристрастным повествователем и критиком еврейской жизни конца 60-х и начала 70-х годов, — когда-то воспетых мною в стихах на древнееврейском (библейском) языке. Вторая полоса моей жизни дает мне возможность поведать много интересного со-

---

\* И я действительно испытал это на заре моей зрелой жизни, когда в 1880 г., во время еврейского погрома в Варшаве, будучи юнкером в Варшавском училище, я, под влиянием «голоса крови», схватил свою казенную винтовку и совершенно одинокий, если угодно, — донкихотствующим рыцарем, бросился на улицу Налевки призывать евреев к самообороне, не отдавая себе отчета в весьма печальных последствиях, к которым могло повести мое никак не понятое, незамеченное, и даже бесполезное самопожертвование.

вершено из другой области, — из того, что я видел, слышал и сам творил, как активный деятель, по своему служебному положению и по своей литературной и публицистической деятельности, начиная от «Голоса» Краевского и кончая «Общим Делом» В. Л. Бурцева.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
Гетто







## Глава I

### Детство в черте оседлости

*Время и место рождения. Происхождение моей русской фамилии. Вопрос о русских фамилиях среди евреев. Воспитание и образование среди евреев в старое время. «Хедер» и его курс наук. Талмуд и его подлинная роль в жизни евреев. Подготовка духовных раввинов. Талмудистская академия. «Ешиботники». Подготовка казенных раввинов. Первые еврейские казенные училища. Кантонисты.*

---

Чтобы не витать вне времени и пространства, я должен сказать несколько слов о времени и месте моего рождения. Это — отнюдь не для того, чтобы запечатлеть в анналах истории основные данные, касающиеся моей персоны, а чтобы рассказать попутно, как определялись акты рождения среди евреев в прежнее время, и что стало в наши дни с моей родной колыбелью, гор. Режицей, Витебской губернии, превратившейся в какую-то Латгалию, даже вне пределов России.

Точно определить время рождения в еврейской среде не так просто, как это бывает при метрических записях в церковных приходах или в гражданских учреждениях. Прежде всего у евреев нет обычая праздновать день рождения, — ни вначале, ни впоследствии. В библейской литературе проводится даже мысль, что выделение дня своего рождения есть акт нескромности: все мы рождаемся ничтожными, и только в дальнейшем или заслуги в жизни делают нас достойными внимания, или же мы проходим

наш жизненный путь, как незаметные тени. По этому одному уже ясно, что акт рождения ребенка не связан какой-нибудь регистрацией религиозного или юридического характера. Конечно, русские власти, в своих видах, завели впоследствии казенных раввинов, которые должны были регистрировать гражданские акты у евреев; но так как институт казенных раввинов имел чисто формальный характер, то все их акты были довольно проблематичны. Так шло дело до введения всеобщей воинской повинности в 1874 г., связанной, как известно, с определенным возрастом. Тогда от евреев потребовали представления посемейных списков, определение возраста по наружному виду и пр.

Но если у евреев не было юридических или религиозных актов, определяющих день рождения ребенка, то были другие бесспорные данные, определяющие возраст — по крайней мере, для мальчиков: это — день наступления религиозного совершеннолетия, когда мальчику исполнится 13 лет («бар мицве»). В религиозном сознании евреев внедрена уверенность, что до 13 лет за грехи мальчиков ответственны родители, а с 13 лет мальчик сам отвечает за свои грехи и поступки. День религиозного совершеннолетия мальчика, нечто вроде первого причастия у католиков и лютеран, почитается домашним праздником: приглашаются гости, и виновник торжества — не знаю, как теперь, а так было в годы моего детства — должен блеснуть в кругу знакомых специальной диссертацией из талмуда («дроще»), нарочито приготовленной к этому дню под руководством «меламеда» (учителя).

Мне, конечно, не пришлось блистать моей «дроще», потому что в день моего религиозного совершеннолетия я уже находился в русском училище, являясь пионером среди еврейских мальчиков моего городка. В кругу моей семьи этот день, однако, вспомнили. И так как мои покойные родители для моего «бар мицве» более надежным образом исчислили день моего рождения, чем для казенных

посемейных списков, то и я могу установить, что родился я не 20 мая 1858 г., как значится во всех моих документах, а 20 августа 1857 г.

Мне кажется нелепым, что по теперешней географии выходит, что меня, как родившегося в г. Режице Витебской губернии, могут считать уроженцем не России, а какой-то Латгалии, которая никогда не значилась ни в каких курсах географии, о которой никогда не слышали мы сами, жители этой самой Латгалии. Однако, бросая теперь, как говорится, ретроспективный взгляд на этот уголок бывлой Российской Империи, надо признать, что там действительно имелись налицо кое-какие признаки инородческой окраины. В праздничные и базарные дни, когда наезжали крестьяне, преобладал всюду чуждый говор — латышский язык; господствующее место в городе занимала не православная церковь, а католический костел. Русские власти старались перевести базар в новую часть города, за рекой, и насадить там новую жизнь, но это плохо удавалось: вся торговля, базары, магазины, все жизненные функции города и его населения видно крепко срослись со старой нерусской частью города; а на противоположном конце города, далеко за рекой, оставались изолированными присутственные места, православная церковь, разные казенные учреждения и квартиры чиновников.

Откуда в еврейской семье взялась моя чисто русская фамилия?

Вопрос этот на первый взгляд должен казаться, по меньшей мере, странным. Каким же и преобладать фамилиям среди русских уроженцев России, — будь то среди евреев или других инородцев? Но кто же не знает, сколько этот вопрос чреват был в России всевозможными скорпионами для ущемления исключительно евреев за перемену имен и фамилий еврейских на имена и фамилии русские. Конечно, имею в виду не перемену имени и фамилии, как заведомо гражданский подлог с юридическими послед-

ствиями, а лишь из побуждений чистого психологического, хотя бы и утилитарного характера.

Казалось бы, что тут удивительного или предосудительного? Разве мы не видим русских, задержавшихся в Америке, переназначивших свои имена и фамилии на американский лад? Полковник гвардии Александров превращается в «мистера Александра», Иван Иванов пишет на своей визитной карточке «Джон Джонсон». Это совершенно естественное общечеловеческое стремление по возможности не выделяться в той среде, где приходится жить. Не только негры, заброшенные судьбой в среду белых, охотно переменяли бы свой черный цвет кожи, если бы это от них зависело, но, думается мне, что и белые, очутившись среди негров, — если бы им уделили там такие гражданские права, как евреям в России, — постарались бы даже покрасить себя черной ваксой, не то что переменить фамилию.

Мало того, мы видим, что такие стремления свойственны не только отдельным лицам, но и большим коллективам — целым народам. Казалось бы, чем провинилась у турок традиционная турецкая феска, унаследованная от отцов и дедов? И вот они ее меняют теперь даже у себя, в Турции, на шляпы и фуражки, — только потому, что весь мир носит не фески, а шляпы и фуражки; туркам даже у себя дома хочется походить на все человечество, — и они меняют свой головной убор. Сотни миллионов китайцев носят косы; и даже соседние народы под влиянием китайской культуры отрасли себе косы. А теперь, после того, как китайцы вышли из своей замкнутой жизни на мировую арену и увидели, что большинство человечества без кос, — они начинают стричь свои косы.

Настолько вообще людям свойственно по-волчьи выть, когда приходится среди волков жить. Но когда евреи в России проявляли стремление перекраивать свои имена и фамилии на русский лад, то русские власти почитали это криминальным делом, — судили, штрафовали и пр. Прав-



да, это подлаживание у евреев в России, помимо психологического импульса, носило и утилитарный характер. Еще бы! Человека подвергают всевозможным уколам и пыткам, когда его зовут Борух Янкелевич. Вполне естественно, что он стремится облегчить себе существование хотя бы тем, что на визитной карточке или на торговой вывеске называет себя Борис Яковлевич. И он видит, что ему действительно тогда легче живется. Но нет! Вмешиваются власти и говорят — не смей! Пиши на вывеске и всюду Борух Янкелевич. Почему? Да нарочито для того, чтобы всем была открыта мишень, — чтобы не только закон, но и все, кому не лень, могли запускать в тебя ядовитые стрелы.

Зато не только не преследовали, но даже поощряли, если еврей, прославившийся талантами, переименовывал свое еврейское имя. Воображаю, какой переполох произошел бы, например, если бы известный пианист Антон Рубинштейн, награжденный даже дворянским званием, пожелал называть себя Герш Ицкелевич!

Однако я отвлекся в область полемики. Меня лично все это не касается. Мою русскую фамилию *Грулев* я не присвоил себя произвольно, а унаследовал от моего покойного отца. Это единственное наследство, которое досталось мне от моих покойных родителей, не считая, конечно, дорогих заветов для честной жизни, заложенных в здоровую душу в здоровом теле. Нужно ли сказать, что я не имею никаких оснований жаловаться на такое наследство, хотя бы и не одобренное никакими движимыми и недвижимыми? Ведь не подлежит никакому сомнению, что если бы я унаследовал фамилию не Грулев, а Рабинович, Янкелевич или что-нибудь в этом роде, то не бывать мне не только генералом, но и подпрапорщиком — будь я хоть семи пядей во лбу и православнейшим из православных. Такова воля судьбы, или игра случая, что досталась мне необычная в еврейской среде фамилия *Грулев*, унаследованная от отца, которая сама собою проложила мне не-

обычную для моей среды дорогу жизни, помимо всяких усилий с моей стороны, как читатели увидят ниже.

Посыл ли мой дед и прадед фамилию Грулев, я не знаю, потому что никаких бархатных или коленкоровых книг у евреев, конечно, не было. Да и фамилии, вообще, среди евреев введены были только лет сто тому назад, одновременно с так называемой «первой ревизской сказкой». Тогда от евреев потребовали, чтобы глава семьи, помимо имени, имел и фамилию.

Так как мой отец имел тесные отношения с какими-то военными\*, то, вероятно, под влиянием этих близких русских знакомых отец облюбовал или ему подсказали фамилию Хрулев. Однако, фамилия эта, принадлежавшая одному из наиболее популярных севастопольских героев, генералу Хрулеву, стала известной только после осады Севастополя, т. е. много лет после того, как отец мой усвоил эту фамилию: так что трудно сказать, что у моего отца было что-нибудь преднамеренное в желании присвоить себе фамилию, овеянную ореолом славы. Вероятнее всего, отец мой случайно облюбовал фамилию, которая впоследствии была прославлена под Севастополем. Фамилию Хрулев отец мой писал по-еврейски с начальной буквы, соответствующей немецкому придыхательному звуку *H*, который в русском алфавите заменяется через *G*. Таким образом, у меня получилась фамилия Грулев, вместо Хрулев.

Мои воспоминания детства очень бедны какими-нибудь выдающимися событиями, потому что окружающая жизнь протекала тускло и однообразно. Все вращалось около мелких интересов домашнего быта в кругу родной семьи и наличных родственников, живших в одном городе с нами. В моей семье нас было три брата и четыре сестры. Я был младшим в семье, «последышем» или «поскребы-

---

\* Мне в детстве приходилось слышать от отца фамилии полковника Семучева, Колокольцова и др.

шем», как это принято называть, или «музинником», как это называется на жаргоне. Со стороны родителей «музиннику» выказывалось, конечно, больше нежностей и ласки, сравнительно с остальными детьми.

Здесь уместно отметить удивительную суровость отношений, существовавшую в то время в еврейском быту между родителями и детьми-подростками. Это может показаться странным, так как всем, напротив, хорошо известны большая любовь и нежность еврейских родителей к детям, доходящие часто до самопожертвования. Но почему-то в прежнее время у старозаветных евреев признавалось как бы непристойным проявлять внешне нежность и любовь к детям-подросткам. Не знаю, чем это объяснить, но это так. Мне врезалось в память воспоминание, как мой покойный отец, не выдавший одно время своей семье около месяца, нежно обнял меня, 12-летнего мальчика, и поцеловал при свидании. Потому-то и запомнился мне этот поцелуй, что не часто это повторялось.

Первый домашний обряд над еврейским мальчиком, не считая обряда обрезания, совершается, когда ему исполнится три года, — это стрижка волос, которая совершается в кругу родных и знакомых и сопровождается угощением гостей и одариванием ребенка. Когда мальчику исполнится 6–7 лет, его отдают в «хыдер» — элементарную школу, где он остается 7–8 лет и более. Начав с обучения элементарной грамотности на древнееврейском языке, переходя от одного меламеда к другому, более ученому, мальчик-юноша кончал изучением талмуда с разными комментаторами.

Полагаю не лишенным интереса привести здесь в общих, конечно, чертах этот полный курс, который в старые годы проходил мною, а может быть кое-где и теперь проходит в хыдерах.

Первоначальное обучение азбуке и чтению на библейском языке проходит у меламедов, так сказать, низко-

пробных, которые сами не претендуют на большую ученость. У такого меламеда обучались в хыдерах 10–15 мальчиков, которые поочередно подходили к учителю, и он, держа в руках маленькую заостренную указку («тайтеле»), заставлял учеников громко выкликать букву за буквой с их подбуквенными знаками.

Замечу мимоходом, что в библейском языке вместо гласных имеются подбуквенные знаки; так что, например, первая буква азбуки — *алефъ (а)* становится о, а, э, и, у, — в зависимости от того, какой знак стоит под нею; вторая буква азбуки — *бызь (б)* произносится бо, ба, бе, би, бу, в зависимости от подбуквенного знака, и т. д.

Тем временем, все прочие ученики тоже громко и нараспев повторяют все пройденное. Не трудно себе представить, какая получается ушираздирающая какофония, слышная даже на порядочном отдалении от хыдера.

Должно быть, это шумное изучение грамоты свойственно многим восточным народам, потому что такое же голосистое зазубривание уроков мне приходилось впоследствии наблюдать в элементарных школах маньчжурских, туркменских и др.

Когда мальчик утвердится в знании азбуки и элементарного чтения, начинают проходить с ним чтение и перевод на жаргон повседневных молитв. Замечу мимоходом, что все, без исключения, молитвы изложены на библейском языке. Единственное исключение сделано для замужних женщин, при зажигании ими свечей в пятницу вечером. В виду слабого развития древнееврейской грамотности у женщин, они, при благословении субботних свечей, произносят соответствующую молитву на жаргоне.

Так как первоначальное обучение грамоте, а также и молитвам, совершенно обязательно и неизбежно для каждого еврейского мальчика, хотя бы и для круглых сирот, то невозможно себе представить неграмотного в этой области еврея. В моих детских воспоминаниях встает единствен-

ный случай, когда со всех сторон буквально тыкали пальцем на какого то заезжего еврея, который, по слухам, не знал по безграмотности молитв.

Следующая ступень, — это изучение «Торы» (Пятикнижие). Потом — «Пророки», и, наконец, венец наук, изучение Талмуда с его многочисленными комментаторами, — что начинается, примерно, с 10–11-летнего возраста и продолжается бесконечно, до гробовой доски, которой, между прочим, у евреев нет, так как хоронят покойников прямо в земле: «из земли ты пришел — в землю сойдешь»...

Мальчики отправлялись в хыдер ежедневно, не позже 7–8 часов утра, и оставались там весь день до 8–9 часов вечера, т. е. около двенадцати часов с перерывом лишь на два часа, когда отпускались домой на обед. В зимние вечера ученики поочередно должны были приносить свечку для общего пользования. Возвращались все домой с фонарями, веселой гурьбой, радостные и счастливые, что вырвались хоть на кратковременную свободу из под надзора своих строгих меламедов. Отношение этих последних к ученикам было всегда сурово, а иногда и бессмысленно жестоко: оплеухи и плетка сыпались за дело и без дела; а ученики мстили своим палачам тем, что... лупили козу меламеда, портили его часы, стараясь вообще пакостить своему мучителю всем, чем только возможно, конечно — втихомолку.

По достижении 13–14-летнего возраста обыкновенно заканчивалось учение в хыдере, и либо мальчик бросал совсем хыдерные науки, либо продолжал изучение талмуда в «быс-медресе», (молитвенном доме), соединившись для этого с каким-нибудь ровесником («хавер»), — товарищем одинаково сильным в науках. Эти великовозрастные ученики с утра до глубокой ночи, с перерывом только на время молитв, утренних и вечерних, неистово оглашали воздух зубрением талмуда, являя этим благочестивым занятием предмет зависти для правоверных евреев.

Так продолжались занятия еще года два-три; затем и перед юношами, и перед их родителями вставал роковой вопрос: а дальше что? Именно у евреев этот вопрос был роковым, потому что для еврейских подростков или юношей поле деятельности было крайне ограничено: какими талантами они не обладали бы, каких премудростей не нахватались, — все же для них были закрыты все доступы хотя бы к самым скромным постам на службе государственной или общественной. Оставалось одно — продолжение профессии родителей, т. е. мелкая торговля или ремесла.

Многие, однако, пытались продолжать обычные занятия по изучению талмуда с туманной перспективой прослыть ученым или стать духовным раввином. То и другое обещали, впрочем, довольно эфемерные блага, разве в загробной жизни, но в дальнейшем земном существовании ничего привлекательного не сулили.

Что такое талмуд, и в чем его содержание? По этому вопросу в долготу веков поломано столько ученых перьев и даже боевых копий, пролито столько чернил, а подчас и потоков еврейской крови, что с моей стороны может казаться, по меньшей мере, большой нескромностью соваться в эту вековую распрю с поверхностными суждениями. Я, однако, изучал в свое время талмуд, и хотя не дошел до больших глубин его схоластической премудрости, имею все же ясное представление о его поучениях, не только просветленное житейским опытом современной жизни, научным и умственным кругозором, но и расширенное отрешением от унаследованных предрассудков, связанных с религиозными верованиями и кабалистическими фетишами талмуда. Некоторый критический анализ с моей стороны мне представляется поэтому вполне уместным.

Замечу прежде всего, что в глазах иноверцев, не евреев, талмуду придается совершенно несоответствующее ему значение в мировоззрении и обиходе еврейской жизни. Полагают обыкновенно, что правоверные евреи черпают

из талмуда непреложные правила для повседневной жизни. Это потому уже не соответствует — да едва ли и соответствовало когда-нибудь — действительности, что между содержанием талмудистских трактатов и разнообразием нашей жизни, в ее современном виде, нет ничего общего: с одной стороны омертвелые формулы, из которых давным-давно испарились всякие проблески жизни, — остались мумии в истлевших пеленах, окутанные ворохами туманнейшей софистики; а с другой стороны — бьющая живым ключом современная жизнь в ее бесконечных переменах. Какое же тут может быть взаимодействие, влияние или применение? Напротив, талмудист у евреев был синонимом человека, никчемного в практической жизни.

Затем, изучение талмуда в прежнее время у старозаветных евреев — про нынешние поколения и говорить не приходится — само по себе не имело характера изучения религиозных правил с целью применения их в житейской практике, а считалось просто благочестивым занятием, во исполнение заветов религии. Мне часто приходилось видеть неискушенных в премудростях талмуда пожилых евреев, которые с религиозным рвением предавались чисто механическому чтению талмуда, понимая очень мало из того, что с таким упоением, нараспев и раскачиваясь, смаковали из этой схоластики.

У правоверных евреев считалось даже обязательным правилом иметь в доме весь комплект талмудических трактатов в хороших переплетах. По тому времени это составляло порядочную ценность, которая погашалась срочными платежами долгие годы. Курьезно то, что книги эти никому не давались и никогда не раскрывались: наличность их просто представляла собой акт благочестия.

Что касается содержания талмудической науки, то в прежнее время правоверные евреи, глубоко невежественные и совершенно чуждые всего, что касается современных общечеловеческих наук, были, однако, совершенно

убеждены в том, что талмуд обнимает собою все без исключения человеческие знания, что все прочие человеческие науки — сущий пустяк по сравнению с талмудом.

Вспоминается мне поучительный факт из моей юношеской жизни. Беседуют два еврея, оба научившиеся читать по-русски. Один читает другому написанную на русском языке маленькую брошюру по физике, где часто повторялась фраза — «само собой разумеется», но оба собеседника, видимо, ничего не понимают в прочитанном и с крайним удивлением поглядывают друг на друга, взаимно спрашивая и удивляясь, что ничего не понимают...

— Поняли вы что-нибудь, реб Ицхок?

— Ничего не понимаю! А вот тут все твердят «само собой разумеется»; а ведь мы, слава Богу, умеем читать по-ихнему, и все ихнее понимаем.

— А может быть тут что-нибудь такое, чего мы не знаем?

— Э, что там у них может быть такое, чего «гморе-коп» («талмудистская голова») может не знать?

Подобно правоверным магометанам в отношении Корана, благочестивые евреи были глубоко убеждены, что сокровеннейшие знания таятся только в талмуде, что чего нет в талмуде — то ложно и вредно знать, и, во всяком случае, все решительно доступно пониманию и знанию талмудиста.

Между тем, содержание талмуда, как я уже заметил выше, представляет собою крайне отвлеченную схоластику, не имеющую ничего общего с современной жизнью, чуждую не только малейших проблесков современных наук, но неспособную даже наводить простой ум человеческий на размышление о предметах обыденных. Самые знаменитые творцы талмуда, почитаемые в древнееврейской литературе как столпы всеобъемлющих знаний, в действительности ничего не оставили потомству, кроме кудреватых толкований, вдобавок к уже существовавшим коммен-



тариям какой-нибудь кабалистики или темных мест талмуда. А что касается какой бы то ни было области мировоззрения или обыденной человеческой жизнедеятельности, то мы встречаемся здесь с круглым невежеством, граничащим с непостижимыми нелепостями с точки зрения современных понятий.

Для подкрепления сказанного можно бы привести множество примеров и указаний, но ограничусь лишь несколькими, всплывшими на память. Вот, например, тезис такого рода: «Всем существам, живущим на земле, соответствуют такие же, живущие в океане, — за исключением крота». И никаких фактов, никаких рассуждений! Аксиома, которая должна быть принята на веру!

При всем том, не только религиозно настроенные невежественные потомки, но и сами творцы талмуда были очень высокого мнения о своей универсальной учености. Вот как, например, о познаниях в области астрономии выражается один из наиболее знаменитых творцов талмуда, Самуил из Нахардоу: «Пути небесных светил, — говорит он, — мне столь же ясны, как тропинки моей деревни Нахардоу» (Ныгирин ли свилы д'ркия кы свилы д'Нахардоу). Напрасно стали бы мы искать каких-нибудь тезисов или указаний по астрономии со стороны этого ученого. Кроме горделивой фразы — ничего.

В позднейшие, сравнительно, эпохи, лет 70–80 тому назад, когда искание истины и дух свободомыслия, нет-нет, да и врывались в ряды ученых талмудистов, — стали появляться редкие толкователи талмуда, стремившиеся примирить его обветшалые поучения, если не с современной наукой, то хотя бы со здравым смыслом. Одним из таких современных комментариев к талмуду является объемистый трактат «Гамафтыях» — т. е. «ключ» к познанию талмуда. Но эта попытка внести луч света в мрачные дебри талмуда, как в свое время философия Спинозы, встретила жестокий отпор со стороны старозаветных евреев.

Автор книги объявлен был еретиком — «апикыресс», энцикуром, а учение его — ересью.

Я остановился несколько подробнее на учении талмуда и его содержаниях, потому что, по всеобщему мнению, ему приписывается исключительное значение в практической жизни евреев. Но, как я уже заметил выше, это совершенно не соответствует действительности. Выросло уже несколько поколений, которые совершенно чужды талмуду, — знают его не более, а пожалуй и меньше, китайской грамоты, давно уже вполне равнодушны ко всяким вопросам религиозного характера, а тем более к разным толкованиям талмуда, и гораздо больше интересуются делами национального и политического значения, имеющими интерес жизненный, — вроде колонизации Палестины и Аргентины, или земельных наделов в России и т. п. Изучение же талмуда в настоящее время, сколько могу судить по чужим свидетельствам, представляет собою теперь явление очень редкое среди евреев и характеризуется просто, как занятие чисто религиозного рвения, что, конечно, является уделом очень немногих.

Для совершенствования в высшей талмудической учености существовало в мое время нечто в виде талмудической академии, — «быс-ешибет», — в местечке Воложин, кажется, Виленской губернии. Туда стремились еврейские юноши в поисках одолеть сокровенные премудрости талмуда. Собственно, никакой определенной организации в прохождении каких бы то ни было курсов там не существовало. Просто являлись туда полунищие юноши из разных мест еврейской оседлости и под руководством ученых талмудистов принимались за изучение талмуда с его бесконечными комментаторами.

Заслуживает внимания организация внутренней жизни этой бурсы. Помещение, — т. е. укромный уголок для сна — представлялся даром в каком-нибудь общежитии, но продовольствия — никакого. Для личного пропитания

каждый бурсак, «ешибот-бохер», имел свой день у кого-нибудь из местных жителей, переходя каждый день цели на дневное пропитание от одного хозяина к другому. Надо удивляться самоотверженности этих последних: сами в большинстве полунищие, едва добывая скудное питание для своей семьи, урывали они от себя тощие куски, чтобы кормить чужих великовозрастных бурсаков, обладавших всегда волчьим аппетитом. И все это — ради богоугодного дела, чтобы предоставить им возможность изучать «святую тору», как в простой массе еврейской называлось священное писание.

Какая карьера, какая будущность вообще ожидала этих ешиботников? Предполагалось, в принципе, что эта талмудическая академия призвана снабжать еврейские общины духовными раввинами. Но такое счастье выпадало на долю очень немногих, потому что духовные раввины оставались на своих местах пожизненно, а потому потребность в их пополнении нарождалась очень редко. Когда же, наконец, такой спрос нарождался, общины самостоятельно делали выбор из старейших и известных кандидатов откуда бы то ни было, нисколько не считаясь с кандидатами Воложина. Считалось достаточным, если кандидат общины признан был соответствующим назначению по выдержанию экзамена в знании талмуда перед тремя наиболее известными учеными талмудистами. Ешиботники Воложина оставались, таким образом, в стороне.

Зато туда обращались иногда наиболее благочестиво настроенные родители в поисках ученых женихов для своих дочерей-невест. В общем эти бурсаки влачили крайне неприглядную жизнь. Обездоленные во всем, вынужденные придерживаться строгого, хотя бы наружного, благочестия, — эти юноши обречены были на прозябание в лучшую пору жизни: для них закрыты были самые скромные, самые примитивные развлечения, отчасти вследствие нищенского существования, отчасти вследствие обязатель-

ного, напускного ригоризма в строе жизни, чтобы быть достойными аспирантами благочестивой карьеры.

В конце 60-х годов лучи света начинают проникать в эти мрачные закоулки еврейской жизни. К этому времени относится учреждение в Вильне правительственного раввинского училища для снабжения еврейских общин и училищ казенными раввинами и учителями. До ешиботников в Воложине дошли глухие слухи о нарождающейся где-то иной жизни, о лучшей матерьяльной обстановке и лучшей карьере еврейской молодежи, избравшей новый путь в жизни. Сильно интриговали какие-то неизведанные светские науки, которые преподавались в раввинском училище в Вильне.

Кроме того, кое-какие общеобразовательные предметы стали появляться в переводе на жаргон и древнееврейский язык, и разные учебники контрабандным путем попадали в Воложин в руки молодых талмудистов. Истомившись в мертвящей схоластике талмуда, любознательная молодежь с жадностью набрасывалась на живую науку, открывавшую для них буквально новый мир. Продолжая, для видимости, корпеть за фолиантами талмуда, бурсаки рьяно отдавали все свои умственные силы на занятия общеобразовательными предметами. Не побывав в учебных заведениях, добывая с невероятными усилиями запрещенные книги, занимаясь украдкой днем и ночью, то прикрываясь толстым фолиантом талмуда, то ночи напролет просиживая, при тусклом свете добытой «шабашувки», над учебниками по общеобразовательным предметам, — многие бурсаки прямо из ешибота являлись в высшие русские учебные заведения и блестяще выдерживали вступительные экзамены, проявив себя впоследствии на разных поприщах общественной и государственной деятельности.

В конце 60-х годов, под влиянием охвативших всю Россию просветительных реформ, в городах и местечках ев-

рейской оседлости начинают возникать правительственные школы грамотности специально для еврейских детей школьного возраста. Открытие таких школ нарочито обставлялось со стороны правительства некоторой помпой, при обязательном участии местных властей и представителей еврейских общин. Эти последние делали вид, что охотно идут навстречу правительственным начинаниям в деле насаждения просвещения среди евреев; но между собою, по крайней мере ортодоксальные евреи, т. е. подавляющее большинство, немало ворчали на новшества, которые, по их мнению, имели одну цель — выращивать «гоев» из еврейских детей.

Посещение этих школ считалось в принципе обязательным. Создалась своего рода школьная повинность, обязывавшая родителей посылать детей в школу. За исполнением этой повинности должны были следить казенные раввины, — они же заведывали и преподаванием в школах. Одно это обстоятельство служило порукой, что повинность эта не будет проводиться со всей строгостью, потому что начальством являлся в данном случае казенный раввин, т. е. свой же еврей, во многом зависевший от еврейской общины. Но знаменательным является этот назидательный факт — стремление со стороны русского правительства насаждать просвещение среди евреев, хотя бы насильственным путем.

Не мало поощряли евреев к посещению русских учебных заведений путем стипендий и денежных пособий. Сам я получал какую-то стипендию, без всякой надобности, без всякой просьбы с моей стороны, просто, как подарок, 60 руб. в год за прохождение курса в уездном училище. Непостижимо для меня то, что даже после окончания мною училища начальство усиленно предлагало мне продолжать посещение училища, обещая повысить стипендию.

Словом, для евреев уже тогда, 60–70 лет тому назад, введено было, по крайней мере на бумаге, обязательное

обучение грамоте, хотя для русского населения этого еще не было. Вот как правительство заботилось тогда о просвещении среди евреев!

Разохотив, таким образом, евреев к образованию, правительство затем не знало, что и придумать, чтобы тем или иным путем стеснить, ограничить и парализовать стремление евреев к свету, им же самим вызванное.

В г. Режице, на месте моей родины, открытие начальной школы в середине 60-х годов обставлено было большой торжественностью, в присутствии властей, с произнесением речей и пр. Первый контингент учеников насчитывал что-то около нескольких десятков мальчиков, преимущественно великовозрастных — как потому, что русская грамотность вообще была мало распространена среди еврейских детей школьного возраста, так и потому, что таких мальчиков родители не решались отрывать от хыдера.

Большой, сравнительно, крашенный дом, где помещалось училище, с вывеской, на которой под золотым орлом значилось золотыми буквами — «Еврейское Казенное Училище», — служил немалой приманкой для детей, привыкших к убогой лачуге своего хыдера. Еще большей приманкой служило то, что по праздничным дням, т. е. по субботам, мальчишки-ученики школы предпринимали загородные прогулки стройными рядами и, щеголяя знанием русского языка, распевали «Птичку Божью» или еще какую-то другую русскую песенку вроде следующей:

Нынче свет уж не таков  
Люди изменились,  
Стало меньше дураков,  
Люди просветились...

и т. д.

Этот прогресс сильно импонировал мальчикам отсталым, ученикам хыдера, и им также страстно хотелось попасть в школу «под орел», чтобы маршировать и распевать русские песни.

Мне тоже очень хотелось попасть в эту школу, и я упрашивал товарищей счастливец, уже попавших в училище, чтобы они на меня «донесли», т. е. чтобы меня потребовали в школу; но все мои маневры не имели успеха, не помню по каким причинам.

С завистью смотрел я на некоторых сверстников, которые, подпрыгивая, шли в «школу с орлом» с русскими книжками в клеенчатой сумке.

Вообще, открытие казенных училищ для евреев внесло тогда заметное оживление в унылую еврейскую жизнь. Правительство придумывало всевозможные меры, чтобы приохотить еврейских родителей к посылке их детей в русские школы...

И как все это изменилось впоследствии!»

Если вспомнить, какие только препоны ни придумывались в царствование Александра III и Николая II, чтобы всякими правдами и неправдами, елико возможно, затруднить евреям доступ к просвещению, то невольно ахнешь, — какими только зигзагами ни шла у нас внутренняя политика в отношении всего, что хотите, но главным образом — в деле законодательства об евреях! Приходили новые люди и с ними неизбежно приходили новые песни.

Немало наслышался я в детстве о предшествовавшей эпохе Николая I, когда созданием кантонистов стремились к ассимиляции евреев прямолинейным путем, крутыми мерами, свойственными общему характеру правительственных мероприятий того времени. Каких только ужасов не рассказывали у нас об этой дикой ассимиляции, — столь же дикой, как и жестокой!

Под видом закона о воинской повинности, вырывали из еврейских семейств малолетних детей 7–10 летнего возраста, которых «забривали» в солдаты и угоняли партиями, по тогдашним понятиям «на край света». На этапных пунктах, среди ночи, просыпались эти ребятишки-солдаты, с плачем призывая «маму»; и бедный солдат-дядька

беспомощно бился с этой детворой, не зная, что делать, не будучи в состоянии даже понимать свою команду.

С годами подростки обучались грамоте, определялись в писарские школы и, конечно, обращались в православие. Надо признать, что в горниле суровых испытаний и жесточайшего режима, в продолжении многих лет, из кантонистов выработался особый тип закаленных служак, которые вообще характеризуют Николаевскую эпоху.





---

## Глава II

### Быт домашний и религиозный в черте оседлости

*Сходство жизни в городе и деревне. Ригоризм семейной и супружеской жизни. Взаимоотношение полов, родителей и детей. Характеристика еврейской молодежи старого времени. Брак: «бахден», его песни и поэзия. Гигиена брака и супружеской жизни. Характеристика экономического положения. Быт религиозный. Миснагдим и хасидим. Цадики и их роль в старые годы. Мой визит к цадику. Взаимоотношение религиозного и домашнего быта. «Шулхан-орех». Ригоризм в пище и одежде. Насильственная реформа при Николае I. Характеристика годовых праздников в старое время.*

---

Небольшой в то время, а теперь богатый и сильно разросшийся г. Режица состоял из одной длинной улицы, прорезавшей почти весь город из конца в конец, сплошь занятой разными торговыми заведениями, принадлежавшими почти исключительно евреям. К этой большой улице с одной стороны почти вплотную примыкали бесконечные поля и огороды, которыми владели преимущественно русские жители города. Насколько бытовая сторона жизни городских жителей, русских и евреев, сплелась с деревенщиной, можно судить по характеру построек; например, наш дом, расположенный в центре самой торговой и оживленной части главной улицы города, имел по своим надворным постройкам вполне характер деревенской усадьбы: во всю длину двора были вытянуты бревенчатые

клетки с засеками для ссыпки зерна, с большим сеновалом под крышей; далее — каретный сарай, тоже с сеновалом, рядом коровник, нуля, или стадола. Вся эта сторона надворных построек заканчивалась примыкавшей к обширным огородам конюшней на три стойла; из конюшни — большое квадратное отверстие для выбрасывания навоза прямо в огород. Конец двора замыкался бревенчатой стеной, посреди которой небольшая калитка, ведущая в бесконечные поля и огороды, тянувшиеся до горизонта.

Чем не деревенская усадьба? И это в самом центре главной торговой улицы города.

Такого же деревенского характера устройство и внутреннее расположение хозяйственной части дома: кухня с огромной русской печью, с обширным напечником, на котором зимой сушат лучину для освещения, на кухне только. Подпечник служил обиталищем для домашней птицы зимою. Для приготовления пищи обыкновенно разводили небольшой огонь под треножником на припечнике; большая же печь топилась только в пятницу утром для выпечки субботних булок («хале») и в пятницу днем — для приготовления всех блюд на всю субботу, т. е. с вечера пятницы до вечера субботы. Кроме пятницы, печь топилась еще раз в неделю для выпечки хлеба — ржаного, конечно.

Не только хлеб в большинстве, если не во всех, городских хозяйствах пекли дома, но во многих домах у городских жителей обыкновенно стояли в сенях ручные жернова, крайне примитивного устройства, на которых перемалывали в крупу ячмень, овес и пр. Часто, бывало, проснешься ночью от однообразного, едва придушенного шума этой домашней ручной мельницы, на которой прислуга или хозяйка, поднявшись с петухами, вертели вручную каменные жернова. При этом каторжном труде перемол получался крайне грубый, но при непряхотливом вкусе того времени легко удовлетворялись такой крупой.

Вспоминаю еще другое крайнее сближение быта городских жителей с деревней: на кухне очень часто для освещения пользовались лучиной. Насколько дешево ценился труд, можно судить по тому, что порядочная вязка лучины, не меньше 50–70 штук двухаршинной длины, покупалась за 5 коп. А ведь, кроме труда и времени, потребных для расчепки лучины, что-нибудь стоил и материал. Полежав с неделю на печке, лучина делалась очень сухой и горела не больше минут 5–10; так что то и дело надо было не упустить время для зажигания новой лучины и выбросить огарок из «снетца»; одной вязки лучины все же достаточно было на два-три утра, от петухов до рассвета. В комнатах пользовались сальными свечами — «шабашувками», или масляными лампами. Сальные свечи тоже не покупались, и очень часто они фабриковались дома.

Существовал еще такой обычай: когда, случалось, в семье был тяжелобольной, то, испробовав все медицинские снадобья, прибегали к последнему средству — обмериванию нитками дорогих сердцу могил, своих и чужих, на еврейском кладбище, и эти нитки употребляли затем на фитили для сальных свечей особого назначения — изучать при их свете святую Тору.

Керосиновые лампочки появились около середины 60-х годов, сначала в виде примитивных жестяных ночников; но это были такие коптилки, которые долгое время не могли вытеснить ни сальных свечей, ни даже лучину на кухне.

Семейный быт у евреев проникнут был большой патриархальностью, свойственной вообще среде более или менее первобытной, неискушенной претенциозным образованием со всеми его запросами к жизни. О политике, вносящей иногда разлад в жизнь старших и младших, тогда и помину не было. Впрочем, вспоминаю, что дома у нас говорили иногда, крайне сдержанно, полушепотом и с оглядкой, о «Колоколе» Герцена. Но подобные разговоры были, вообще, что называется, с поля ветер. Никакими во-

просами политики, внутренней или внешней, как не имеющими прямого и непосредственного отношения к благополучию евреев, не интересовались. Все помыслы направлены были всегда на лютую заботу о добывании куска хлеба для семьи.

Этой заботой определялась вся, так сказать, мирская жизнедеятельность. Все же, что имело отношение к духовной жизни: взаимоотношение родителей, членов семьи, брак, семейное начало и пр. — все это из поколения в поколение давным-давно унаследовано было в строго определенной форме, уложенной в определенные рамки, согласно требованиям религии, и поддерживалось и соблюдалось наравне с десятью заповедями Моисея.

Вне семейной близости между полами не допускалось ни в малейшей степени. Мужчины и женщины всех возрастов никогда не здоровались за руку. Знакомые и незнакомые между собою мужчины и женщины могли вступать в разговор только по делу, но не для праздной беседы; они никогда не могли бы пойти вместе, рядышком, на прогулку. Это, по меньшей мере, принято было среди ортодоксов; а другие, прогрессисты, составляли большую редкость в черте еврейской оседлости, потому, что, если бы нашлись такие отступники от общепринятых нравов, то их заклевало бы общественное мнение, а мальчишки просто отравили бы им существование.

Вспоминается мне из моего детства факт такого рода. Поселился в нашем городке откуда-то приехавший еврей-парикмахер, у которого была молодая жена. Самое ремесло парикмахера уже считалось в то время передовым и либеральным, — потому что кто же тогда чувствовал потребность в этом искусстве, в особенности среди евреев, когда можно было стричь друг друга без всяких парикмахеров, домашним способом, — схватив одной рукой щепотку волос и подрезав ее ножницами; претендовать на стрижку «под гребенку», — это было уже неслыханным фран-

товством. Естественно, что появление парикмахера было уже большим новаторством; и неудивительно, что парикмахер делал попытки вести себя как человек передовой, и однажды позволил себе надине, у себя дома... поцеловать свою жену. На его беду мальчуганы подсмотрели в окно эту супружескую вольность. Бедному парикмахеру потом долгое время проходу не было от атак и освистков еврейских мальчуганов-озорников за такое нарушение еврейских нравов.

Я выше заметил, что не знаю, чем объяснить этот ригоризм в семейном и супружеском отношении в еврейском быту. Думается мне, однако, что объяснение тут есть, и оно вполне психологического характера. Долгими веками в еврейском мироощущении выработалось горькое сознание — увы, вполне обоснованное, что евреи — пасынки в семье народов, что они изгнанники, в вечном плену («голес»), что радость и счастье жизни не для них; что не к лицу еврею амурные нежности.

Даже скромное открытое веселье считалось предосудительным. Вот для характеристики еще одно воспоминание из моего детства. Появились в нашем городе еврей-лесопромышленники, которые хорошо зарабатывали; поэтому, на общем фоне безысходной еврейской нищеты, они прослыли богатеями и денежными аристократами. Однажды один молодой лесопромышленник вздумал «кутнуть», т. е. вместе с товарищем стал распивать бутылку наливки, закусывая жареным гусем. Придя в веселое настроение от выпитой наливки, молодой кутила засучил вдруг немного укороченные фалды своего лапсердака и пустился в пляс. Присутствовавшие при этом два-три посторонних свидетеля-еврея пришли от такого необычайного зрелища в неописуемое изумление: еврей веселящийся, даже пляшущий, не в праздник «симхас-торе» (Радость-Торе, — день ежегодного праздника, когда еврею не только разрешалось, но он обязан был веселиться), а в будний день! Присут-

ствующие были крайне шокированы таким непристойным поведением.

Так это было в дни моего детства, — лет шестьдесят тому назад. А вот как г. Литовцев описывает жизнь современных евреев в Палестине: «...Сложившийся в Палестине быт очень веселый. Я думаю, нигде в мире в еврейской среде нет столько непосредственной веселости здоровой. Много песен, хороводов, плясок, смеха. Такой стихийной радости в еврейской среде я на своем веку не видывал...»

Да неужели это так!

Насмотревшись немало на своем веку всякого людского горя, пережив много лютых дней в моей мирной и боевой жизни; видя, наконец, и крушение моей Родины, я был бы безмерно счастлив на закате моей жизни видеть радость и веселье на месте горя и печали, всюду где есть люди, где бьется любящее человеческое сердце; но, признаюсь, у меня невольно наворачиваются особые горячие слезы умиления, когда слышу, на старость лет, что луч радости и веселья заглянул, наконец, хоть в небольшой уголок обездоленной и мрачной жизни еврейского народа, в течение многих веков знавшего только плач и горе!

Продолжаю мои воспоминания из семейного быта того времени. Для женской половины, не исключая молодых и юных, не допускалось франтовства или кокетства. Конечно, родители сами выбирали женихов или невест, и юные молодожены могли увидеть друг друга не ранее, как у брачного ложа, когда они стали уже мужем и женой.

Всегда удивлялись и кричали про плодовитость евреев. Но что же тут удивительного, если принять во внимание, что юноши или молодые люди у евреев никогда не знали женщин до своей женитьбы? Эта жгучая проблема пола, которая так остро волнует мыслителей и моралистов всех времен и народов, у евреев давно уже была решена и закреплена на практике. Разве мыслимо было в старые годы, на моей памяти, встретить еврея большого не

только сифилисом, но и какой бы то ни было венерической болезнью!

В холостяцком кругу никогда нельзя было бы услышать даже при интимной беседе каких-нибудь салтных анекдотов. Это не в обычае было; да и у еврейской молодежи просто отсутствовала всякая практика в этой области, — недоставало, так сказать, фабул для таких анекдотов, не говоря уже о том, что эта скверность строго запрещалась религией. Талмуд на этот счет выражается так: «Всем известно, зачем идут под венец; но если кто оскверняет язык свой — не достоин царства небесного» («кол гамнабэл пив ын лы хейлек л'юлам габо»).

Требование принятой морали, которые предъявлялись женщине, были еще строже, чем к мужчинам. Девушка, которая согрешила перед браком, не только не могла рассчитывать на выход замуж, но никоим образом не могла бы оставаться в своем городе. Да это была такая редкость, что и не запомню такого случая, хотя бы понаслышке. Считалось непристойным не только какое бы то ни было кокетство со стороны женщины, но даже голос ее в пении не должен быть слышен. Что бы сказали нынешние еврейские примадонны, если бы знали, что Талмуд так выражается на счет женского пения: «Кыл б'ишо — эрво» («голос женский (в пении) — одна скверность»)..

Гигиена брака и супружеской жизни обставлены были у евреев теми же утрированными требованиями и запретами, как и все прочее в семейном и домашнем быту; потому что все регламентировалось требованиями религии и бесчисленным множеством комментаторов, измышления которых принимались к обязательному исполнению. Достаточно сказать, что в супружеской жизни муж не должен был дотронуться, буквально, до своей жены во все время менструационного периода. Это, конечно, чересчур строго; но — как это гигиенично и предусмотрительно с точки зрения гигиены семейной жизни!

Но вот дальше уже утрирование «Шулхан-Оруха»\*, граничащее с крайней нелепостью и бессмыслицей. Когда указанный период прошел, муж не может сблизиться с женой, прежде чем разрешит раввин, после того как этот последний убедится, по вещественным доказательствам, что период этот действительно уже прошел. Для этого старушки-посредницы обыкновенно прибегали к раввину — когда на дом, а иногда даже в синагогу в присутствии посторонних, и таинственно, под платком, демонстрировали вещественные доказательства. Раввин тщательно рассматривал и изучал эти следы, после чего решал, следует ли менструационный период считать оконченным или нет. Если да, то, после надлежащего омовения в «микве», жена становилась доступной своему мужу. Предоставляю критикам и гигиенистам судить, насколько это все утрировано, дико и примитивно, но насколько это, в то же время, нравственно и гигиенично для здоровой семейной жизни.

Брачный союз, как я заметил выше, решался исключительно родителями с обеих сторон. Подбор производился, конечно, отчасти по признакам социального и материального положения; но важным стимулом служила в отношении жениха его ученость — знание талмуда, а в отношении невесты — знатность рода («яхсен»): есть ли какой-нибудь раввин в близкой или дальней родне и т. п., и тогда определялась сумма приданного со стороны невесты.

Не стану описывать былые обычаи и нравы сватовства, свадебные порядки и пр. Но не могу удержаться,

---

\* Точный перевод — «накрытый стол». Это трактат, регламентирующий всю жизнь еврея во всевозможных подробностях повседневного существования, что и как есть, как ходить, сидеть, спать, одеваться и пр., и пр. Несмотря на то, что этот регламент составлен сравнительно недавно, лет 150 тому назад, и базируется только на расплывчатых и туманных иногда намеках Талмуда, являющегося, самого по себе, только толкованием и изложением Божьего закона — евреи ортодоксальные, т. е. подавляющее большинство, придерживались в жизни очень строго всех требований этого трактата.



чтобы не сказать несколько слов о весьма своеобразной и талантливой поэзии на жаргоне, которая народилась на свадебных пирах в конце 60-х и начале 70-х годов. Важным действующим лицом на еврейских свадьбах того времени был «бадхен» — своего рода декламатор, на обязанности которого было увеселять публику остроумными виршами, каламбурами, куплетами и проч. Выдающимся бадхеном в указанные годы прославился некто в Вильно, который стал распевать на свадьбах собственного сочинения прелестные поэмы своей собственной музыкальной композиции, полной задушевной мелодии. К его весьма талантливым произведениям относятся: «Плачь Рахили», «Почтальон», «Железная дорога» и проч., которые многие годы распевались в черте еврейской оседлости. Если бы такой талантливый поэт и композитор родился не на жаргоне, в еврейском гетто, а на языке большой нации, то он наверное прославился бы не в одном только г. Вильно. Но в бедной еврейской среде он до конца дней влачил убогую долю свадебного бадхена, — тоже воспетую им в жгучих стихах с рыдающей мелодией.

Обязанный веселить гостей и молодых, бадхен часто рисовал и тени предстоящей им тяжелой жизни. Ведь молодым приходилось начинать жизнь с ничего. Чтобы облегчить такое положение, выговаривался обыкновенно, вдобавок к приданному, год-другой жизни у родителей невесты на всем готовом. Молодые за это время могли осмотреться и, прежде всего, исполняя завет «плодиться и множиться», нарожать детей, обеспечивая вполне, в большинстве случаев, прирост нищих. Чем обыкновенно могла заняться молодая чета средней руки, кроме мелкой торговли или ремесла родителей? Ведь всякие другие ресурсы к жизни — служба общественная, государственная и т. п. — для еврея были закрыты. Оставалось только факторство и мелочная торговля.

Для этой последней не требовалось почти никакого оборотного капитала. Делалось это очень просто: пришло время выкупить товар для своей лавчонки — бежит тогда купец к соседнему лавочнику и перехватывает у него «гмилус-хесед» — т. е. беспроцентную ссуду, у кого 5, у кого 10, у иного 3 рубля, и таким образом сварганит требуемую сотню для доставки товара в свою лавчонку. По мере того, как наторгует что-нибудь, он выплачивает свои гмилус-хеседы. На другой день таким же образом бегаёт по лавкам соседний лавочник, — также собирая гмилус-хеседы для закупки товара в свою лавочку... Таким образом весь «гостинный двор» из нескольких десятков лавочек торгует на один и тот же нищенский оборотный капитал в какую-нибудь тысячу рублей.

Нищета евреев в черте еврейской оседлости, в особенности как мне приходилось ее видеть много лет спустя, когда я уже был офицером, была потрясающей. Удивительно, как это все знают хорошо богатства Ротшильда или какого-нибудь Полякова, про которых говорят много, хотя их мало кто видел; но никто не знает и знать не хочет повальной нищеты массового еврейского населения, которая у всех перед глазами.

Казалось бы, что тут удивительного, если среди 10 миллионов евреев на земном шаре есть богатей Ротшильд. Таких богатеёв должно бы быть не один, а десятки, даже сотни таких крестов. Ведь эти десять миллионов из века в век обречены были всюду на занятия почти исключительно торговыми и финансовыми делами, — такая арена, на которой могут нарождаться иногда денежные миллионные состояния. И что же, родился миллионер Ротшильд, — один за 100 лет — и евреям его никак простить не могут. Этот Ротшильд у всех перед глазами; его преувеличенные богатства прикрывают невероятную нищету массового еврейского населения, обреченного в черте оседлости буквально на полуголодное существование.

Теперь, после пережитых революций, при большевистском режиме, материальное положение евреев в России еще более ухудшилось. Лишенные своих обычных занятий мелкой торговлей, массы евреев впали в крайнюю нищету. Но, как раньше указывали на богатея Ротшильда, когда заходила речь о материальном положении евреев, так теперь указывают на десятки, на сотню благоденствующих комиссаров-евреев, которыми должны быть сыты сотни тысяч голодающих.

Словом, от евреев требуется, чтобы они вечно были в нищете, всюду только на низах, гонимы не только околдочным, но и дворником. Но им не простят, если среди них проявится какой-нибудь Ротшильд или Троцкий, — хотя, в то же время, все охотно признают за ними, в теории и на практике, выдающиеся качества на всех поприщах человеческой жизнедеятельности.

Возвращаясь к сказанному выше относительно нынешнего материального положения евреев в России. Не в пример старому режиму, когда правительство усиленно загоняло миллионы евреев в нищету, не отдавая себе отчета в крайнем вреде, с государственной точки зрения, создавать у себя дома массу нищих и обездоленных — кто бы они ни были, — которым терять ничего, ответственные заправила в нынешней России не могли и не должны были оставаться безучастными к такой социально-экономической аномалии государственного масштаба. Стали искать выход, и решили прийти на помощь еврейской бедноте наделом пустопорожных земель в разных уголках советских республик. Решение, казалось бы, вполне естественное и целесообразное с государственной точки зрения; тем более, что крестьянское население, надо полагать, уже достаточно насыщено прирезкой земель помещичьих и казенных. Подобная же мера — стремление приучить евреев к земледелию — создать колонии еврейских хлебопашцев, предпринята была еще задолго до большевиков, при Ни-

колае I. Были отведены тогда обширные земли на юге России в нынешней Херсонской губернии и в других местах, с выдачей переселенцам порядочных денежных субсидий. На моей памяти, в начале 60-х годов, встает неулегшаяся еще тогда тяга еврейских переселенцев на юг, в «Харсан».

То же самое предприняли теперь большевики, желая повторить старый опыт в виду необходимости решить обостренный вопрос о пропитании обнищавших и голодных масс городского еврейского населения.

Но возопили и запротестовали наши ура-патриоты со всех сторон. К ним примкнули подхалимы даже из еврейской среды: не должны-де евреи принимать земли из рук большевиков! Как-де впоследствии Россия отнесется к такому факту, что благополучие (?) евреев устроилось при большевиках, в годину разорения России?

Другими словами, не в пример помещикам и нашим знатнейшим эмигрантам, готовым — пусть не все — хоть сейчас примириться с большевиками ценой возврата хотя бы маленьких имений, — от евреев требуют, чтобы они учинили себе хакакири на могиле старого режима.

Полагаю совершенно излишним вдаваться в подробности религиозных вопросов вообще. Это завело бы меня далеко. Да и едва ли это представляет какой-нибудь интерес в наше время. Ограничусь только некоторыми общими чертами религиозного быта в том виде как он существовал лет 60 тому назад, для того, чтобы можно было судить, какие перемены внесла переживаемая нами эпоха даже в этот окаменелый строй еврейской жизни, который казался крепко-накрепко забаррикадированным многовековым наслоением всевозможного религиозного мусора.

Прежде всего еврейские общины того времени в отношении религиозных верований, даже и в домашнем и общественном быту, были расколоты на две половины — «миснагим» и «хасидим». Это, строго говоря, не расколовшиеся секты, а общее расхождение в силу возникшего

когда-то спора по религиозным толкованиям заветов и преданий. Причем одна половина, именно хасиды, отличавшиеся большим фанатизмом, увлекались все дальше и глубже по пути мистического изуверства и религиозной фантастики. Появились у них особые святые — «цадики», святость которых переходила даже наследственно, по нисходящей линии. Это были настоящие владыки, властвовавшие над всей духовной жизнью своих адептов. Надо удивляться, как это в недавнее, сравнительно, время, среди людей поглощенных житейским реализмом, не чуждых иногда некоторого образовательного развития, рядом с запросами современной умственной жизни, могло ужиться такое добровольное порабощение.

Правоверные хасиды настолько преданны были своим цадикам, что ничего не предпринимали без того, чтобы не посоветоваться и испросить благословение цадика. Что бы ни случилось в семье хасида — женить надо взрослого сына, молодая невестка не приносит потомства, внедрилась хроническая болезнь, обрушилось преследование властей, — обо всех житейских невзгодах прежде всего испрашивается совет и благословение цадика.

В конце 60-х и начале 70-х годов в мире хасидов особой славой пользовался цадик из местечка Любавичи, в пользу которого ежегодно делались сборы среди его приверженцев: говорили, что доходы его простирались до нескольких десятков тысяч рублей в год. Сам я в 1875 г., — тогда уже 17-летним юношей, свободомыслящий и начитанный в древнееврейской литературе, сам уже пробовавший свои силы в поэзии и прозе на древнееврейском языке, — по дороге в Могилев на Днестре, во время остановки в местечке Любавичи (ездили тогда на лошадях) возымел смелую мысль повидать цадика, чтобы поближе проверить его святость. Без большого труда, в числе других паломников я был допущен в святые-святых для хасидов. Я ломал голову, какой бы придумать предлог для моего посещения, свя-

занного, якобы, с нарочитой поездкой к его святейшеству. В раздумье над этим вопросом я неожиданно был введен на аудиенцию к «раби», не успев остановиться на каком-нибудь определенном решении. В последнюю минуту я необдуманно ухватился за обычную банальную причину паломничества к цадику — пожаловаться на бездетность. Когда раби спросил меня, давно ли я женат, то я совсем сконфузился и не сразу мог ответить. Я почувствовал, что меня охватил пронизывающий взгляд умных глаз цадика, которому, очевидно, показалось подозрительным и мое благочестивое целомудрие, самое мое посещение. Я еще больше смешался и, пролепетав несколько слов, ретировался.

Я слышал впоследствии, что, благодаря многочисленным посещениям поклонников всевозможных состояний и званий, выслушивая разнообразнейшие перипетии подлинной жизни, цадик, вполне естественно, приобретает глаз зоркий, наметанный, способный уловить своего собеседника с первого взгляда. А в данном случае, со мной, не требовалось много пронизательности, чтобы обезоружить меня с первого слова, и я ушел, что называется, не солоно хлебавши.

Сравнительно более индифферентные в делах религии, считающие себя до некоторой степени свободомыслящими, миснагды изошрялись в вышучивании хасидов и их цадиков во всевозможных сатирах, в стихах, прозе и на сцене. На этой последней шумный успех имела прелестная оперетка «Ни бе, ни ме, ни кукареку», которая по капризному разрешению властей была однажды поставлена на сцене в Петербурге в начале 70-х годов и музыка которой так пришлась по вкусу русской публике, что десятки лет танцевали кадрили под эту музыку во всех клубах Российской империи, столичных и провинциальных. Тогда же появилась на древнееврейском языке прелестная сатира какого-то анонимного автора, под названием «Олом

к'миного ноэг», т. е. «Свет, каков он есть», в которой весьма едко и остроумно осмеивались цадиким, хасиды и их изуверства. Автор, конечно, подвергся бы гонению со стороны влиятельных хасидов, если бы не скрылся под псевдонимом.

Вообще, к престижу своих цадиков хасиды относились чрезвычайно ревниво и, как вообще люди, одержимые слепым фанатизмом, отличались крайней нетерпимостью к инакомыслящим.

Рознь между миснагдим и хасидим была настолько значительна, что вопрос этот всплывал не только в делах религии, но и в обыденных деловых сношениях, даже в вопросах семейного родства. Возникал ли вопрос о торговой сделке, о предстоящем сватовстве и т. п., — сейчас же первый вопрос, к какому толку принадлежит договаривающаяся сторона — миснагдим, или хасидим.

Конечно, молитвенные дома были совершенно отдельные у тех и других, и даже сами молитвы заключали в себе существенное различие. Почти ежедневно, а по субботам обязательно, хасиды непременно окунались в микве перед утренней молитвой; во время самой молитвы проявляли чрезвычайный раж: размахивали руками, подпрыгивали, неистово раскачивались, пронзительно выкрикивали слова молитвы и т. п.

Судя по всему, что я слышу, читаю и знаю про теперешнюю жизнедеятельность евреев в России, надо думать, что в современных настроениях еврейских масс, во всем их мироощущении произошел глубокий внутренний переворот, отразившийся на всем укладе их жизни и на характере религиозного и умственного мировоззрений, по сравнению с описываемой мною эпохой 60-х годов.

Если такие эволюции, вообще говоря, совершенно естественны и неизбежны у всех народов, на протяжении почти трех четвертей века, то в отношении еврейской народности тут сказываются еще особые причины религи-

озного характера, а также пережитые жестокие встряски социально-экономического и политического порядка. Относительно первых надо заметить, что испокон веков евреи жили взлелеянной надеждой о приходе Мессии, который должен собрать евреев со всех концов света и повести их в обетованную землю для новой райской жизни. Но по всем расчетам и преданиям, все сроки для прихода Мессии прошли, а его все нет как нет. Пропали последняя надежда и вера в спасительное освобождение даже у самых правоверных, а вместе с надорванными чаяниями проникли в народные массы разочарование и некоторый индифферентизм к делам религии.

Огромное влияние на бытовую сторону жизни оказали вопросы социально-экономического характера: появление сионизма, жестокие преследования, которым подвергались русские евреи в царствования Александра III и Николая II и, наконец, экономические потрясения, пережитые в последние годы после трех революций в России.

Не берусь судить о современном строе жизни евреев в России, известном мне только теоретически, как я ни интересовался и ни интересуюсь этим вопросом, столь дорогим и близким моему сердцу. Возвращаюсь поэтому к описываемой мною эпохе 60-х годов.

Жизнь ортодоксальных евреев того времени, т. е. почти всей массы еврейства без исключения, вращалась между синагогой и повседневными занятиями. В мире нет народа, который до такой степени был бы поглощен религиозным культом, как евреи, у которых все закоулки жизни, вся без исключения жизнедеятельность регламентируется требованиями религии. Запросы религии поглощают чуть ли не столько же времени, сколько уходит на все прочие занятия для добывания хлеба насущного.

Ежедневно, с утра, нельзя взяться за какое-нибудь дело пока не отбыл утренней молитвы («давнен») — по возмож-



ности непременно в синагоге, в обществе не менее 10 человек («миньон»). Эта утренняя молитва, в соединении с разными беседами и ожиданиями, пока наберется 10 человек молящихся, длится не менее 1–2 часов. Около 4–5 часов дня — сумеречная молитва («минхе»), после которой, едва вернешься к себе домой, как надо опять идти в синагогу для вечерней молитвы («майрив»).

Эти три молитвы, вместе с приготовлениями и хождением в синагогу взад и вперед, отнимали не менее трети рабочего дня и считались совершенно обязательными для сколько-нибудь набожного еврея. Но благочестивые евреи не довольствовались этим, а вставали задолго до рассвета и при еле мерцающем свете особой тонкой свечильнички, свернутой в клубок, читали еще особые молитвы. Некоторые из этих молитв, более соответствующих псалмам, странным образом связаны с... пением петуха: заповедано, что петух пробуждается и поет, видя Саваофа входящим в рай в компании большой свиты праведников; петух поет при этом хвалу семь раз, ни больше, ни меньше, причем каждому пению петуха соответствует особое молитвенное изречение\*.

Где бы еврей ни находился — в путешествии, или дома занятый каким-либо делом, — он обязательно становился на молитву три раза в день, в указанные часы. А так как для утренней молитвы еще требуются особые атрибуты — («тфилим») даже для подростка, начиная с 13 лет и, кроме того, еще («талес») религиозная накидка для женатых, то, отправляясь в дорогу, надо было всегда иметь с собой этот обязательный и неизменный багаж.

В пище, одежде и обиходе домашней жизни евреи того времени крепко держались старины, которая насквозь

---

\* Когда я прислушивался иногда в детстве по ночам к пению петуха, мне казалось странным и непостижимым, что, не считаясь с высочайшим выходом в рай, петух пел не семь раз, а больше или меньше, сколько ему вздумается.

проникнута была строжайшими требованиями религии, вернее сказать, многочисленными комментариями Торы и Талмуда. Наиболее популярным и обязательным регламентом для повседневной жизни правоверных евреев, во всех ее проявлениях, служит, как я заметил выше, «Шулхан-Орых», т. е. «накрытый стол», в котором до мельчайших подробностей, даже иногда воображаемых, изложены все правила жизни, во всех ее проявлениях — в отношении пищи, одежды, жилья и всей вообще жизнедеятельности, — даже такая мелочь, как и когда можно подстригать усы, обрезать ногти и проч.

И до каких только геркулесовых столпов не доходят разные комментаторы в своих толкованиях не только заветов Торы или Талмуда, а даже поверхностных намеков, оброненных в этих священных книгах. Вот на выдержку два случайных примера, которые приходят на память. В одном из трактатов Пятикнижия есть коротенькая фраза: «не вари ягненка в молоке матери его». Трудно сказать, что следует подразумевать под этой метафорой, если принять во внимание, что в древние времена любили окутывать мысль притчами и загадками. Но, на беду евреев, над этой фразой в долготу веков нагромоздилось столько головомных толкований, регламентов и запретов, что повседневная пища, утварь и проч. оказываются до крайности связанными сложнейшими ограничениями: не только — Боже упаси — нельзя жарить кусок мяса в коровьем масле, но необходимо обязательно иметь особую столовую посуду, отдельно для пищи мясной и отдельно для пищи молочной.

Не угодно ли соблюдать такие драконовские требования в домашнем обиходе!

Или вот еще такой ворох запретов, рожденных от другой загадки: в одном месте Торы есть указание, что для вспахивания своего поля не следует впрягать мула с коровой. Бесконечными кудреватými толкованиями всевоз-

можных комментаторов эта фраза в отношении бедных евреев, у которых нет ни поля, ни мула, ни коровы, выразились в том, что... на рваные штаны из бумажной ткани нельзя наложить заплату из ткани шерстяной и даже нельзя воспользоваться заплатой из бумажной ткани, если для шитья имеется только шерстяная нитка.

Конечно, такие хитросплетенные умозаключения и утрированные запреты для реальной жизни, выведенные из туманных или загадочных фраз священных писаний, могут показаться дикими. Но такая дичь свойственна природе человеческих увлечений. У буддистов, например, есть указание, что Сакьямуни требует воздержаться от убийства живых существ; а в обыденной жизни этот завет, в толковании буддийских лам, привел к запрету делать рукой быстрое движение в воздухе, из опасения убить какую-нибудь носящуюся в воздухе бактерию.

С подобными увлечениями встречаемся даже не только в области мистики, а в вещах самых простых и обыденных, — вроде хотя бы казарменных занятий в войсках; в своих армейских заметках генерал Драгомиров указывает, до каких абсурдов могут дойти люди в своих увлечениях, когда усердствуют не по разуму: хождение в ногу приводит к нелепому расчленению шага; равнение в строю приводит к еще более дикому стремлению приучить людей, чтобы не дышали.

Строго придерживались старины и в одежде, хотя в начале 50-х годов последовал даже высочайший указ об обязательных изменениях в одежде мужчин и женщин у евреев. Вопреки позднейшим правительственным веяниям, имевшим целью всячески обособить евреев, Николай I стремился, наоборот, всеми мерами ассимилировать евреев с остальным населением империи и начал с реформирования одежды.

Немало мне в детстве приходилось слышать рассказов взрослых о плаче и рыданиях, которыми сопровож-

далось введение в действие этого указа. В городах и местечках черты оседлости евреи толпами, стар и млад, мужчины и женщины, бросились на кладбище, где на родных могилах неистовым воем, плачем и причитаниями молили о заступничестве предков. Прошло, однако, немного лет, и молодые еврейки скоро забыли свои дореформенные полуазиатские одежды и охотно стали франтить в европейских костюмах. Указывая на какую-нибудь молодую модницу, кумушки постарше сокрушались о пролитых потоках слез, которыми сопровождалось объявление указа о реформе одежды. Старушки долго, еще и на моей памяти, вопреки указу, одевались по старому, ценной, конечно, некоторой дани в пользу полицейских цензоров.

Эта дореформенная одежда состояла у женщин из головного убора в виде большого тюрбана или огромного платка, накрученного вокруг головы, так чтобы, Боже упаси, малейший волосок не смел показаться из-под нижних складов тюрбана; платье — пестрый тюник без рукавов и широчайшая юбка.

Реформа заключалась в упразднении тюрбана и тюника. Особенно мучительно было расстаться с тюрбаном, потому что еврейка, по выходе замуж, обязана прятать свои волосы. Найден был такой компромисс: вместо тюрбана женщины придумали «горбанд» — повязку или чепец на волосы из черного атласа со сборками в виде вьющихся волос и даже с пробором из белой шелковинки; так, чтобы с внешней стороны было похоже на прическу из собственных волос, которые по-прежнему прятались тщательным образом или сбивались вовсе.

Одежда мужчин и после реформы не потерпела больших изменений; она состояла из длинного халата с низкой талией; у богатых еще «страймеле» — шапка, опушенная соболем, и халат атласный. «Пейсы», отрошенные завитушки волос на висках, остались неприкосновенными и

после реформы, хотя полицейские иногда гонялись с ножницами в руках за длинными пейсами на улице; но такая атака ограничивалась выкупом в два пятака, и тем кончалось правительственное мероприятие.

Волос на лице мужчины не должна касаться не только бритва, но и ножницы; если усы отросли настолько, что мешают принятию пищи, то разрешается их подстричь, но только особым образом.

Но если где с особенным разгулом развернулись и нагромоздились изощреннейшие толкования и запреты, так это в области наиболее жизненной — как и чем питаться. Факт этот имеет тем большее значение, что в известных пределах касается нашей современности.

Дело в том, что под давлением суровой действительности евреи вынуждены были, волей-неволей, поступиться многими традициями и запретами: давно уже отказались от длиннополого халата, пейсов; не только стригут, но и бреют усы и бороду; вполне пренебрегают ежедневными молитвами. Но что касается пищи, то весьма знаменательно, что ведь до сих пор мы встречаемся, например, в газетных объявлениях, что еврейские рестораны всегда нарочито подчеркивают указание «кошер». Значит, еврейская кухня поныне регламентируется указаниями «Шулхан-Орыха»? Верится с трудом!

Чтобы иметь понятие, что скрывается под терминами «кошер» и «трыф», необходимо указать, как эти религиозные требования отражаются в домашнем обиходе евреев. Прежде всего крайне ограничен выбор в области животного царства: есть мясо можно только от таких животных, которые жуют жвачку и, вместе с тем, имеют расщепленное копыто; одного из этих признаков недостаточно. На этом основании годится для питания только мясо рогатого скота. Все прочее — под запретом. Из царства пернатых разрешается только домашняя птица. Всякая дичь запрещена.

Малейший признак болезни животного, даже при сомнении только, ставит его под абсолютное запрещение употребления в пищу. Способ убоя скота подвергнут строжайшей регламентации и сводится к тому, что животное не должно испытать ни малейшей боли. Достигается это тем, что убой разрешается только особым профессиональным резникам, произносящим при убое особую молитву и могущим пользоваться только специальными остро отточенными ножами, при помощи которых коротким махом прорезываются через шею все кровеносные сосуды одновременно, для того, чтобы сразу выпустить всю кровь животного; тотчас после убоя лезвие ножа тщательно проверяется, и если обнаружится малейшая зазубрина, то зарезанное животное считается падалью, и мясо его для пищи запрещенным.

Убой, наконец, произведен согласно всем правилам ритуала, и все в порядке. Все же нельзя пользоваться мясом всей туши. Дело в том, что, как повествуется в Пятикнижии, при самом зарождении истории еврейского народа, один из наших прародителей, благочестивый Иаков, боролся с ангелом и уложил его на обе лопатки. Казалось бы, все обстоит благополучно, и мы могли бы через 5000 лет приняться спокойно за обед. Оказывается нельзя, потому что во время бокса ангел где-то «тронул», быть может и повредил, заднюю часть ноги, около торса, патриарха Иакова. И вот, в воспоминание этого события или в наказание евреям на вечные времена запрещено употреблять в пищу заднюю, т. е. лучшую, часть мясной туши: можно пользоваться мясом только передней, худшей части; задняя же часть обязательно продается кому угодно, только не евреям.

Наконец, вы обрели уже кусок тощего мяса из ребер или передней лопатки и принесли домой. Однако вы не можете сейчас пользоваться этим мясом — ни варить, ни жарить; должны сначала его засолить и держать в соли не

менее 1–2 часов, для того чтобы мясо было очищено от всяких признаков крови\*...

Из рыбного царства выбор также крайне ограничен. Употреблять в пищу разрешается только те породы, которые имеют особые плавники и покрыты чешуей. Значит, почти все морские породы запрещены.

К указанным выше ограничениям и запретам надо еще прибавить строжайшее запрещение смешивать что бы то ни было из пищи или посуды мясной с пищей или посудой молочной: брызнуло что-нибудь из сливочного масла на мясное блюдо, — и оно уже в пищу не годится; взяли по ошибке мясной нож для масла, и нож уже ни на что не годится, — ни для мясных, ни для молочных блюд; впрочем, как компромисс, для маловерующих, допускается пользоваться таким ножом после того, как продержали нож воткнутым в землю час или два.

Как же нынешние еврейские рестораны управляются с этим «кошером»?

Домашний быт евреев в прежнее время был в полном смысле слова закабален требованиями религии: принятию пищи предшествует омовение рук по особому ритуалу и молитва; окончание трапезы, пробуждение и отход ко сну,

---

\* Удивительно, как это в легендах народов укоренился дикий предрассудок об употреблении евреями христианской крови, — когда именно в отношении крови, какой бы то ни было, даже крови животного, — у евреев существует какое-то врожденное, чисто инстинктивное отвращение! Мне приходилось видеть евреев, которые даже рядом поколений давно уже забыли различие между кошер и трыф, не подозревали и не знали иной пищи кроме принятой в обыденной христианской среде, но которые, при всем том, не могли решиться даже попробовать кровяной колбасы, только потому что она приготавливается из крови.

Я уже не говорю про обыкновенные уголовные смертоубийства, которые все же со стороны евреев встречаются безусловно значительно реже чем у других народов. А что касается таких феноменальных явлений, как немецкий мясник Гаарман и другие убийцы-садисты, встречающиеся у всех народов, то евреи не выделили таковых и в долготу многих веков. По крайней мере, ни история уголовных процессов, ни предания не сохранили ни одного примера.

отправление естественных надобностей, — все сопровождается молитвой; а избежание какой-нибудь опасности — особой публичной молитвой в синагоге.

Строгое соблюдение праздников в описываемую эпоху составляло сугубую отличительную черту религиозного быта у евреев. Судя по многим признакам, эта область в настоящее время, как и многое другое, упростилась в значительной степени, уступив несильным веяниям века и изменившимся условиям быта. Нелишне поэтому напомнить, как это было в старое время.

От первой звезды пятницы до первой звезды субботы — каждый шаг регламентировался требованиями религиозных верований и вековыми преданиями и традициями до мельчайших подробностей, обнимая собою пищу, времяпрепровождение и проч.

Уже с вечера четверга надвигается праздничное субботнее настроение, потому что замешивается тесто для «халы» — особые субботние калачи, которые по своей выпечке высоко ценились и русским населением в черте оседлости. Во весь день пятницы это предсубботнее настроение идет возрастая, потому что закипает праздничная стряпня для встречи субботы вечерней трапезой, неизменное меню которой установлено многовековой традицией; фаршированная рыба, домашняя вермишель, «цимес» (репа, поджаренная на меду или сахаре) и компот из чернослива. Затем в пятницу необходимо еще приготовить всю пищу на день субботы, так как в этот день не только нельзя разводить огня, но и задаваться какой бы то ни было стряпней. Меню субботнего дня тоже установлено веками и включает в себе «цолент» (суп) и традиционный «кугель» (своеобразный пудинг).

Все это обязательно заготавливается в пятницу.

Одновременно с этой домашней стряпней хозяек в недрах кухонной лаборатории, идет на улице усиленное движение и торопливая суета, ввиду необходимости закончить



все дела до звезды. Продолжается эта суета недолго. Оживление быстро идет на убыль. Понемногу затихает уличное движение, чувствуется замедление обычного темпа уличной жизни, одна за другой закрываются лавки. По главной торговой улице торопливым шагом пробегает синагогальный служка, громко выкликая «иден г'йт ин шул арайн» («евреи, ступайте в синагогу»). Это служит оповещением для запоздалых лавочников, что на небесном своде обнаружена где-то первая мерцающая звездочка и что надо торопиться. Еще несколько минут, и на оживленной торговой улице, главной артерии города, все лавки закрыты, нет ни движения, ни шума; уличная жизнь совершенно замирает.

В городах и местечках черты оседлости, где вся без исключения мелкая торговля сосредоточена была в руках евреев, день субботы с внешней стороны представлял собой своеобразную картину мертвого царства. Вместе с Творцом Вселенной, утомившимся когда-то шестидневным мирозиданием, предается праздничному отдыху и хлопотливая еврейская беднота после шестидневной утомительной погони за черствым куском хлеба.

Дома, тем временем, идет предсубботняя чистка и уборка. Предназначенная для субботы кухонная стряпня постепенно засовывается в печку, и когда эта сложная операция закончена, печка «запечатывается», т. е. попросту замазывается глиной вокруг заслонки.

Подготовка для встречи субботы закончена. Все члены семьи переодеваются в праздничное платье. Мужская половина, стар и млад, отправляется в синагогу для встречи субботы. Женская половина остается дома, причем хозяйка дома, а также и другие замужние женщины, должны заняться благословением субботних свечей, которых каждая женщина зажигает по числу рожденных ею детей, сопровождая это благословение особой молитвой на жаргоне.

Замечу мимоходом, что в области древнееврейского языка и литературы надлежащую подготовку получали только мальчики. Для женской же половины даже доступ в синагогу закрыт до выхода замуж, поэтому знание молитв и древнееврейской литературы среди женщин было очень поверхностно или вовсе отсутствовало. Некоторая реакция и рвение к познанию древнееврейской литературы и истории проявляется среди еврейских женщин лишь в 80–90-х годах, т. е. тогда, когда в России свирепствовали погромы и преследования евреев. Достоинно внимания, что это психологическое реагирование проявлялось не в ортодоксальной среде, а среди еврейской интеллигенции, и преимущественно среди слушательниц в высших учебных заведениях.

Тем временем и в синагоге с появлением первой звездочки зажигаются многочисленные свечи; все уголки озарены необычайным обилием света. Кантор начинает петь гимны в честь субботы. При ярком освещении, одетые по праздничному, обыкновенно удрученные и озабоченные, чувствуют себя в праздничном настроении, забывая на время все гонения рока, всю будничную юдоль, которой злая судьба так щедро наделила этот действительно «избранный» народ — избранный не для радостей жизни, всем доступных, а для неизбывных гонений и страданий, неведомых и непонятных никакому другому народу в мире.

Служба, молитвы кончены. Все взаимно поздравляют друг друга с «доброй субботой». У выхода из синагоги длинной шеренгой выстраиваются нищие, как местные, так и иногородние гастролеры (есть и такие), лишенные возможности иметь у себя субботнюю трапезу. Но это поправимо: евреи слынут «рамоним бны рахмоним» (сердобольные сами и от предков сердобольных) и, выходя из синагоги, разбирают по одному — по два нищих, которых приводят домой, за общий стол, к скрытому ужасу неподготовленной хозяйки, обуреваемой в эту минуту жгучим вопросом, — «хватит-ли?»...

Зато сам «балабос» (хозяин) доволен своим благочестивым жестом — тем, что, ни с чем не считаясь, рад поделиться с голодающим своей убогой трапезой, — и с особым сладчайшим упоением распевает «змпрес» (поэтические вирши и дифирамбы) в честь субботы, под аккомпанемент всех чад и домочадцев.

Наступил, наконец, день субботы; а с ним — совершенно исключительный ригоризм субботнего отдыха. Нет того обычного правила, религиозного или юридического, в силу которого принято обыкновенно «что не запрещено, то разрешается». Евреям в субботу все запрещено: «нельзя прикоснуться к подсвечнику, нельзя тронуть пальцем монету (чтобы быть возможно дальше от всякой торговли), нельзя тронуть спичку, зажженную свечку и т. п. Выходя на улицу, надо тщательно осмотреть карманы, не осталось ли чего-нибудь, — даже носовой платок и тот надо вынуть и либо оставить дома, либо обернуть вокруг шеи, обратив его, так сказать, в часть туалета; носить нельзя даже излишек ногтей на пальцах: еще накануне, в пятницу, ногти должны быть обрезаны и брошены, причем не где-нибудь — в мусор, а обязательно — в печку, с присоединением тут же срезанных ножом с деревянных косяков или подоконников маленьких стружек, которые предназначаются в свидетели, что сделано все по закону.

Словом, в субботу обычная жизнь парализована во всех своих проявлениях, во всех мелочах.

Волей-неволей приходится находить некоторые компромиссы: чтобы можно было, например, пронести что-нибудь к соседу, на ближайшую улицу, протягивают «ырев» — проволоку, соединяющую верхушки двух жердей; и тогда охваченное пространство считается как бы двором, в пределах которого можно, значит, проносить, что нужно.

После полуденного отдыха в субботу все опять устремляются в синагогу, чтобы послушать заезжего «магида». Это часто заурадный проповедник с претензиями на неко-

торую ученость: понасочинив собственными хитросплетениями какие-нибудь кудреватые толкования на облюбованное место Талмуда, он со этим багажом разъезжает по городам и весям еврейской оседлости. Вознаграждением за эту ученую прсмудрость служит... даровой обед, на который позовет какой-нибудь сердобольный ревнивец Талмуда; а на следующий день в сопровождении синагогального служки ученый талмудист ходит по домам, собирая грошики для дальнейшего путешествия. В виде чистого дохода за ученость остается прокорм, да и то не всегда...

Из годовых праздников наиболее тяжеловесные и длительные приходятся на месяц Тишры — начало нового года по еврейскому летосчислению. Уже за две недели, предшествующие «Рош-Гашоно», празднику нового года, навевается молитвенное и постное настроение. Ранним утром, едва забрезжит свет, все спешат в быс-медрес на длительные молитвы, предшествующие обыкновенному «давнен».

Десятью днями позже двухдневного праздника нового года наступает «иом-кипур» — день всепрощения. Для всех в этот день обязательны пост и молитва в течении 24 часов, — целый день не выходя из молитвенного дома. Начинается иом-кипур приношением в жертву домашней птицы, курицы или петуха, каждым членом семьи, в зависимости от пола. К вечеру, накануне, все спешат в молитвенный дом, где вся внутренняя обстановка представляются в необычайном торжественном виде: перед самым входом в синагогу идет экзскуция — многие подвергают себя установленным 30 ударам плеткой, отсчитываясь пред Всевышним в принятии наказания за некоторые серии определенных грехов.

В самой синагоге уже слышны сдержанный плач и стонания; уныло горят высокие восковые свечи в ящиках с песком. Пол устлан сеном, потому что все без обуви, в знак траура. Взрослые одеты в белоснежные балахоны, в которых принято хоронить покойников.

Все затихает. Все становятся сосредоточенными и серьезными. Наступает торжественная минута. Кантор со своим маленьким хором начинает традиционный напев «Кол-Нидры». Трудно указать, кто и когда был композитором этого напева; одно несомненно, что этот напев зародился в глубине многих веков, навеян теплым религиозным настроением и является творчеством недюжинного музыкального таланта. Лучшим показателем служит не только факт многовековой живучести этой мелодии на белом свете всюду, где рассеяны евреи, но также и то, что и в наше время лейтмотив Кол-Нидры вдохновляет многих композиторов, евреев и неевреев, для бесконечных вариаций на эту музыкальную тему.

Недели через две после иом-кипур идет праздник «су-кыс» (кучки), заканчивающийся веселым и интересным праздником «симхас торе» («радость торе»). Все обязательно должны веселиться. В этот день дозволяется даже выпить рюмку вина: дозволяется не введением религии — насчет вина нет особого запрета, — а обуславливается праздничным настроением и материальной возможностью припасти на этот день рюмку вина, которая в будни представляет собою большую роскошь.

Даже и в этом случае — затаенное удовольствие в кои-то веки выпить рюмку и забыть на время обыденную горькую долю — вкушается не столько для физического наслаждения, сколько для выполнения религиозной предпосылки — необходимости веселиться в праздник: «высомахто б'хагехо» (веселись в твои праздники). А без вина какое веселье! Это и евреи знают, даже при скудном опыте.

Но какое же это праздничное веселье при обездоленной жизни, при безысходной тяжелой гонимости за черствым куском хлеба, когда в перспективе, после праздника, уже виднеются мрачная забота, тревога и опасения грядущих дней. Но требование праздничного веселья обязательно. Мне случайно пришлось однажды видеть почтенного

старца, который в день симхас-торе, сам собой в одиноком порядке, притом в совершенно трезвом состоянии, пытался протанцевать вокруг пустого стола, припевая старческим голосом «высомахто б'хогехо» — веселись в твои праздники.

В праздник «Хануко», вернее полупраздник, воспоминание победы Макавеев, принято лакомиться гусиными шкварками. В силу традиционного обычая допускается побаловаться игрой в карты — баловство обыкновенно неизвестное в еврейском быту. Неудивительно, что карточная игра в эту неделю по своей мизерности напоминает радость и веселье в день симхас-торе.

Ранней весной — полупраздник «пурим», воспоминание о предотвращенной беде, грозившей евреям при одном из персидских Артаксерсов, вследствие злых козней его первого министра Гамана. И до нашего времени, тысячи лет спустя, не дают покоя этому министру, и при произношении в этот день его имени, бьют в колотушки, крутят шумовки, стучат и бьют во что попало, мстя ему за прошлое гонение.

Совсем на особом положении праздник Пасха («Пейсах»), установленный в воспоминание исхода евреев из Египта. Как известно, центральным пунктом этого события служит факт в сущности второстепенного характера: исход совершен был настолько поспешно, что захваченное с собой хлебное тесто недостаточно окислилось и получились опресноки, воспроизводимые в праздник Пейсах в виде «мацы».

Казалось бы, что по сравнению с самим фактом освобождения из неволи и каторжной работы (по преданию, евреи в Египте должны были вечно месить глину) и перехода через Чермное море аки по суку, воспоминание об опресноках является, во всяком случае, делом второстепенным. В действительности же весь ритуал этого праздника построен почти исключительно на воспоминании об

опресноках, причем позднейшими фантастическими толкованиями и многовековыми традициями дело опресноков доведено до крайнего ригоризма и утрированных запретов.

Достаточно сказать, что еще не так давно, а может быть кое-где и теперь, у многих правоверных евреев, обладающих материальным достатком, было узаконено, что для праздника Пейсах в течение восьми дней иметь совершенно особый дом или квартиру, со своей обособленной посудой и обстановкой, для того, чтобы быть совершенно гарантированным от возможности наткнуться на крупницу «хомец», т. е. на крошку обыкновенного хлеба.

Вообще, праздник этот обставлен длительной подготовкой исключительным ритуалом.

За месяц до наступления праздника напимается особый дом, начисто выбеленный и очищенный от всех жильцов. В доме приводится в порядок большая хлебопекарная печь для выпечки мацы. В совершенно новеньких ведрах приносится вода, не через посредство обыкновенных водоносок или водовозов — им не рискуют доверить приноску воды: мало ли что по дороге может попасть в воду! — доставка воды поручается известным своим благочестием евреям, которые нарочито на себе таскают воду, отчасти из предосторожности, отчасти из религиозного усердия.

За неделю до наступления праздника начинается генеральная чистка жилых помещений: начиная от стен и кончая последней мелочью обстановки и домашнего обихода — все подвергается побелке, чистке, имея в виду все одну и ту же цель, — чтобы не застряла где-нибудь крупинка хомеца. Наконец, в последний день, предшествующий празднику, производится торжественно сжигание хомеца... так как после капитальной чистки и переборки во всем доме уже наверно истреблены всякие следы этой пасхальной нечисти, то для сжигания приходится нарочито заготовить в укромном месте несколько крупинок хлеба,

тщательно завернутых в тряпочку вместе со щеточкой и ложкой, в которой завернуты эти кусочки хлеба.

Эта операция и является гранью, отделяющей «хомец» от «пейсах»... В дом вносятся все повенькое: вся без исключения кухонная утварь, столовая посуда, чайные приборы, — все либо покупается новое, либо хранится из года в год специально для Пасхи; даже самовар подвергается обязательному лужению. Рождается какое-то особое настроение собственного обновления при виде кругом всего новенького, чистенького, обновленного.

Весьма характерным является самый ритуал встречи праздника — «сыдер» (т. е. первый вечер Пейсах), который всеми проводится обязательно у себя дома и обставляется исключительной торжественностью. Вся семья располагается вокруг стола, уставленного согласно особому регламенту, предудказанному разными комментаторами и традициями. Тут все, до последней мелочи, знаменуется символами, изображениями, традициями и намеками. Чтобы изобразить переход от египетского рабства к свободной жизни глава семьи усаживается за столом с особым комфортом: обложенный подушками, развалясь, он симулирует исключительное довольство, независимость и благоденствие.

Увы! — грустно вспомнить это искусственное самодовольство «граждан», живущих под вечным страхом и гонением, подверженных и в эту торжественную минуту случайным капризам ближайшей местной власти, что иногда и проявлялось на деле самым показательным образом.







## Глава III

### Общественный быт

*Кагал, как результат вековых гонений на евреев. Коробочный сбор. Повинности. Рекруты и охотники. Общй колорит уличной жизни того времени. единственный извозчик и единственный будочник. Публичные телесные наказания. Воспоминания о польском мятеже 1863 г. Покушение Каракозова и его отзвуки в нашем захолустье.*

---

Вполне естественно, что общественный быт у евреев сложился под влиянием совершенно исключительных условий существования — вечно под угрозой враждебных отношений со стороны окружающего мира. Ведь факт непреложный, что везде и всегда, где бы ни очутились евреи, окружающие народы к ним не питают чувства родственной солидарности, даже и в том случае, если нет расового различия, — даже там, где евреев никогда не было, где еврейский вопрос никогда не существовал. Дружественное благожелательство, сокровенная симпатия, как это иногда бывает между другими народностями при соседском сожительстве, — в отношении евреев, по меньшей мере, наблюдается редко.

Более образованные культурные классы стараются и в литературе, и в законодательстве, и в житейском обиходе побороть в себе чувства врожденной антипатии к евреям, привитое с молоком матери, сознавая всю несправедливость и нелепость вкоренившихся предрассудков. Но и в подобных случаях, когда встречаемся с просвещенным

течением в литературе или законодательстве, — сокровенным импульсом служит все же не подлинная симпатия к гонимому народу, а невозможность оставаться в разладе с собственной совестью и здравым смыслом, — необходимость бороться с вопиющей несправедливостью, хотя бы и в отношении евреев.

Где же причина этой чудовищной несправедливости судьбы в отношении маленькой народности, которую сами гонители ставят в центре зарождения духовной жизни всего христианского мира?

Конечно, у людей некультурных, мирно уживающихся с какими угодно врожденными предрассудками, есть готовый ответ — это некоторые отрицательные стороны еврейского характера. Что такие недочеты в душевных качествах евреев возможны и даже неизбежны, при рассеянности евреев по всему миру в течение тысячелетий — вполне понятно. Но у кого нет таких недочетов? Мало у евреев и хороших сторон, признаваемых даже их закоре-нелыми врагами?

Нет! В этом чудовищном трагизме отверженного существования еврейского народа, в ряду всех других народов на земле — в этом неизбывном проклятии, преследующем еврея, куда бы его не закинула судьба, на всех ступенях личного благополучия, общественной или государственной службы, от обездоленного угла нищего до пышных чертогов банкира или первого министра, — виден какой-то перст Божий. Это какое-то доподлинно-божеское проклятие, тяготеющее над еврейским народом, необъяснимое никак для человеческого разума.

Вот при каких условиях должен был сложиться общественный быт евреев. Чем ожесточеннее преследования окружающей среды, чем сильнее окружающие удары извне, тем неизбежно теснее смыкались ряды внутри, тем сплоченнее, компактнее общественная организация. Весьма естественно, что, в конечном итоге, эта организация

должна была вылиться в форму круговой поруки. А между тем эту общественную солидарность чаще всего ставят в вину евреям. Слово «кагал» стало каким-то фетишем, синонимом преступного коллективизма, — чуть ли не заговором против благополучия всех неевреев.

Но что такое кагал? Точный перевод — «общество», равнозначное слову «мир» в крестьянском быту. Вполне понятно, что еврейская община призывается судить и реагировать на все, касающееся общественной жизни евреев. А всем известно, что всему еврейскому народу вменяется в вину и назидание все, что где-нибудь натворил еврей отрицательного; отличия положительные — заслуги перед своей страной какого-нибудь министра-еврея или в области наук какого-нибудь Эйнштейна и многих других — принимаются и записываются на собственный национальный актив своей страны; но мошенничество еврейского банкира или надувательство голодного еврейского фактора — это непременно поставят в счет всему еврейскому народу.

Мало того, в России само правительство позаботилось об организации среди евреев общественного ядра или кагала, с которым администрация могла бы сноситься по делам общественных повинностей.

Пользуясь тем, что евреи могут покупать мясо только особого убоя, еврейские общины вынуждены были ввести у себя очень обременительное мясное самообложение. Правительство, однако, сейчас же прибрало эту операцию в собственные руки. Чтобы образовать особый капитал, для удовлетворения якобы еврейских общественных нужд, еврейское мясо было обложено тяжким налогом, и убой скота, а также заготовка и продажа мяса сданы были на откуп так называемому коробочному подрядчику.

Получалась такая несуразность: из убитой скотины худшая, передняя, часть сдается для продажи евреям по сильно повышенной цене, для образования коробочного

сбора, а лучшая, задняя часть, свободная от коробочного сбора, достается в пищу неевреям по цене значительно низшей.

Во всяком случае, казалось бы, что этот коробочный капитал, образуемый исключительно насчет недоедания еврейской нищеты, должен состоять в распоряжении еврейских общин. Ничуть не бывало! Правительство прибрало эти капиталы в свои руки. Коробочными деньгами распоряжался губернатор, по своему усмотрению. На общественные нужды евреев, определяемые усмотрением губернатора, выдавались гроши; зато щедрой рукой из этого капитала выдавались ссуды чиновникам, конечно, с предполагаемым возмещением\*.

Все вообще повинности, нелегкие для прочего населения, на евреев ложились особо тяжелым бременем. Первое место принадлежало, конечно, воинской повинности. Введена она была, кажется, в 40-х годах, набором кантонистов, о которых я упомянул уже выше. Может ли это идти в сравнение с набором рекрутов, который практиковался в отношении прочего населения! Набор кантонистов, когда от груди родителей отрывали малых детей, — это была доподлинно повинность кровью, среди глубокого мира! К счастью, правительство скоро само отказалось от этой дикой повинности, — столь же дикой, сколько и неразумной, и заменило ее обыкновенным набором рекрутов, который тоже ложился повинностью невероятно тяжкой, в особенности для евреев.

Мне памятливы мрачные эпизоды этого печального времени, потому что отец мой избирался депутатом от еврей-

---

\* Но ничего нет нового под луной. Много лет позднее, — я уже был капитаном Генерального штаба и занимал во Владивостоке должность начальника военной канцелярии в Приморской области, — и вот такие же ссуды выдавались чиновникам из так называемого «инородческого капитала», по своему образованию аналогичного указанному коробочному капиталу...

ского общества для представительства перед властями при определении числа рекрутов, которых должна была выставить община. Это была тяжкая, мучительная доля для общины; а еще больше для ее представителя.

Уже задолго до набора смертельный страх обуял родителей, у которых числились сыновья, пригодные для военной службы. А какие считались пригодными? Это как вздумается начальству. Есть двадцатилетки — хорошо. Сбежали и припрятались такие парни или же их забраковали — будут ловить и забирать хоть и 40-летних отцов семейства. При таких обстоятельствах подходящие кандидаты, т. е. чуть ли не все мужское население 20–30–40-летнего возраста, начинало прятаться уже за 2–3 месяца до набора... Община, со своей стороны, чтобы принять заблаговременно необходимые меры и не остаться без рекрутов, вынуждена была завести особых «хаперов» — ловцов, которые должны были искать и ловить скрывающихся.

Пойманных кандидатов запирали в темную, где их содержали, как арестантов, и единственным их утешением служила... сытная пища, потому что отощавшие, полуголодные бегуны могли быть забракованы; необходимо было их откармливать в течение 2–3 месяцев.

Наконец наступало время *ставить*, как тогда выражались, рекрутов для сдачи в присутствие. И вот было горе, когда добытого с таким трудом, вспоенного и вскормленного рекрута начальство вдруг браковало в последнюю минуту — за действительной непригодностью или за подсунутую мзду со стороны родственников рекрута. Наступает срок, и надо добыть рекрута.

Добыть во что бы то ни стало, потому что власти часто грозили забрать хоть депутата, не считаясь с его возрастом, семейным положением и проч. А по тем временам это была не пустая угроза, потому что строго определенных данных относительно рекрутов указано не было, вернее — они были очень расплывчаты, и все зависело от усмотре-

ния исправника, военного приемщика и врача. Кликнут «годен», и сейчас же толкнут на барабан, и солдат-цирюльник в два счета острижет, «забреет лоб». внесут в список слаточных, на месте арестуют, и на следующий же день угонят за тридевять земель. А там поди доказывай, что ты не верблюд, а заяц.

Естественно, что выборные представители еврейского общества бывали в критическом положении, когда браковали их рекрута в последнюю минуту. Ловили тогда на улице всякого мужчину, кто ни подвернется. И, конечно, надо было подмазать начальство, чтобы опять не забраковали. Попадали, поэтому, на службу такие искалеченные воины, которые своевременно не убежали и не скрывались, полагаясь на свои физические недостатки.

Приходит мне на память мрачный эпизод того времени, когда в такую вот минуту покойный отец мой вынужден был уговаривать военного врача не браковать «подставу», т. е. вновь поставленного рекрута, вместо забракованного. Дело в том, что из года в год на время набора наша семья обязана была, по квартирной повинности, дать помещение приезжавшим из губернии военному приемщику и врачу. Мы отводили им одну, конечно, лучшую комнату. Отец мой долго не мог улучшить минуту, чтобы поговорить с доктором наедине, — разумеется для того, чтобы предложить ему взятку; и когда это ему, наконец, удалось, он пришел на нашу половину, чтобы поделиться с остальными ожидавшимися депутатами, и рассказал шутя, что доктор взятку взял, но все повторял «если Бог даст»; а отец мой прибавлял при этом: «вот чудак, псалмы читать я и без него умею; а ты, коли деньги берешь, так делай дело, а не отсылай к Богу».

Как это нехорошо, скажут, давать взятки! «Вот как евреи развращали наших слуг царских!» Мне вспоминается, по этому поводу, весьма разумные суждения Лескова в одном из его очерков — устами интендантского чиновни-

ка, дающего отповедь молодому офицеру, негодующему на взяточничество интендантских чиновников. Многое в жизни, если не все, зависит от того, где, кто, около чего, в какой среде, поставлен обстоятельствами. Много лет спустя, командуя полком во время Японской войны, я очутился вот в таком положении, как упомянутый военный врач, а роль моего покойного отца играл заведующий хозяйством, полковник Савельев. Но не буду забегать вперед. Поведая это на своем месте. А пока скажу, что роли меняются, и *еврей* тут ни причем\*.

---

\* Раз коснулся этого эпизода из моей боевой деятельности во время командования полком на театре войны, считаю себя не вправе ограничиться намеком, а должен здесь же, хотя это вовсе не на месте, сказать все до конца, потому что далее в этих записках мне не придется говорить о командовании полком на театре войны, ввиду того, что об этом еще в 1907 и 1908 гг. были изданы два тома моих воспоминаний о Русско-японской войне. Еще и потому не лишнее сказать об этом несколько слов здесь, что этим можно приподнять хоть маленький краешек из хозяйственной жизни войск во время войны. А сказать это все в 1908 г. когда я был генералом на действительной службе, не было возможности, конечно. Пытался я и тогда осветить в печати эту мрачную сторону в жизни войск на войне, но по приказу военного министра, генерала Редигера, статьи мои, просмотренные им в гранках, остались ненапечатанными.

Возвращаюсь к сути дела.

Накануне Шахейского наступления заведующий хозяйством моего полка (Псковского) полковник Савельев, во время служебного доклада, стал мне рассказывать, как «ловко» ведут хозяйство в других полках нашей дивизии командиры полков совместно с заведующими хозяйством, что у нас в полку имеются тоже суммы, которые он «не знает куда записать». Словом, какие то прибудиние суммы, не принадлежащие ни казне, ни полку, — хоть возьми и в карман положи. Было ясно, куда он все это клонит и о чем речь ведет.

Как тут быть? Как оставить хозяйство полка в таких руках? Я должен был, конечно, отчислить сейчас полковника Савельева от занимаемой должности. Но было очень затруднительно решиться на это, потому что он слыл образцовым и опытейшим заведующим хозяйством во всей дивизии; и не мудрено: он выслужился из нижних чинов, пройдя все стадии хозяйственных должностей; на должность заведующего хозяйством он назначен был не мною, а моим предшественником, полковником Львовым, после семилетнего командования им Псковским пол-

Нелегка, конечно, была рекрутская повинность и для русского населения. Во время набора все время, около 2–3 недель, стоял стон и плачь, не умолкавшие во весь день. Сердце разрывалось, видя безвыходное горе и отчаяние. А чиновники, распорядители и исполнители набора, являвшиеся палачами в глазах матерей и жен, убивавшихся у ворот присутствия, относились ко всему этому вполне равнодушно. Видно, привыкли к своим тяжелым обязанностям.

Хуже всего то, что эта тяжкая в то время повинность ложилась исключительно лишь на бедноту, как у русских, так и у евреев. Богатые всегда уклонялись и откупались тем или иным путем. В худшем случае могли выставить

---

ком. Сам я принял полк в вагоне железной дороги на походе. Полк свой в сборе я увидел лишь много времени спустя, уже на театре войны, после ряда боев и сражений. Полковое хозяйство и денежные книги я -- как и все офицеры Генерального штаба -- знал, пожалуй, хуже, чем китайскую грамоту. Не успел я еще узнать и офицеров своего полка, чтобы выбрать кого-нибудь вместо Савельева. Да и как ломать хозяйство полка в разгар боевых действий, накануне наступательной операции, где я назначен начальником головного отряда, когда моей первой заботой должно быть обеспечение полка жизненными и боевыми припасами прежде всего, чего бы это ни стоило.

Однако жутко было оставить хозяйство в сомнительных руках, когда приходится подписывать требовательные ведомости иногда на десятки тысяч рублей, с закрытыми глазами, доверяясь заведующему хозяйством.

В моем затруднительном положении я обратился за советом к двум ротным командирам моего полка (капитану Моравскому и... фамилию другого я забыл) оба мои друзья и однокашники по Варшавскому училищу, которые поведали мне, что и X., и Y., которыми я думал заменить Савельева несравненно менее опытные и будут делать то же, что и Савельев. Пришлось оставить хозяйство в руках Савельева, руководствуясь житейским правилом: пусть заведомо прилипает к рукам повара, лишь бы кормил сытно и не очень дорого. Чтобы сколько-нибудь успокоить мои сомнения, я для контроля, приказом по полку назначил непредусмотренную законом комиссию из трех ротных командиров и одного штаб-офицера, в обязанности которых было принимать и контролировать все, что хозяйственная часть будет заготавливать для полка. Этого поверхностного контроля было достаточно, чтобы по окончании войны в моем полку накопилось столько экономических сумм, что ими наделили все остальные полки нашей дивизии даже в двойной норме.



охотника. Охотник в то время представлял собою тип вполне отпетого парня, с девизом — «завей горе веревкой».

Удивительно проста и патриархальна была обыденная будничная жизнь нашего городка, как и вообще, вероятно, и других городишек такого калибра на Руси.

Когда окончена была постройка Петербургско-Варшавской железной дороги, с вокзалом далеко вынесенным за город — как это было тогда всюду на Руси, — то явилась потребность в извозчиках. Эту коммуникацию взял на себя Хаим, который много лет был единственным извозчиком, как Апанас был единственным будочником на весь город. По крайней мере, обитатели города знали в лицо и по имени одного только будочника, которого всегда можно было найти либо на пустынной в обыкновенные дни базарной площади, либо в соседнем кабаке Афоньки Копылова. Возможно, конечно, что были еще и другие будочники, но они, вероятно, заняты были службой у начальствующих лиц и в присутственных местах, а бессменно на полицейском посту был только один Апанас.

Врезалась мне в память на всю жизнь уличная сценка, которая лучше всяких комментариев характеризует не столько простоту, сколько дикость нравов того времени.

Среди летнего знойного дня сонная тишина нашей главной улицы была, однажды, нарушена голосистым воем и криком «караул» пьяной женщины, которую *за ноги*, тихим шагом, волочил по булыжной мостовой пьяный солдат в сопровождении Апанаса. Убогая одежда пьяной женщины до рубахи включительно, обращена в лохмотья; тело обнажено далеко выше пояса: местами изодрано и в синяках; обнаженная голова с растрепанными волосами, грязными и спутанными, волочится и подпрыгивает по большим грязным булыжникам мостовой. Баба неистово орет, изрыгая невероятно похабные ругательства.

Конечно, эту процессию быстро облепила толпа уличных зевак и мальчишек. Когда пьяному солдату надоедал

вой бабы, он останавливался, опускал ноги несчастной женщины на мостовую и... предлагал ей невероятное и дикое. Баба замолкала, делала гнусные телодвижения и говорила: «на, вот». Вместе со всей толпой Апанас оставался любопытствующим зрителем и только в последнюю минуту принимал вид блюстителя порядка и внушительно говорил солдату: «Ну-ну, ты смотри у меня! Знай тащи». И процессия продолжала свой путь.

Публичные телесные наказания были тогда еще в большом ходу, хотя это была уже середина 60-х годов. Один раз мне самому пришлось быть очевидцем такого публичного наказания на базарной площади; и эта кровавая сцена оставила во мне неизгладимое впечатление на всю жизнь.

На высоких подмостках, сооруженных на странной повозке, окрашенной в черный цвет, сидел одетый в одну рубаху и портки молодой парень, со связанными назад руками, привязанными к перекладине. Повозка и подмостки разборные, служили, очевидно, для частого употребления, составляя постоянные аксессуары правосудия.

Предшествующую барабанным боем эту колесницу провезли по главной улице до базара, где воздвигнут был эшафот — высокие подмостки, видные со всех сторон и тоже окрашенные в черную краску. Палач — дюжий мужик в красной рубахе, отвязал преступника, привел на эшафот и уложил нагишом на скамейку, к которой крепко привязал его за ноги и за шею. Затем из кадушки с водой извлек длинные и гибкие прутья и, прохаживаясь вдоль своей жертвы взад и вперед, сильно ударял вицами по голому телу. С первых же ударов брызнула кровь, и палач продолжал бить по израненному и окровавленному месту.

Достоинно внимания, что на пути гуманитарных течений армия в то время опередила гражданский быт: телесные наказания продолжали существовать для штрафованных нижних чинов, но на практике применялись редко. А что касается своевольного рукоприкладства со сто-

роны офицеров, то мне памятна имевшая место у нас в доме сцена такого рода: распетушившийся «инвалидный начальник» (т. е. начальник инвалидной команды), увидев своего солдата в раздирательном состоянии, стал его ругать и помахивать кругом кулаками, но никак не решался ударить солдата. Все присутствующие отметили с удовольствием этот факт в военном быту; тем более, что наш инвалидный начальник был большим любителем мордобития, и в настоящем случае у него, видимо, чесались руки; очень хотелось ударить солдата, но не решался на виду у свидетелей, боясь, вероятно, ответственности.

Впрочем, бывший тогда военным министром граф Д. А. Милютин был первым знаменосцем освободительных реформ эпохи 60-х годов. Кто бы подумал, что армия, военная сила, которая по самому существу должна быть обречена на режим суровый, после жестокой дисциплины, существовавшей при Николае I, стала вдруг образцом для либеральных преобразований всего домостроя российского!

Возвращаясь к обрывкам воспоминаний моего раннего детства, представляющим какой-нибудь общий интерес.

Запечатлелись у меня в памяти некоторые события польского восстания 1863–1865 гг., затронувшего тогда и некоторую часть Белоруссии, где в уездах преобладали польские помещики, а в городах было немало польских шляхтичей, состоявших даже и на государственной службе.

Помню, что одна из моих сестер вбежала однажды с улицы с тревожным оповещением, что казаки погнали по улице знакомого пана Стульгинского и многих других панов. Все бросились на улицу, и я, конечно, в том числе. Столпились мы у ворот, и запомнилась мне необычайная сцена. Вдоль улицы тянулась бесконечная вереница пленных, конвоируемых казаками. Это было скорее какое-то переселение народов: тут были мужчины и женщины, молодые и старые: кто пешком, с котомкой за плечами, а кто

и верхом на кровной лошади, кто в телеге, а кто и в хорошем парном экипаже. А по бокам этой пестрой колонны были изредка видны верховые казаки.

По дороге пленные заходили в лавки и запасались, чем было нужно. Все это носило довольно мирный характер. Такие сценки прохождения пленных повторялись затем несколько раз, но продолжались недолго.

Вообще, надо заметить, что в нашем Режицком уезде события польского восстания имели лишь отраженный характер, и притом довольно слабый. Зато последовавшие репрессии, отцом которых был знаменитый Муравьев, виленский генерал-губернатор, приводили в содрогание все население нашего края, виновных и невиновных.

Поплатился и мой бедный отец, не имевший никакого отношения к польскому восстанию. Случилось так, что один из наших посетителей, мелкий шляхтич Калиновский, выразился неодобрительно о Муравьеве. Дело было вечером, в летнюю пору, окно было открыто на улицу, а под окном подслушал жандарм и донес по начальству. Калиновского посадили в тюрьму на 6 месяцев, а отца оштрафовали на значительную по тому времени сумму в 300 рублей и объявили потом к продаже с публичного торга все наше имущество.

На чьей стороне были симпатии евреев во время этого восстания, сказать трудно. Судя по тому, что мне запомнилось из виденного и слышанного, тогда и позднее, полагаю, что эти симпатии были скорее нейтрального характера или проявлялись в зависимости от индивидуальной заинтересованности. Одни поют: «Еще польска не сгине-ла, пока мы живем», а другие им отвечают тем же мотивом: «Марш-марш, поляче, не пуйдешь всыпят в с...» и т. д.

Помнится мне еще песенка на жаргоне, соболезнующая полякам, с очень жалостливой, плачущей мелодией, которую распевали девицы, так сказать, от имени взятых в плен поляков:

Казачи меня схватили  
И безжалостно избили;  
Связали, истязали,  
И в полон угнали —  
Ой плохо, братцы,  
Ой-ой плохо, братцы.

Русские городские жители, среди которых было много староверов, относились к полякам определенно враждебно. Жил у нас на дворе печник Родька (Родион), которого часто видели с котомкой за плечами и дубинкой в руках, направляющимся за город.

— Куда ты, Родька?

— А пойду поляков побить.

— А как-же наша лежанка, ты чинить хотел?

— А ужо-тка приду вечером, и там поправим.

Говорили, что поляки мстят пожарами, которые тогда свирепствовали в нашем городе. Врезалось мне в память такое бедствие, которое посетило и нас: погорел старший брат мой Яша, тогда уже семейный и живший по соседству, своим отдельным хозяйством. Пожар лишил его всего, начисто, и он вынужден был уехать в Кострому — «в Рассею», как тогда у нас говорили, на место винокура, оставив на попечении родителей всю свою семью. Оттуда пробирался он все дальше и дальше, на восток, в Оренбург, и затем примкнул к первым нашим пионерам, проникшим в Среднюю Азию с наступательными отрядами на Самарканд и Ташкент; впоследствии, вместе с западносибирским купцом Кузнецовым, устраивал он первый почтовый тракт из Ташкента на Оренбург.

Выдающимся событием в нашей захолустной жизни было получение известия о покушении Каракозова на императора Александра II. Необходимо заметить, что — сколько я могу судить по всему, что у меня запечатлелось в памяти виденного и слышанного — евреи боготворили Александра II за его либеральные реформы вообще и,

конечно, в особенности за либеральное законодательство в отношении евреев. Памятником этого отношения осталась богатая литература на древнееврейском языке, где в стихах и прозе воспеваются освободительные реформы этой эпохи и, главным образом, светлая личность царя-освободителя.

Неудивительно поэтому, что еврейское общество не только не осталось чуждым общему негодованию, охватившему тогда всю Россию, в виду покушения Каракозова, но во многих местах реагировало по собственному почину. Так было и в нашем городишке, где по случаю избавления государя от опасности в главной синагоге было торжественное богослужение в присутствии местных властей, с произнесением речей и проч.

От этого события у меня остался в памяти смешной казус: как толпа поднимала на «ура» тучного духовного раввина, а у него в это время... опустились штаны.



---

## Глава IV

### Поиски путей в жизни

*Переезд нашей семьи в Себеж в 1869 г. Поступление в уездное училище. Поиски путей в жизни. Занятия самообразованием. Мои дебюты в литературе на древнееврейском (библейском) языке. Экзамены в Псковском кадетском корпусе и Витебской классической гимназии. Выход на пути военной карьеры. Поступление на службу вольноопределяющимся. Военный быт и нравы того времени. Состав офицеров. Отголоски Русско-турецкой войны. Лагерная жизнь в Красном Селе. Царские объезды и ночные тревоги Александра II. Мое производство в унтер-офицеры. Мордобитие и барство в войсках. Командирование в юнкерское училище. Перед Рубиконом.*

---

Зимой 1869 г. мы переехали на жительство в г. Себеж, хотя и считавшийся городом уездным со всеми присутственными местами и прочими атрибутами уездных властей, но в действительности это было убогое местечко, гораздо более заброшенное, чем г. Режица, который расположен хоть на железной дороге, тогда как новая наша захолустная резиденция была удалена от железной дороги на 85 верст и влачила весьма обездоленное существование. Оригинальное местоположение этого городка, на маленьком полуострове, окруженном большим озером, дало повод какому-то заезжему остряку охарактеризовать наш городишко коротко и метко: «кругом вода, внутри беда».

Некоторое оживление в захудалой жизни нашего города в описываемое время внес 16-й стрелковый баталь-

он, который откуда-то передвигался на юг, в Одессу, и по дороге месяцев на восемь застрял в Себеже, где никогда никакой войсковой части, кроме инвалидной команды, не было. Конечно, офицеры, военная музыка и проч. встряхнули на время общественную жизнь, которую после ухода батальона опять затянуло обычной тinou.

В моей жизни — мне тогда минуло 12 лет — совершилось важное событие, которое, быть может, предопределило всю мою дальнейшую судьбу. По совету знакомых офицеров 16-го батальона, отец мой решился определить меня в уездное училище — высшее учебное заведение нашего города. Это было настоящей революцией в отношении еврейского общественного мнения, потому что я был первым еврейским мальчиком, перешагнувшим порог русского учебного заведения; да и после меня, когда я уже кончил училище, прошло несколько лет, пока нашлись подражатели моему смелому примеру.

В противоположность позднейшим временам, меня приняли в училище что называется с открытыми объятиями, и даже через несколько месяцев, к удивлению моих родителей, мне дали награду — неведомо за что — 60 рублей, тогда как христианские ученики таких наград не получали.

Состав учеников в нашем уездном училище того времени наводит на много размышлений: он состоял из детей городских мецан, чиновников, мелкопоместных дворян: был *один*-единственный — как сейчас помню его, очень дельный и умный мальчик, по фамилии Заруцкий — *из крестьян*. И это в училище уезда, где крестьян не менее 95% всего населения. Настолько даже элементарное образование не было тогда доступно крестьянам...

По окончании училища для меня наступило тревожное время — искание путей в жизни. Не Бог весть какую великую Сорбонну я осилил в лице уездного училища. Не велики и жизненные перспективы, какие это учебное заве-



дение могло открыть для меня в нашей убогой трущобе. Но надо понять захудалую еврейскую среду нашего городка. Мое революционное вступление в русское училище и окончание его было все-таки для меня знаменательным импульсом. Я уже был выбит из еврейской среды. Волей-неволей надо было искать новых путей в жизни: и эти пути, все, вместе со всеми моими интересами и стремлениями, вели за черту еврейской среды нашего захолустья.

Немало, если не целиком, содействовали этим стремлениям мои русские товарищи, окончившие вместе со мной училище. Все они очень скоро и недурно устроились в нашем же городе на моих глазах: кто получил место по акцизу, кто в суде или присутственных местах. Я уж не говорю про более состоятельных детей мелкопоместных дворян, имевших возможность продолжать учение в губернском городе.

Что же оставалось предпринять мне, еврею, для которого в нашем городе закрыты были все пути, вне удушливого прозябания в еврейской среде?

Однако поиски путей в жизни для меня в данное время не выходили еще из области, так сказать, умозрительной. Сознавалась необходимость предпринять что-нибудь, чтобы проложить себе дорогу для дальнейшего существования; но невозможно было сделать и первые шаги, за отсутствием материальных средств. Страстно, до болезненности, хотелось продолжать образование. Для меня был единственный путь — поступить в гимназию; но гимназия далеко, в губернском городе, притом нужно было знать латинский и греческий языки...

Решено было готовить меня для поступления в реальное училище, где требовались не древние, а более доступные мне, новые языки, и с этой целью я стал ходить к учительнице (некой барышне Анкудович).

Тем временем, я какими-то судьбами очутился разом около двух частных библиотек — из книг русских, некоего

Микутского, и книг нового направления на древнееврейском языке. До того времени я из русских книг знал только элементарные учебники. Чтобы следить за новой литературой на библейском языке у меня за годы училища не было досуга. И вот, вдруг, разом две библиотеки, когда после окончания училища время девать некуда на законном основании, и одолевают лишь докучливые вопросы о поисках путей.

Со всем юношеским пылом я целиком отдался чтению, забыв вся и всех, вместе со всеми толками о моей персоне на надоевшую тему — «что с тобою будет дальше».

Мое чтение по русской литературе было, конечно, вполне беспорядочным, потому что ничьими указаниями пользоваться не мог. Я просто поглощал, что подвернется, одну книгу за другой, испытывая от каждой неведомую для меня до того времени прелесть.

С одинаковым рвением я пристрастился к литературе прогрессивного направления на библейском языке. Здесь я даже решился пробовать свои собственные силы и написал одно стихотворение, содержание которого плохо помню, и сатирический очерк, темой которого послужили для меня наивные толки несведущих еврейских политиков о Наполеоне III, Бисмарке и переживавшихся тогда событиях франко-прусской войны 1870 г. Оба мои литературные произведения я послал старшему брату Яше в Петербург, и, как я узнал впоследствии, стихотворение было напечатано в издававшейся на древнееврейском языке в Вильне газете «Гацфиро». Сам, впрочем, никогда не видел своего литературного первенца.

В этом *dolce far niente*<sup>\*</sup>, среди литературных забав и кривотолков о прочитанном, протекали месяц за месяцем и год за годом. Надвигалась перспектива предстоящего отбывания воинской повинности. Хотя мне было ещё толь-

---

\* Сладостное безделье (*ит.*). (*Прим. ред.*)

ко 17 лет, но подумать об этом нужно было, потому что в это время появился манифест и новый устав о всеобщей воинской повинности.

Время от времени скребла на душе жгучая мысль о том, что со мной будет дальше, — о необходимости искать путей в жизни: копошилось в тайниках души тоскливое, но бессильное, желание вырваться из окружающей мертвящей среды, — куда, я и сам не знал, потому что ничего другого в своей жизни не видел; но смутно сознавал и гадал о какой-то другой жизни, краешек которой был уже вскрыт для меня запойным чтением последних лет.

Побуждаемый этой жаждой поисков путей, желанием одолеть окружающую тину, прислушиваясь к совету наших русских друзей, которые и без того уже считали меня первым пионером среди еврейского юношества нашего города, я в 1874 г. отправился в Вильно, чтобы поступить в реальное училище. Увы! Все наши потуги, в особенности материального характера, потому что нелегко было моему отцу найти для меня деньги на эту поездку, кончились ничем: в 4-й класс, куда я держал экзамен, я поступить не мог, за неимением вакансий. И я вернулся опять на шею родителям.

Вернулся я, однако, в несколько реформированном виде. Поездка в Вильно открыла для меня новый свет. Я увидел новых людей, другую жизнь; и я первым делом... взял ножницы и отрезал фалды своего длинноватого сюртука, а вместо шапки обзавелся котелком со шнуром, который, как я слышал, должен служить для пенсне.

В таком-то реформированном виде я вернулся в родной город, к благочестивому ужасу еврейского общества, где и без того я считался белым вороном со времени поступления в русское училище. Пока что привезенная из поездки моя революционная внешность, выделявшая меня, до некоторой степени, из окружающей среды, как будто удовлетворяла моему юношескому самолюбию, за неиме-

нием ничего лучшего. Но не много времени нужно было, чтобы испарился этот призрачный туман, навеянный безрезультатной поездкой.

Снова предстал жуткий вопрос — что же дальше, «что с тобой будет дальше».

Я снова погрузился в чтение, — на сей раз круто взялся и за учебники всякого рода, не исключая и толстых книг научного содержания, какие только попадались, — без всякого плана, без определенной цели: рядом с романами Дюма — «Физика» Краевича, «Космос» Гумбольдта, Бокль, Моммзен, лекции Граповского и др.

Все же, за моим запойным чтением, усердным и бесцельным, я не мог отмахнуться от лютого вопроса о поисках путей. Вместе с моим покойным отцом мы стали подумывать о каком-нибудь ремесле — злополучной, но обычной проторенной дорожке для еврейского мальчика. Но одна мысль о ремесле жгла мое самолюбие до самого нутра. Подумать только: мне, первому пионеру, в реформированном виде, — кратчайшем сюртучишке, в котелке со шнурком для пенсне и — стать вдруг учеником какого-нибудь ремесленника! Да это и невозможно было. Во-первых, потому, что по всеобщему отзыву я прослыл уже очень «ученым»: к лицу ли такому ученому молодому человеку братья за сапожную колодку или портняжные ножницы и т. п. К тому же мне было уже около 18 лет. Поздно.

В одинаковом, но только отчасти, положении со мною, в поисках путей, был мой близкий товарищ по уездному училищу Василий Васильевич Альбинович, сын делопроизводителя по воинским делам присутствия Василия Николаевича Альбиновича. Мой товарищ детства, Васька Альбинович, поступил одновременно со мною в училище, но не осилил его и вышел, не окончив уездного училища. Вот это-то обстоятельство приводило часто отца Васи, весьма симпатичного и доброго человека, к интимной беседе и совещанию с моим отцом по одному и тому же, род-

нившему их, вопросу, — о поисках путей для меня и для Васи Альбиновича.

Конечно, положение моего русского товарища не могло идти в сравнение с моим; при связях его отца в чиновничьем мире нашлось бы сразу местечко хотя бы и для неосилившего уездного училища. Но такая перспектива не улыбалась отцу Васи — видному чиновнику в бюрократическом мире нашего города. Родители Васи возмечтали, чтобы их сын стал офицером, что казалось вполне возможным при новом уставе о воинской повинности, которым введены были по особым экзаменам вольноопределяющиеся 3-го разряда, — первая ступень для офицерской карьеры.

В один прекрасный день Вася действительно уехал в Петербург, выдержал экзамен и поступил вольноопределяющимся в 146-й Царицынский полк. Я же опять должен был продолжать розыски путей.

Общими потугами моих родителей и старшего брата Яши, жившего тогда в Петербурге, меня снарядили в Питер, поискать там... не счастья, конечно, а пристроиться к какому-нибудь делу, — ремеслу, хотя бы. Увы! все поиски оказались безрезультатными. Месяц целый я изо дня в день совался всюду, и всюду встречал все одно и то же неодолимое препятствие — мое еврейское происхождение. Даже мой реформированный внешний вид — кратчайший сюртучок, цвета малинового с искрой, и котелок со шнурком для пенсне — не помогали.

Опять пришлось вернуться ни с чем.

Снова потянулись бесконечные дни и месяцы, пересыпанные тоскливыми толками, что со мной будет, когда опять блеснула какая-то отдаленная надежда. От брата Яши была получена вырезка из какой-то газеты, что в Могилеве на Днепре открывается среднее учебное заведение под лестным названием «лекарского института», с программой расширенной, по сравнению с разными фельдшерскими курсами. Главной приманкой, собственно для

меня, в этом учебном заведении служило то обстоятельство, что допускались евреи, будто бы в неограниченном числе; содержание в институте было на счет казны, — конечно, с обязательством выслуги лет, и, наконец, поступление не ограничено известным возрастом, что тоже было очень важно, если принять во внимание, что мне было уже недалеко от 18 лет.

Общими силами собрали мне что-то около 50 рублей, и я снова пустился странствовать в поисках путей. Нашелся в Могилеве дальний родственник, который усердно хлопотал о принятии меня в институт, но всюду мы встречали отказ без всякого объяснения причин. Говорили определенно, что надо было кому-то дать взятку не менее 50 рублей, а у меня осталось всего-навсего около 30 рублей.

Каждый день бродил я около здания института, бросая затаенные и жадные взгляды на окна классов и общежития, неизменно возвращаясь в свою каморку с тоскливой душой и накапливающейся горечью за обиды судьбы. Не оставалось никакой надежды. А время шло. Крепко запрятанные в мешочке на груди, по наказу матери, мои фонды таяли изо дня в день, несмотря на то, что я испытывал во всем крайние лишения, ограничив себя до последней возможности. У меня осталось денег в обрез на дорогу домой; и я пустился в обратный путь...

По возвращении домой я встретил вдруг Васю Альбиновича бравым портупей-юнкером и — вот-вот будет офицером. Мамаша его уверяла, что Вася будет не только офицером, но даже будет адъютантом, верхом на лошади, и с аксельбантами. Одна мысль об этом щемила у меня все нутро. Ведь, представьте себе: еврейские юноши тоже не чужды сладких мечтаний и затаенных желаний!..

Вася уговаривал меня бросить все мои поиски в жизни и пойти по его следам. Отец мой тоже склонялся к этой мысли. Тем более, что средний мой брат, Соломон, подлежавший в этом году отбыванию воинской повинности, не

был принят на службу по болезни, и мне оставалось на выбор: или дожидаться призыва, или поступить на службу вольноопределяющимся.

Я выбрал последнее, и в марте 1877 г. поехал в псковский кадетский корпус, тогда — военную гимназию, держать экзамен на вольноопределяющегося 3-го разряда. Экзамен я, конечно, выдержал блистательно, что неудивительно, потому что вместо требовавшейся по программе, например, элементарной всеобщей истории Белярминова я блеснул Гервиниусом и Моммзенем и т. п., немало удивив этим своих экзаменаторов.

Экзамен выдержал. Но моему поступлению на службу воспротивился брат Яша, потому что в это время началась война с Турцией. А на войне ведь могут убить; зачем самому лезть? Лучше подождать. Мои родители поддались этим увещаниям и удержали меня от немедленного поступления на службу.

Война затянулась. Наступил 1878 год. А тем временем мое свидетельство, действительное только в течение года, потеряло силу. Необходимо было поехать вторично держать экзамен — на сей раз в Витебскую классическую гимназию.

Выдержал отлично и в классической гимназии, и в июне 1878 г. поступил вольноопределяющимся в 95-й пехотный запасной батальон в Пскове. Хотелось мне поступить в том же городе, где служил офицером Альбинович, в 146-й Царицынский полк, но полковой адъютант мне сказал, что «евреи в полку нежелательны», и, вопреки всяким законам, мне отказали.

Красноярский полк, в запасный батальон которого я поступил на службу, находился тогда на театре войны, в Турции, и время от времени из батальона посылались маршевые команды для укомплектования полка. Мне казалось, что достаточно обрядиться в военное обмундирование, чтобы стать сразу пригодным для войны воином; а потому я обратился с просьбой к ротному командиру за-

числить меня в первую маршевую команду и отправить на театр военных действий. Не знаю, и теперь не могу припомнить и уяснить себе, какой был основной импульс обурявших меня тогда воинственных наклонностей. Едва ли какую-нибудь роль играли воинственные порывы или славянский патриотизм. Вернее всего — простое любопытство: хотелось посмотреть войну.

В ответ на мое ходатайство меня сдали на руки дядьке — военному инструктору для обучения муштре, ружейным приемам, шагистике и прочим артикулам солдатской науки. В дядьке достался мне призванный из запаса старый служака, унтер-офицер Феоктист Терехов, с очень отсталыми познаниями в солдатской науке. Конечно, я сам взялся за уставы, требуемые для рекрутской школы; но шагистику, ружейные приемы и все, что понимается под одиночным обучением, преподавал мне мой добродушный дядька, с бычачьими глазами и лицом, изрытым оспой.

Мой ротный командир, капитан Павлов, поступивший из отставки, был не сильнее моего дядьки в военном деле. Из современных воинских уставов он знал одну единственную команду — «рот строй каре», и эта команда вызывала всегда на ротном ученье невероятный сумбур; а наш бедный командир бился в беспомощном замешательстве, не зная, что делать. Выручал фельдфебель Иван Софронович, который поспевал всюду, где зуботычиной, спереди и сзади, где саблей плашмя, подталкивал и направлял людей на свои места.

Другие офицеры батальона, преимущественно старые служаки, были тоже вроде капитана Павлова. Вот, например, заведующий хлебопечением штабс-капитан Анц: каждый вечер приходил он в лагерь изрядно выпивши, чтобы вместе с солдатами отплясывать трепака на лагерной линейке, т. е. на виду у всех.

Наш кружок вольноопределяющихся в батальоне состоял из 10–12 юношей, преимущественно детей офицеров



и чиновников, поступивших на службу для военной карьеры. Вся эта семейка представляла собою веселую компанию, которая проводила время в праздности, ничего не делая, посещая часто рестораны, веселые дома, — насколько хватало у кого денежных средств; а были среди нас и богатые. Обязательных строевых занятий для вольноопределяющихся почти не существовало; жили они не в казарме, а на вольных квартирах, даже во время лагерного сбора; солдаты называли их «господами», в обращении — «барин».

Вообще, служба в запасном батальоне была привольной, в особенности по сравнению с Царицынским полком, расположенном в том же Пскове. Царицынцы смотрели на нас, красноярцев, очень свысока, считая себя чуть ли не гвардией. Да и действительно, это был хорошо вышколенный полк, под командой полковника Квицинского, пользовавшегося репутацией выдающегося командира полка.

Замечу мимоходом, что командир Царицынского полка, полковой адъютант и все батальонные командиры были поляки. А уж сколько поляков было в полку среди ротных командиров и говорить не приходится! А полк, тем не менее, пользовался славой образцового внутреннего порядка, выдающейся строевой выправкой и строгой дисциплиной. После, много лет спустя, пошли всевозможные процентные нормы и жестокие ограничения в отношении поляков, армян и всяких инородцев. Чем это было вызвано? Какой реальной необходимостью? Этого никто не скажет. И никто не скажет, что военное дело было в выигрыше от этих преследований.

Но об этом — после.

В противоположность Царицынскому полку, служба в нашем запасном батальоне не отличалась интенсивностью, как, впрочем, и должно было быть в батальоне запасном, где состав офицеров был очень шаткий, где нижние чины состояли из малочисленного кадрового состава и массы обучаемых новобранцев для отправления на театр войны.

Жизнь нашего кружка вольноопределяющихся втянула, конечно, и меня в свою колею, но не вполне. По моим склонностям и закваске, вынесенным так недавно из родительского дома, я не мог делить с ними всех развлечений и походов, хотя товарищи мои ставили себе часто нарочитую цель, как своего рода спорт, завлечь меня в места значные или увидеть меня пьяным, как следует, что так часто случалось с ними. Я, однако, инстинктивно боролся против этих увлекательных товарищеских разгулов. Обвеянный еще неостывшими, так недавно вынесенными из родительского дома строгими заветами и наставлениями нравственной и физической чистоты, я стойко сопротивлялся всяким соблазнам, вызывая иногда безмерные остроты и зубоскальства моих юных и веселых товарищей, воспитанных в иных условиях жизни. Случалось, что после веселых попок, на дому или в ресторане, товарищам удавалось увлечь меня в веселые дома, но дальше таких посещений не шло мое падение.

В июле 1878 г. батальон наш был переведен из Пскова в Ревель, назначенный стоянкой для Красноярского полка, который в августе прибыл туда с театра войны. Немецкое население встретило полк как будто душевно и радостно; так, по крайней мере, казалось с внешней стороны.

Что касается служебного режима в полку, то таковой хромал, как говорится, на все четыре. В полку не было собственно никакой службы, отчасти потому, что полк вернулся с войны (какая ж тут может быть служба, когда нужно оправляться, чиниться, создавать и восстанавливать ее основания!), отчасти и потому, что наступило время осеннее — период увольнения на вольные работы. А ко всему этому — самое главное — всем, и малому, и большому начальству хотелось просто отдохнуть после боевых трудов на войне.

Конечно, вольноопределяющиеся гуляли на законном основании. Все жили на вольных квартирах в городе и очень редко приходили в свои роты, расположенные далеко за городом, в казармах так называемой «оборонитель-

ной батареи», на самом берегу моря. Я тоже жил сначала в городе, а затем поселился в роте, потому что ротный командир капитан Ломан навалил на меня ведение наряда, хозяйственную отчетность по вновь вводившемуся тогда «положению о хозяйстве в роте», — восстановление описей отчетности, ротные списки и пр., все это после войны было в хаотическом состоянии.

Когда я ознакомился близко с состоянием роты, я понял тогда, какое опустошение производит война: по списку в роте числится — 360 человек, а в некоторых ротах — 400 и больше; а налицо имеется только 20–30 человек. Все остальные, больные злокачественной или хронической лихорадкой, или с отмороженными пальцами на руках и ногах, рассеяны в госпиталях, оставленных в Болгарии или в попутных городах. Полк, как говорили, был буквально заморожен на Шипке, по преступной беззаботности начальника дивизии.

По мере выздоровления прибывали в роту солдаты — болезненные, изнуренные лихорадкой до крайности; немало рассказывали они печальных новостей о пережитом на войне. Оставались они в роте день-два, перед увольнением «в чистую», унося с собою приобретенные на службе недуги и полнейшую неспособность к труду и являясь в деревню тяжелой обузой для своих полунищих родичей.

Не буду долго останавливаться на бытовых условиях жизни и службы в полку; хотя они очень характерны по сравнению с позднейшими временами, которые в моей службе измеряю почти 40 годами. Есть что сравнивать. Начать с того, что командиры полков тогда редко-редко заглядывали в казармы, раз в 3–4 месяца, или по случаю посещения казарм каким-нибудь начальством. Строевыми занятиями интересовались очень мало. По примеру высшего начальства и остальные офицеры только мимоходом заглядывали в роты, и то не каждый день. Исключение представлял собою только майор Федоренко, выслужившийся из нижних чинов.

При посещении рот командир полка подавал руку только штаб-офицерам, а обер-офицерам — кивок, и только. Полковых швален тогда не было; обмундирование и пригонка производились в ротах и отличались гораздо большей тщательностью, чем впоследствии, когда, зарясь на выгоды прикроя, полк прибрал это дело к своим рукам. Хлеб пекли в ротах; припек шел в пользу ротного хозяйства, и хлеб был всегда отличный, — настолько, что немцы в городе старались всеми мерами добывать солдатский хлеб. Все это изменилось к худшему, когда, зарясь на выгоды припека, полк также и хлебопечение прибрал в свои руки; и еще хуже стал хлеб, когда он стал изготовляться интендантством, фабричным путем, в больших хлебопечкарнях.

В августе получился приказ: всех вольноопределяющихся, отбывших лагерный сбор, командировать в Виленское пехотное юнкерское училище для экзамена и поступления в училище...

Меня сильно волновал вопрос — что будет со мною: может ли вольноопределяющийся из евреев поступить в юнкерское училище? Может ли он надеяться быть офицером? Слышал я, что государь Александр II во время проезда через Одессу при возвращении с театра войны лично произвел в офицеры еврея-вольноопределяющегося Фреймана, желая этим фактом подчеркнуть равенство всех перед законом в боевых рядах. Но самый факт личного участия государя в этом производстве указывал на чрезвычайную исключительность такого события; на что я, конечно, никогда рассчитывать не мог. Но меня занимал ближайший вопрос: отправят ли меня хоть в училище, вместе со всеми товарищами, для экзамена? Вопрос этот занимал также и полковое начальство, которое перерыло все законы и циркуляры, чтобы выяснить: следует ли, можно ли меня отправить, или нет. В результате всех поисков пришли к заключению, что нигде прямых запретных указа-

ний нет\*. Значит, обязаны меня отправить вместе со всеми вольноопределяющимися. А потому включили меня в общий список и выдали мне тоже 64 копейки кормовых на дорогу до Вильны.

Все мы радостной командой совершили эту веселую и беззаботную, для других, поездку и в указанное время явились к экзаменам. Все шло у меня благополучно; экзамены проходили у меня блистательно, один за другим. Вдруг, в один прескверный день, после блестяще выдержанного экзамена по всеобщей истории ко мне при всех подходит училищный офицер и спрашивает меня... какого я вероисповедания. Я ответил: «еврейского».

— В таком случае вы не можете продолжать экзамены, так как евреи не допускаются в училище. Отправляйтесь на сборный пункт, чтобы вас отправили обратно в полк.

Кто поймет эту гнетущую боль уязвленного самолюбия при всех товарищах! За что меня изгоняют? Чем я хуже других, когда всем нам хорошо известно, что тут, среди вольноопределяющихся, были и отпетые пьяницы, и даже заподозренные в воровстве? И никто их об этом не спрашивает; и всем им широко раскрываются двери в училище, несмотря на крайне слабую образовательную подготовку. А меня изгоняют за... вероисповедание, — скорее за моих предков, за то, что я родился в еврействе, потому что с тех пор, как я уехал из дома, я ни в чем не соприкасался с еврейским вероисповеданием, — забыл про него. Я столько же помню про синагогу, сколько мои товарищи про церковь, куда они никогда не заглядывают. Вся разница между нами в том, что в каких-то бумажках что-то числится формально о вероисповедании.

И вот когда и как напоминают — каким ударом хлыста!

---

\* Только много лет спустя последовало циркулярное указание, что евреи не допускаются к прохождению курса в юнкерские училища.

Нетрудно себе представить, в каком подавленном состоянии возвращался я в полк. Что ожидало меня впереди? На что решиться?

Мой ротный командир, впрочем, очень обрадовался моему возвращению в полк, потому что можно было опять навалить на меня всю ротную отчетность. Вместе с тем он старался убедить меня в наивности моего поведения, — что я так легко пожертвовал поступлением в училище и военной карьерой вопросом о вероисповедании.

— Взяли бы да и крестились, когда этого требуют. Вот и все.

Пошла серенькая казарменная жизнь в роте. Не в пример большинству моих товарищей вольноопределяющихся, я зажил вполне солдатской жизнью в казарме, где ел, спал и делил досуг с солдатами моей роты. Это много помогло мне в познании солдатского житья-бытья и самых низов военной службы. Впоследствии, когда мне самому пришлось быть в роли начальника и участвовать в совещательных комиссиях по разным вопросам, касающимся жизни и службы солдата, мне очень помогал этот непосредственный опыт, вынесенный из казарменной жизни совместно с солдатом. Возникал ли вопрос о солдатском ранце, караульном наряде, приварочном окладе — я мог судить об этом по собственной лямке, которую тянул доподлинно в солдатской шкуре, а не по показам и рассказам, преподаваемым юнкерам в военных или юнкерских училищах.

Начальство, по-видимому, ценило мое отношение к службе, потому что, когда поступили в роты новобранцы, меня назначили учителем, а затем весной произвели в унтер-офицеры, и я стал отделенным начальником.

Летом 1879 г. полк наш отправился на лагерный сбор в Красное Село, где расположился в так называемом авангардном лагере. Нашим ближайшим лагерным соседом был Финский стрелковый батальон — оригинальнейшая войсковая часть, вполне иностранная в составе русской ар-

мии, с особым обмундированием, вооружением и снаряжением, особым офицерским составом и даже особыми командными словами на непонятном для русского уха языке.

Крепко запечатлелась в памяти лагерная служба того далекого времени в Красном Селе. Сколько пленительной, чисто воинской поэзии в ночных тревогах, двухсторонних маневрах, в ночных бивуаках с пылающими кострами! Сколько сверкающей прелести в торжественных царских объездах лагеря, в сопровождении блестящей многочисленной и живописной свиты с военными и дипломатическими представителями со всех концов света!

Какую дивную картину представляла собою заря с церемонией в присутствии государя и всей императорской фамилии, генералитета, дипломатического корпуса, иностранных военных представителей и чуть ли не всего аристократического Петербурга, собиравшегося всегда к этому вечеру в Красное Село из города и со всех дач.

А развод с церемонией! — этот чисто лагерный военный праздник, стоивший, правда, немало труда и пота для офицеров, а подчас и зуботычин для солдат; но в общем, конечно, ансамбле представлявший собой эффектнейшую картину на ярком фоне лагерной жизни, развертывавшейся под звуки нескольких хоров музыки, окаймленной всегда многочисленной изящной публикой, собиравшейся нарочито в лагерь к этому часу.

С какой-то затаенной грустью вспоминается вся эта поблекшая теперь прелесть минувших дней! То ли жаль этих постепенно отмиравших красот нашей воинской жизни, вытесненных прозаическими требованиями профессионального дела, на которое легла повсюду серенькая тень «защитного» цвета — то ли жаль собственной, канувшей в Лету, молодости, озарявшей тогда всю жизнь и службу, каковы бы они ни были. Ведь действительно, с нынешней, вполне разумной, точки зрения, нельзя же из народной армии, высасывающей пот и кровь народа, устраивать

своего рода игрушку для забавы праздных людей своими разводами, церемониями, парадами и т. п. затеями, отнимавшими слишком много времени от подлинного дела.

Нелишне коснуться, хоть в общих чертах, бытовых условий жизни и службы в Красносельском лагере того отдаленного времени, — почти полвека назад.

Несмотря на то, что это был и есть важнейший лагерь на всю русскую армию, где служба протекала на виду многочисленного высшего начальства, каждодневно заглядывавшего в лагерь, все же не видно было сколько-нибудь надлежащей дисциплины в отношении офицеров. Достаточно сказать, что в нашей роте, во весь лагерный сбор, ротный командир ни разу не приходил, чтобы вести роту на стрельбу, потому что для этого надо было вставать в три часа ночи. И такая важная отрасль подготовки роты брошена была на руки мне, унтер-офицеру из вольноопределяющихся. Я вел роту на стрельбу, вел отчетность по стрельбе и пр. И в других ротах офицеры приходили или приезжали прямо на стрельбище, часам к 7–8 не раньше.

Пусть господам офицерам неважно было вставать в 2–3 часа утра, чтобы вести роты на стрельбу, но, казалось бы, что, прибыв на стрельбище в 7–8 часов утра, можно бы заняться своим делом. Так нет: собирались кучкой для болтовни, либо окружали Пашу Горбунова\* с его соблазнительной корзиной бутербродов и выпивки, чтобы за закуской и разговорами прокоротать время до 9–11 часов утра; затем, поручив фельдфебелю вести роту в лагерь, они стремились поскорей убраться домой.

Вообще, в службе того времени видны были еще не изжитые следы крепостного барства во всем, что касалось собственно взаимоотношений офицеров. Зато в отноше-

---

\* Один из легionsа вездесущих лагерных разносчиков, сопровождавших войска всюду — на стрельбища, маневры, полковые ученья — всюду с корзиной закусок и выпивки наготове. Эти разносчики распределяли между собою части войск и лагерные районы и тесно сживались с соответствующими группами офицеров, а потому знали все толки и сплетни лагерной жизни.



нии солдата не чурались строгостей и даже мордобития, несмотря на то, что формально это давно уже запрещено было законом.

Вспоминаю такой случай. Полк построен впереди лагеря, в ожидании смотра начальника дивизии. Идет бесконечное и томительное выравнивание по фронту и в тылок. Батальонный командир, верхом, надрывается:

— Там, там, корявый, вправо... много... много, сукин сын, влево... еще влево... — ну, стой так.

— Дальше... Ты, там... пучеглазый (поди угадай кого это касается)... вперед немного... немного, чертова кукла... куда выпучился... назад, тебе говорят, анафема... Ротный командир! Капитан Ломан, смотрите, что у вас за олухи, стоят истуканами... все потому, что я битых морд не вижу!..

А ротный командир и фельдфебель Иван Софронович давно уже мечутся от одного солдата к другому, подталкивают саблей и пятерней, кого спереди, кого сзади; при последних словах батальонного командира об отсутствии битых морд, ротный счел долгом пополнить этот пробел и совсем зря двинул кулаком в лицо какому-то солдату недалеко от меня. Удар, по-видимому, был не Бог весть какой сильный; но все же пошла кровь из носа. Под предлогом будто смахнуть кровь, солдат еще больше размазал ее на физиономии и на белой гимнастерке. Начальство все это видит и точно не замечает. Наконец, ротный командир бросает, точно мимоходом: «вытри морду, образина!», а сосед, шустрый проходимец Парфенов, шепчет солдату: «не вытирай, пусть командир полка увидит». Солдат еще пуше размазывает кровь. Да и чем, и как солдату вытереть кровь, стоя в строю: ведь носовых платков солдату тогда не полагалось!

В конце концов и полковой, и бригадный командир, и начальник дивизии — все видели окровавленного солдата, но делали вид, что не замечают ничего особенного: должно быть тоже сознавали, что «без битых морд» нельзя обойтись...

Чуть и мне не влетело однажды — совсем, что называется, на чужом пиру и по поводу наивной шалости одного из товарищей в отношении... великой княгини Марии Феодоровны. Во время высочайшего объезда, вслед за государем Александром II ехала в открытой коляске великая княгиня Мария Феодоровна, тогда обворожительная, красивая и очень ласковая с юнкерами и кадетами наследница престола. Стоявший за мной в затылок вольноопределяющийся фон Зигер-Корн вздумал послать наследнице воздушный поцелуй: это ведь в расстоянии 3–4 шагов, и сам сейчас же опустил вниз, за моей спиной. Великая княгиня поцелуй заметила, улыбнулась и кокетливо-грозно погрозила пальчиком... в мою сторону; ехавшие верхами около экипажа наследницы генералы, не зная, в чем дело, насторожились, засуетились, кто-то погрозил уже не пальцем, а кулаком, а близкое начальство накинулось уже с грозными и тревожными расспросами... Все, впрочем, обошлось благополучно.

Наследник, впоследствии государь Александр III, часто прогуливался пешком перед нашим лагерем, один, без адъютанта, почти всегда в шинели-пальто, надетом поверх красной шелковой рубахи с косым воротом, перепоясанной шнурком, и отведывал «пробу»; да не так, как обыкновенно это делали другие начальники повыше, т. е. прикоснувшись ложкой к щам или каше, а уплетал основательно внушительные порции, после чего уходил на лужайку перед лагерной линейкой и всей своей грузной фигурой растягивался на траве, животом на землю.

Государь Александр II очень любил поднимать войска ночными тревогами. Конечно, эти тревоги отнюдь не могли служить показателем боевой готовности войск; да это и не имелось в виду. Это был просто один из номеров боевых забав, в большом масштабе.

Среди глубокой и особенно темной ночи, именно тогда, когда ни зги не видеть, вдруг начинают бить барабаны — все барабаны, везде и всюду, сколько их есть; темнота насы-

цена барабанным боем; взвиваются ракеты; зажигаются грандиозные факелы; пылают смоляные бочки, оживают как будто все стихии; но все это копошится в густой тьме. Из отдаленных деревень несется вскачь кавалерия, опрокидывая все, что подвернется. Гремит пушками, тоже вскачь, артиллерия. Сомкнутыми колоннами, в непроницаемой тьме, двигается к сборным пунктам пехота. Артиллерия занимает якобы указанные позиции и открывает неистовую пальбу... во тьме, конечно, куда угодно, лишь бы пальба была.

Вот, зная эту слабость Александра II, мы, по вступлении в лагерь, ожидали каждую ночь тревогу: шинель лежит скатанной, хотя она очень нужна солдату покрыться ночью в палатке (одеял тогда не полагалось), амуниция приготовлена под изголовьем, сапоги и портянки — тоже под рукой. А в иных ротах приказывали под сурдинку спать «одним глазом» и полураздетыми только.

Это ожидание тревоги было изрядной мукой для солдата.

Проходила, однако, неделя за неделей. Был уже конец июля, а тревоги нет как нет. Наконец, уверились, что в этот лагерный сбор царской тревоги вовсе не будет. Чтобы укрепить окончательно бесповоротную уверенность в этом, Александр II даже уехал из Красного в Павловск или Петергоф.

Оказалось, однако, что со стороны государя это была военная хитрость: уехав днем, на виду у всех, государь вернулся один, в час ночи, пешком пришел на середину авангардного лагеря, т. е. в наш полк, и приказал дежурному барабанщику «бить тревогу». Вслед за дежурным и наши все барабанщики, как полагалось, выскочили из палаток в одних рубахах, без порток, с кое-как прицепленными барабанами, и все бурно забили тревогу.

Конечно, наш полк построился раньше всех, что было нетрудно, потому что сборный пункт для всех войск авангардного лагеря был перед серединой нашего полка. Сейчас же подъехал великий князь Владимир Александрович

и приказал двинуть наш полк куда-то. Мне батальонный командир приказал со взводом\* поскорее занять валик около известной лаборатории. Вести взвод строем, когда темнота хоть глаз коли, когда кругом сплошная каша всех родов оружия, когда со всех сторон адская канонада и густая темнота сгущена до осязаемости пороховым дымом — нечего было и думать; да это была бы, во всяком случае, долгая канитель. Но мы отлично знали дорогу к лаборатории, потому что каждый день ходили на стрельбу мимо нее. Я распорядился поэтому просто: «валяй к лаборатории, в одиночку, собраться так к воротам».

И действительно, сколько раз по дороге к лаборатории мы попадали под ноги кавалерии, под колеса артиллерии и под дула стрелявших пушек. Но зато через 30–40 минут я со взводом залег уже за вал лаборатории. Поспели как раз вовремя.

Из темноты выделилась какая-то группа всадников. Кто-то спросил: «Какая часть?» Я ответил: «Красноярцы». Кто-то, картавя, похвалил: «Молодцы, красноярцы!» Мы гаркнули: «Рады стараться» и... загнулись, не зная как величать благодарящего. Несколько шепотных голосов подсказывают: «кричи ваше императорское величество»... Оказалось, что это государь. Наш батальонный оказался тут же и прямо сиял, даже во тьме, от радости и счастья, услышав эту царскую похвалу.

В тот же день меня произвели в старшие унтер-офицеры. Я стал *капралом*. Это было мое первое отличие.

Около середины августа полк вернулся в Ревель на свою зимнюю стоянку. Вскоре получено было в полку распоряжение о командировании в юнкерское училище. Для полкового начальства опять стала дилемма — послать ли меня вместе с другими в училище, или нет. Ведь мое возвращение из училища в полк в минувшем году не было

---

\* Надо помнить, что после Турецкой войны субалтерные офицеры в ротах были большая редкость: их часто заменяли вольноопределяющиеся.

ничем мотивировано. Просто сказали «поезжай назад», и все тут. Вполне естественно, что полковое начальство очутилось снова перед прошлогодней дилеммой, не имея законных указаний — послать ли меня в училище, или нет.

Для меня-то, однако, ясно было, что в лучшем случае я прокачусь на казенный счет и только: в училище не примут.

\* \* \*

А не последовать ли совету ротного командира и согласиться, чтобы записали меня... православным, раз этого требуют?

И вот для начальства встал канцелярский вопрос, а для меня — настоящий Рубикон. При всей индифферентности к делам религии мне все же нелегко было решиться на этот шаг: ведь я тоже только дитя своей среды, впитавший все ее взгляды и предрассудки. Но в сущности — какой же это Рубикон, который может перейти всякая курица, не одержимая куриной слепотой?

Много раз впоследствии, придя уже в зрелые годы, я пытал мои разум, мою совесть, мое сердце — хорошо ли я поступил тогда, в мои юношеские годы, что перешагнул этот Рубикон, переменил религию ради карьеры, ради удобств жизни; и — положительно не нахожу против себя никаких упреков, даже оставляя в стороне всякие соображения материального характера. Ведь все-таки, и с материальной точки зрения, как никак, а по ту сторону Рубикона я обрел — пусть не корону, пусть не «Париж, стоящий обедни», но и не какую-нибудь чечевичную похлебку, по примеру Исава, а хорошую карьеру и совсем иное земное существование.

И что от меня требовалось взамен? Взамен от меня не требовалось никакой сделки с совестью; напротив — достаточно было отказаться быть жертвой того организованного тонкого обмана, которым в представлении суеверных людей опутан вопрос о перемене религии. Как, если не заведомым и организованным обманом, назвать все эти

пословицы, заветы, мораль, которые вдалбливаются в детские головы еще на школьной скамье, все с одной и той же затаенной целью заставить кренко держаться за *свою* религию. Переменил религию — «изменил своему Богу» — значит способен изменить также своему государю, своей родине, но мало ли мы видели изменников и предателей, оставшихся при своей религии? И, наоборот — мало ли видим примеров обратного свойства?

При чем тут религия, которая в массе ведь понимается не как кодекс морали, а как символ, определяющий взаимоотношения к Богу? Кому и где это служит преградой? Если не встречаем среди русских православных перехода в другие религии, то потому, во-первых, что это прямо запрещалось законом, — не было физической возможности осуществить такое намерение; во-вторых, это было просто невыгодно, до крайности; а когда теперь обстоятельства изменились, то не только готовы менять религию, а меняют *отечество*, — переходят в другие подданства. А ведь это уже подлинная измена своей Родине! И делается это с легким сердцем, иногда лишь ради мизерных расчетов. И ни откуда не встречает порицания.

Все относительно в нашей жизни, полной всевозможных противоречий...

Можно ли представить себе более преданных своей новой религии, после отказа от старых своих богов, как это было, например, с царицей Александрой Феодоровной и великой княгиней Елизаветой Феодоровной. Почему обменять своего бога на корону или на великокняжеское положение, с точки зрения морали, допускается и даже поощряется, и требуется, хотя можно ведь существовать и без короны; а когда голодный человек совершает пустую, с его точки зрения, формальность ради куска хлеба, то это зорно? Ведь такие мистические души, как Александра и Елизавета Феодоровны, оказавшиеся настолько рьяными фанатичками в православии, наверное еще в лютеранстве

были привязаны к своим религиям всеми фибрами души. Для них-то перемена религии была ведь настоящее сальто-мортале. И все же они совершили этот скачок, когда потребовали обстоятельства. Тогда как затравленному и гонимому еврею, жаждущему *только* человеческого существования, такой шаг вменяется в вину, хотя никаких скачков, по совести, ему делать и не приходится.

Я привел пример с Александрой и Елизаветой Феодоровнами просто по его яркости. Но что сказать про многих наших выпренных аристократов или заслуженных бюрократов, которые со скандальной и преступной легкостью теперь изменяют... не своему Богу — они бы и это сделали, но это никому не нужно, никто этого не спрашивает, — а изменяют своему *отечеству*, отказавшись от России, как только их оттеснили от государственного пирога, который они привыкли расхищать сами из поколения в поколение, старательно не подпуская других. Можно ли сравнивать положение подобных аморальных людей с положением гонимого еврея, поставленного в невозможность сколько-нибудь человеческого существования и вынужденного совершить формальность для перемены религии, чтобы только получить возможность *дышать воздухом*, буквально: ведь это не везде позволительно было евреям!

Подумайте только, сколько коварства скрывается в этом вопросе, задрапированном с виду такими красивыми принципами. Отнимают от человека право на человеческое существование, подвергают нравственным пыткам и гонениям всякого рода, *сами указывают* выход, где легко и просто найти убежище; и когда человек воспользуется этим выходом, упрекают его в отсутствии стойкости.

Можно ли представить себе провокацию худшего сорта! Ведь по элементарному здравому смыслу ясно, что быть стойком в этом случае, значило бы преклоняться пред явными предрассудками, которые представляются мне глупыми, жестокими и несправедливыми.

Пристойно ли, однако, оставлять ряды слабых и гонимых и переходить к сильным и гонителям?

Да, — это было бы так, если бы христианство было в борьбе с еврейством. Но ни по букве, ни по духу христианского вероучения вообще, и православного в частности, нет никакой вражды к еврейству; напротив, — это ведь родственное вероучение, состоящее из Старого и Нового Завета, не имеющее ничего общего с гонением на евреев, народившимся лишь впоследствии, с течением веков, среди темных низин народных, при изуродованном понимании религиозных верований.

А гонители? Разве это народ русский, или какой бы то ни был другой народ в мире? Ведь гонители, одержимые юдофобством, — это везде и всюду самые низкие элементы, ограниченные умственно и нравственно, независимо от религиозных настроений, — просто своего рода *садисты*, по выражению Л. Н. Толстого, от которых недаром всегда старательно отмежевывается все, что есть лучшее, интеллигентное в каждой нации.

\* \* \*

Все эти приведенные выше рассуждения, быть может, не представлялись мне вполне ясными тогда, в мои юношеские годы, когда мне предстояло шагнуть через Рубикон; но смутно я это сознавал и понимал одинаково тогда, как и теперь, на склоне дней моих, когда приходится подводить итоги...

Самое важное, что я старательно и неусыпно держал под светом моей совести, это было то, что, оставив ряды угнетенных, продолжал бороться, активно или пассивно, против гонений, видя в такой борьбе сокровенное и разумное служение России, моей Родине, по долгу Совести и Присяги, следуя этим путем также и велениям сердца.





**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**  
**После Рубикона**





---

## Глава V

### Жизнь и служба армейского офицера

*Поступление в юнкерское училище. Жизнь, служба и обучение. Традиционное празднование производства в офицеры и его последствия. Обычаи и нравы офицерской жизни того времени. Наложение экзекуций на униат. Мое увлечение обучением солдат грамоте, и взгляды начальства. Аутодафе «крамольных» книг в 1882 г. Порядки охраны путешествий Александра III. Поступление в академию Генерального штаба. Жизнь, служба и обучение в академии.*

---

Вступительный экзамен в юнкерское училище я, конечно, выдержал легко и поступил в младший класс (был еще и подготовительный, для менее подготовленных). Я очутился в совершенно новых для меня условиях бытовых, служебных и учебных. Среда, в общем, была все та же: армейские вольноопределяющиеся, с которыми успел уже сжиться за полтора года совместной жизни и службы в полку; обстановка училищной жизни была совсем иная.

Стоит несколько остановиться на этом важнейшем этапе былой подготовки главной массы нашего офицерства, потому, во-первых, что никакой посторонний глаз никогда не заглядывал и не мог заглянуть в эти закрытые учебные заведения. Даже жизнь семинарской бурсы или женских институтов находила в свое время своих бытописателей и разоблачителей. А кто стал бы раскрывать училищную жизнь, когда после узды юнкерской следует режим дисциплины офицерской, достаточной для того, чтобы наложить печать молчания на всю жизнь.

Между тем юнкерские училища являлись колыбелью главной массы нашего офицерства, которое впоследствии иногда творило историю.

Конечно, я могу говорить лишь о моей «alma mater», варшавском юнкерском училище, но ясно, что все внутреннее содержание всех 10 окружных юнкерских училищ, существовавших по одному и тому же уставу, было совершенно одинаково.

Некоторое отличие Варшавского училища заключалось в том, что значительный процент юнкеров принадлежал к польской национальности; поэтому, несмотря на все запреты, польская речь слышна была часто в дортуарах и классах. Это обстоятельство послужило впоследствии причиной закрытия этого училища в первую очередь, раньше других окружных училищ.

Однако, в мое время, в 1879–1881 гг., Варшавское училище процветало и считалось образцовым, главным образом, по строевой подготовке: приезжали даже из других училищ знакомиться у нас с постановкой строевого и стрелкового дела.

Но у нас была еще одна совершенно исключительная отрасль подготовки юнкеров, которой либо вовсе не было в других училищах, либо она была там в пренебрежении. Это — преподавание методики и педагогики. Дело в том, что случайно подвернулся в нашем училище весьма дельный преподаватель упомянутых предметов, артиллерийский подполковник Троцкий-Сенютович, сумевший, помимо основательных знаний, пробудить у юнкеров любовь к преподаванию грамоты солдату. Дело было поставлено просто и практично: по окончании теоретического курса ежедневно приводились к нам в училище команды безграмотных солдат из расположенных в Варшаве полков, и юнкера должны были практически применять изученные методы обучения. Эти занятия неизбежно увлекали импровизированных учителей, видевших воочию ус-

пех дела, когда после 10–12 уроков безграмотный солдат превращался в грамотного, умеющего читать и писать.

Многие из нас впоследствии, уже в роли офицеров, старались всеми мерами применять вынесенную из училища педагогическую подготовку, внедряя грамотность в войсках. Сам я был в числе этих многих. К сожалению, эти благие увлечения не всегда поощрялись начальством, что я испытал на собственной шее. Но об этом речь впереди.

Отрадно вспомнить нашу училищную библиотеку, которая была обставлена роскошно и уютно. Конечно, преобладали книги военного содержания, большую часть которых я успел перечитать; в особенности увлекался многолетней историей военного искусства Голицына, несмотря на ее крайнюю устарелость.

Находясь в старшем классе, я вздумал попытать свои силы в печати. Прочел я где-то статью Венюкова, в которой приводилась фраза Скобелева: «дайте мне 100 тысяч верблюдов и я завоюю Индию». Вот эта фраза вдохновила меня написать статью в газету «Голос» о возможности похода русских войск в Индию. К моему немалому удивлению и безмерному блаженству я увидел мою статью напечатанной, как передовая, т. е. без подписи. Вероятно, редакция затруднялась поставить под статьей подпись: юнкер Грулев. Моему блаженству не было предела, но все же чего-то не хватало: не было моего имени под статьей, о чем я так мечтал; да и товарищи упорно не верили, что это я писал, хотя я показывал рукопись и прочее.

Судьбе угодно было, чтобы эта первая моя экскурсия в печати по среднеазиатскому вопросу привела меня много лет спустя ко многим дальнейшим работам по этому вопросу, из которых некоторые переведены на английский и немецкий языки.

Состав юнкеров в окружных училищах заключал в себе преимущественно такие юношеские элементы, которые в общем потерпели кое-какой крах на учебном поприще: не

выдержали переходного экзамена из класса в класс или просто не могли дотянуть до конца где-нибудь в гимназии, кадетском корпусе или в духовной семинарии. Поэтому военная дисциплина и строгий режим, учебный и житейский, в юнкерском училище являлись спасительными для этих, до некоторой степени, свихнувшихся элементов.

Жизнь протекала по барабану и сигналам, под неусыпным наблюдением отделенных офицеров — этих училищных классных дам, — которые обязаны были внедрять в юнкеров прежде всего автоматический навык к строжайшему порядку и дисциплине во всем, что касается не только общей училищной жизни, но и собственного обихода, даже в свободное от всяких занятий время. Даже во время сна требовалось, например, вполне разумно, согласно требованиям гигиены, что спать должно обязательно не на левом, а на правом боку. И вот, на обязанности дежурного юнкера ночью, если видит, что юнкер спит на левом боку (это затрудняет сердцебиение), разбудить и заставить перевернуться на правый бок. Платье перед сном должно быть тщательно сложено в определенном порядке у кровати на особой табуретке; заметил ночью дежурный юнкер или офицер, при обходе дортуара, что рукав шинели сложен не по правилам или сапоги не выровнены как следует, — прервут сладчайший храп, заставят встать и исправить все по регламенту. А если у иного юнкера такие неаккуратности повторялись, то — неуютно ли дежурить или дневалить не в очередь по ночам и замечать неисправности у других.

Как спасителен был такой режим, который должен был подтянуть и приструнить характеры расхлябанные и развинченные.

В течение всего дня с раннего утра до позднего вечера шла почти непрерывная интенсивная работа, строевая и учебная, чередуясь между классом и манежем. Состав преподавателей по общеобразовательным предметам был очень удачный. Это все были отборные преподаватели

(потому что военное ведомство платило хорошо) местных среднеучебных заведений.

2 или 3 марта 1881 г., вечером, совсем в неурочный час, нам приказано было собраться в рекреационном зале. Вошел начальник училища с каким-то таинственным, крайне сосредоточенным видом. Несколько минут длилось тревожное молчание. Наконец начальник училища вынул бумагу из кармана и прочем нам официальное оповещение об убийстве императора Александра II, о чем неопределенные слухи уже носились в городе, проникая и в училище. Перемена царствования у нас сказалась в мелочах совсем особого рода, характеризующих начальство того времени. Дело в том, что Александр II носил баки и брил бороду; преемник же его, Александр III, как известно, растительность на лице оставлял неприкосновенной. Вот у начальства народился вопрос: как быть с юнкерскими баками, усами и бородами, — что брить и что нельзя брить? Сначала приказано было брить бороды, а баки не трогать; потом — бороду подстригать только; наконец, летом получилось разъяснение: брить и стричь что угодно.

На лето училище выступало в лагерь под Новогеоргиевском. Здесь происходили усиленные полевые занятия, с 4–5 утра до позднего вечера.

В последний лагерный сбор перед выпуском из училища стряслась со мной катастрофа, при которой офицерские погоны должны были у меня «мимо носа пройти», как изрек один начальник. Дело в том, что нашими топографическими съемками в поле заведовал полковник Генерального штаба Соловьев. Этот сибарит очень небрежно относился к своим обязанностям: в дождливую погоду совсем к нам не заглядывал, а в хорошую погоду постоянно запаздывал против им самим назначенного часа на сборные пункты. Для своих собственных удобств он сборным пунктом назначал нам всегда вокзал Новогеоргиевска. Пользуясь постоянным запаздыванием полковника Соло-

вьева, юнкера усердно прохладжались в буфете; и многие, падкие к выпивке, к приезду начальства оказывались в состоянии изрядно подмоченном. Так это случилось в последний день поверочных занятий, — в последний приезд полковника Соловьева, который на этот раз уж очень опоздал, и многие юнкера были уже «на втором взводе». К тому же, ввиду предшествовавших дождей, у большей части юнкеров работы не были выполнены вовсе.

Возмущенные несправедливым отношением полковника Соловьева, его манкированием и продолжительными запозданиями, способствовавшими слабым юнкерам напиваться в буфете, все юнкера — даже те, у которых работы были выполнены — сговорились подать ему голые планшеты и выдвинули меня изложить ему все, в присутствии всех.

Когда полковник Соловьев, наконец, явился, я прямодушно стал ему докладывать, что он сам был косвенной причиной наших неудачных занятий. Это привело его в ярость, и он мне, между прочим, изрек эту фразу: «ручаюсь вам, что офицерские эполеты у вас мимо носа пройдут»...

Надо побывать в юнкерской шкуре, чтобы понять какое жгучее впечатление должна была произвести на меня такая фраза накануне выпуска в офицеры. Годы труда, испытаний и лишений! И вот, накануне осуществления взлелеянной мечты, у порога новой заманчивой жизни, и — все прахом, мимо носа.

Поздно вечером мы вернулись в лагерь. Товарищи со всех сторон пытались утешить меня; но в этих утешениях сквозило похоронное отпевание.

Соловьев, сразу по прибытии в лагерь, направился в палатку начальника училища, откуда скоро стал доноситься горячий разговор. Наблюдатели-юнкера донесли, что вестовой побежал за кем-то, направляясь в палатку командира роты, полковника Мартынова, который скоро показался из своей палатки и быстрыми шагами направился к палатке начальника училища. Оттуда доносился



спор, который все больше и больше оживлялся и разгорался. Там, в палатке, идет теперь решение моей участи. Товарищи то и дело шмыгают все мимо палатки начальника училища, пытаюсь подслушать и уловить что-нибудь из этого судебного разбирательства... в отсутствие подсудимого; мне передают обрывки слов, не то утешительных, не то как пригоршни земли на гроб покойника.

Вдруг мы видим, что Соловьев, красный, как рак, вышел из палатки, хлопнув полой палатки, и ускоренным шагом направился вон из нашего лагеря.

Очевидно, начальство знало про манкирование этого преподавателя и не пожелало принести меня в жертву.

В августе 1881 г. я окончил училище португей-юнкером с переводом в 65-й Московский наследника цесаревича полк, расположенный тогда в Межиречье Седлецкой губернии и в окрестных деревнях.

Началась новая жизнь, полная свободы и сладких перспектив. Еще находясь в училище, после перехода в старший класс, я уже заглядывал далеко-далеко вперед... ни больше ни меньше, как в Академию Генерального штаба, и обзавелся даже программами для приемных экзаменов в академию. Со стороны юнкера окружного училища это была, конечно, не то химера, не то неслыханная дерзость; но я затаил эту мысль про себя. с этими сладкими мечтами и розовыми перспективами начал новую жизнь в полку.

По прибытии в полк представился, конечно, командиру полка, о котором стоит сказать два слова, потому что сам он, своей персоной, и самый факт существования таких высших начальников в армии нашей является характерными для того времени.

Командиром полка был полковник Фишер фон Альбах — австрийский немец, который очень плохо говорил по-русски, несмотря на то, что он уже 30–40 лет был на русской службе. Говорили, что он когда-то бежал из Австрии от кредиторов и некоторое время после бегства отси-

живался в Брест-Литовской крепости, впредь до выяснения. Когда впоследствии часть нашего полка расположена была в этой крепости, то старинный плац-адъютант, майор Музыченко, помнивший выsidку нашего командира, рассказывал нам историю его бегства из Австрии. Впоследствии этот австрийский выходец женился на московской купчихе, с которой разошелся очень скоро; и это обстоятельство давало повод командиру корпуса, генералу Веревкину, большому цинику и балагуру, в присутствии многих офицеров, трунить над нашим командиром, — над его сочетанием австрийского с нижегородским. Как командир полка это был хороший хозяин, но плохой командир. И все же он был на хорошем счету у начальства, которому нравилось его хозяйство, покорность характера и то, что он... плохо говорит по-русски: почему-то иностранцев особенно ценили в армии при Александре II. Говорили даже, что наш командир нарочно коверкает свою русскую речь, зная, что это, будто, нравится на верхах.

Командир полка назначил меня с полуротой в отдел, в деревню Ельницы, где мы разместились по деревенским избам. Постройка казарм тогда была еще в зачаточном состоянии. Это было время после Турецкой войны, закончившейся Берлинским трактатом и горьким разочарованием русского общественного мнения, обманутого в своих ожиданиях. Нарождалась новая военно-политическая обстановка, и армия наша сосредоточивалась почти целиком на западной границе, преимущественно на германской.

Таким образом, и я очутился с полуротой в деревне на манер самостоятельного начальника, — так сказать, комендантом деревни Ельницы. Конечно, наезжало и начальство в мою деревню: ротный командир, поручик Высотский, славный и симпатичный товарищ-начальник, любимый солдатами, приезде которого я был всегда рад. Этого нельзя было сказать про батальонного командира, полковника Гжеляховского; чтобы отвести его от частых при-

ездов в мою епархию, ротный командир посоветовал мне перекопать проселок, который вел из штаба полка в мою деревню. Я так и сделал. Наш «Гжеля», со своей рессорной таратайкой, которой дорожил пуше глаза, провалился с треском в канаву и... перестал ездить в Ельницу.

Расположение рот в некоторых деревнях имело иногда характер экзекуции в наказание жителей, числившихся униатами и желавших остаться верными унии. Такой, отчасти, характер имело расположение моей полуроты в Ельницах. Униатский вопрос тогда свирепствовал в особенности в Седлецкой губернии, но я по молодости лет тогда мало интересовался подобными вопросами.

Как известно, чтобы отличиться перед Победоносцевым и Александром III, седлецкий помпадур (забыл его фамилию) учинил настоящий подлог: при помощи начальников уездов, равнозначащих исправникам, сочинено было от имени униат, с фальшивыми подписями, всеподданнейшее прошение об отречении от унии, о желании присоединиться к православию, и просьба о присылке православных священников.

Под влиянием Победоносцева, наверное понимавшего эту хитрую махинацию, Александр III принял все это за чистую монету. Последовали высочайшие указы; униатские церкви были объявлены православными; упорствовавшие униатские священники были сосланы в Сибирь, и на их место понаслали православных священников из России, — часто недостойных, не соответствовавших своему назначению, хотя и наделенных большими окладами и привилегиями\*.

Положение получилось скандальное: на бумаге официально имелись многочисленные православные прихо-

---

\* Многие из них подвержены были пьянству и картам: сам видел, как один из наших офицеров, во время всенощной, как всегда в пустой церкви, издали поманил священника колодой карт, и тот наскоро окончил службу и прибежал в наше собрание, чтобы играть в карты. Были, конечно, и счастливые исключения.

ды с церквями и священниками, — был даже назначен епархиальный архиерей, а на деле все это была чистейшая мистификация и обман: бывшие униатские церкви стояли закрытыми, православных священников жители к себе не пускали, а все требы исполняли либо скрывавшиеся униатские священники, либо вовсе не исполнялись.

Все это я понемногу разглядел лишь впоследствии. В данное же время, осенью 1881 г., я ничего этого не видел, а знал только одно, что униаты «бунтуют».

Вот, однажды, еду в штаб полка, как водится на экзекуционной паре. Возница мой, конечно, обращенный униат, парень лет 30, сидя полуоборотом на облучке, поддерживает со мною беседу. Я вздумал просветить и наставить его.

— Знаешь ли ты, что такое Уния? Ведь не ляхи вы, а русские, испокон веков. Ваши прадеды были всегда православные. Ведь это поляки придумали для вас унию для своего папы, чтобы легче было обратить вас в поляков, и т. д., и т. д., — разливался я в элоквенции, блистая своей эрудицией по истории Иловайского.

Возница мой слушал, слушал, потому ответил мне такое, что, очевидно, исходило не от его ума, а было, по-видимому, тогда ходячей истиной среди униатов.

— Да, — говорит, — поляки сотни лет старались сделать нас поляками, да не смогли. А вот русские со своим губернатором очень скоро и легко сделали нас теперь поляками. Как я могу ходить вот в эту вашу церковь, — мимо которой мы в эту минуту проезжали, — когда стражники ваши нас туда загоняли нагайками?\*

---

\* Этот достоверный факт заключался в следующем. Предстоял объезд архиереем своей епархии, в которой числились тысячи прихожан. Встреча назначена была в упомянутой церкви, мимо которой мы проезжали. Сопровождал архиерея, как полагается, начальник уезда, который, однако, хорошо знал, что церковь будет пуста, что для встречи архиерея прихожан не будет; поэтому он выслал заранее десять стражников, чтобы пригнать отовсюду прихожан. Этот начальник уезда был впоследствии удален от должности; да и губернатор, кажется, был удален, когда Александру III открылась вся эта фальсификация.

Я не нашелся, что ответить на эту жизненную аргументацию.

Обычная моя жизнь в деревне, вне служебных занятий, была, конечно, убийственно скучна. В первое время я не находил себе места от скуки и безделия. Обстановка жизни была действительно очень неприглядна. Улица деревни представляла собою поток невылазной грязи; дворы тонули в грязи; избы все с земляными полами и густо населены детворой, домашней птицей и насекомыми всякого рода, а иногда и телятами (дело было зимою). Квартирой мне служила холодная маленькая каморка, — вернее чулан, — в которой до меня хранили бочки с кислой капустой; поэтому воздух был чудовищный; а за перегородкой — хозяева с детворой, домашней птицей, насекомыми и прочим. Некуда уйти, разве в пустынную невылазную грязь наружу; либо — сиди среди удручающей обстановки в капустном чулане.

8–10 часов в день проводил я на занятиях с нижними чинами в «сборне» — небольшой избе, отведенной для занятий, где теснилось 40–50 человек; поэтому атмосфера получалась такая, что хоть десять топоров повесить можно было.

Все же оставался некоторый досуг, который надо было чем-нибудь заполнить. Чем? Придумал следующее. Польские крестьянские девушки страстные любительницы танцев. Вот я и стал устраивать танцевальные вечера. Ставил бутылку водки двум деревенским музыкантам, и они скликали парней и девчат на бал: какая картошку чистила, кто глину месил, все босиком, как есть, бегут в мою сборню, служившую танцевальной залой, и начиналось шарканье «мазура» по земляному полу. В особенности хорош был один кавалер, — батрак, незадолго перед тем окончивший военную службу. Высокий ростом, в холщовых портках, в опорках на босу ногу и рваной сермяжке на одном плече, он лихо вел всегда свою дебелую даму с подоткнутой выше колен юбкой, в первой паре, гулко постуки-

вая опорками по окаменелому полу, горделиво озираясь по сторонам и подпевая «пия Куба до Якуба»...

После часу танцев получалась хорошо знакомая мне атмосфера, как во время занятий с солдатами, когда можно топоры подвешивать. Тогда кликнешь «баста»; дамы и кавалеры вон, раскрываешь окошечко на всю ночь и status quo ante\* восстановлен.

Скоро, однако, эта забава приелась, и я вспомнил о мечтах и перспективах. Поехал я тогда в штаб посмотреть, какие учебники имеются в полковой библиотеке для подготовки к экзаменам в академию. Оказалось, что имеется одна грусть: полк недавно прибыл с театра войны и только начинал жить и устраиваться на новом месте\*\*. Естественно, что и библиотека была в хаотическом состоянии. По закону полковая библиотека обязана была в первую очередь иметь все учебники, требуемые для подготовки в военные академии, и я не сомневался, что если бы я сделал официальное заявление, то наверное выписали бы требуемые учебники; но я свои намерения об академии таил чуть ли не от самого себя: где же мне — еще портупей-юнкеру — заявлять о таких дерзновенных намерениях, как поступить в академию; по меньшей мере я бы стал предметом для подтрунивания со стороны товарищей.

Кой-какие книжонки я все-таки нашел и засел с ними в моей проквашенной конуре.

Осенью 1881 г. выделены были из полка 3-й и 4-й батальоны и направлены для расположения в крепости Брест-Литовск. Меня послали квартирмейстером для принятия казарм и квартир для офицеров.

Обстоятельство это имело для меня некоторые последствия. Дело в том, что после распределения всех офицерских квартир осталась одна комната в коридоре семейных

---

\* Положение, которое было прежде (лат.). (Прим. ред.)

\*\* До войны полк стоял в Калуге, где оставлена была библиотека и прочее имущество.

артиллерийских офицеров, на которую не было охотников. Пришлось в этой комнате поселить наимладших членов нашей офицерской семьи — двух портупей-юнкеров, т. е. меня и фон Зельмана. Наша комната стала скоро своего рода коммуной и местом *rendez-vous* для наших офицеров обоих батальонов: дежурный ли по эшелону, т. е. по обоим батальонам, дежурный ли по караулам, пришел ли кто с форта — все, когда некуда деваться — брели к портупей-юнкерам, где, помимо всего, текла жизнь холостяцкая, беззаботная и веселая: я на скрипке, фон Зельман на гармошке; группируется сейчас же хоровое пение, на столе появляется выпивка и закуска, денщики хлопают то дверьми, то пробками из бутылок; то и другое раздается гулким резонансом в бесконечных коридорах казематов цитадели и, видимо, очень тяготит семейных артиллерийских офицеров, среди которых, совсем не ко двору, затесалась пара буйной молодежи чужой части.

Эта чаша оказалась переполненной в день нашего генерального праздника, по случаю производства в офицеры.

Случилось это вот как. 1 января 1882 г. я и фон Зельман были произведены в офицеры. Согласно традиционному обычаю, мы должны были отпраздновать вступление в офицерскую среду подобающей пирушкой, на которую приглашены были все офицеры обоих батальонов. Уже за несколько дней до нашего праздника шли оживленные приготовления, выразившиеся в непрерывной суете и беготне с полдюжины пришлых денщиков, призванных на помощь нашим камчадалам. То и дело какие-нибудь два приبلудших денщика с переносимым большущим столом, заимствованным из ротной школы, натываются в коридоре на артиллерийскую барыню и выбивают у нее из рук миску горячего супа, с которой она спешила из дверей кухни в свою комнату; и, конечно, скандал; то вдруг шустрый «камчадал» врывается в чужую кухню с корзиной бутылок и по дороге опрокидывает сковородку с котлетами; а тут еще

наша пехотная собака накинулась на артиллерийскую собаку. Словом, громоздились скандалы и накапливались против нас неудовольствия артиллерийских офицеров.

Наступил, наконец, вечер праздника. Сначала все шло чинно — пока полны были бутылки. Чинно пили, чинно закусывали. Но по мере того, как пустели бутылки и наполнялись гости, равновесие заколебалось; настроение повышалось, беседа оживлялась; еще немного, и уровень выпитого поднимался все выше; во всех головах уже клубились густые пары. Шумные разговоры и споры о службе и всяких пристойных материях постепенно затихали, уступая место обычной прелюдии: «Не споем ли что-нибудь?» Сейчас же сцену оркестр именинников, — моя скрипка и Зельмана гармошка...

И пошло, и пошло. За хоровым пением — трепак; тосты смешиваются с пением в розницу, — т. е. кто во что горазд. Все это под аккомпанемент хлопанья пробок и суетливой беготни толпы денщиков из кухни в пирушечную и обратно. Двери нашей кухни, где идет «продукция», — кипит лабораторная работа по части выпивок и закусок, и двери пирушечной, где кипит и клокочет буйный спор и певческая разноголосица до надрыва, — уже раскрыты настежь, чтобы облегчить непрерывную связь. Семейный коридор наполнен до насыщения звонким шумом смешанных голосов и звуков, раздающихся гулким резонансом во всю длину коридора.

Среди хаоса полупьяного пения, из вороха надрывающихся разговоров и споров вырывается вдруг из пирушечной комнаты командир 12-й роты, поручик Заварзин, который давно уже дошел до высокого градуса, и в очень возбужденном состоянии рвется вперед бить стекла в квартире полковника Гжеляховского. Я успел схватить его сзади, но он рванулся от меня так, что разорвал пополам свой мундир до воротника. Картина получилась скандальная: но пьяному Заварзину она показалась очень фасонистой:



завернув обе половинки мундира сзади наперед, он пустился в присядку...

Словом, в этот вечер было дело под Полтавой. Завершилось это дело на другой день подачей коллективного заявления семейных артиллерийских офицеров о невозможности сожительства в одном коридоре с холостыми москвцами. Приказал комендант выселить из семейного коридора меня с Зельманом, учинив развод скрипачу с гармошкой, и сослать меня в помещение над Николаевскими воротами, а Зельмана перевели в какой-то форт.

Моей новой резиденцией служило давно забытое огромное помещение в цитадели, пустовавшее с незапамятных времен: там когда-то был не то склад, не то квартира старинного комиссариата (прежнее интендантство), потому что полы были с остатками паркетов, но... с порядочными ямами, в которых днем и ночью возились большие крысы, помнившие еще прежние интендантские харчи в этом помещении. Эта моя квартира состояла из двух огромных, совершенно пустынных казематов, вроде зал или сараев, с нависшими сводами и небольшими окнами в глубоких амбразурах.

Денщик принес мою обстановку — складную койку, которая скрылась во мраке в одном углу, и чемодан, который юркнул в амбразуру; и... опять кругом пустынно, мрачно, затхло, пусто и жутко. Даже с денщиком жутко разговаривать, потому что резонанс такой, что собственный голос точно гром гремит; а если еще внизу через ворота проезжает повозка, то в моих залах это отражается, как артиллерийская канонада\*.

---

\* Каково же было мое удивление, когда несколько лет спустя, во время пребывания Александра III в Брест-Литовской крепости, я читаю в газетах, что приехавшему в крепость приветствовать Александра III принцу Генриху Прусскому отведено было помещение... «апартаменты» над Николаевскими воротами, т. е. моя печальная резиденция, паче чаяния она расположена вблизи и насупротив комендантского дома, где пребывал государь. Конечно, место моей ссылки было наверное основательно отремонтировано и изукрашено.

Через несколько дней из штаба полка приехал командир полка и обходил помещения офицеров и нижних чинов. Зайдя в мою резиденцию, командир разразился раскатистым смехом.

— Ну, ви может делайт у себя развод с церемонией!

Конечно, жить в этом помещении немислимо было. Я приходил только спать, проводя все время, свободное от служебных занятий, в военном собрании за книгами, газетами и бильярдом — моей единственной страстью.

Больше трех месяцев бедствовал я в моих чудовищных апартаментах; а потом... попал в условия еще более худшие: нашу 15-ю роту перевели в сводчатую казарму под крепостным валганом, т. е. своды и стены с трех сторон под землей; мне пришлось поселиться в такой казарме, в которой была обильнейшая сырость, — прямо струилась вода со сводов и по стенам настолько, что кровать приходилось ставить посредине каземата; и все же обильные капли падали со сводов на кровать. Как это я не вынес из этого каземата пожизненного ревматизма, прямо непостижимо.

Но что значат все эти жизненные передрыги по сравнению с совершившимся производством в офицеры, — когда офицерские эполеты еще сверкают своим девственным блеском и прелестями особого рода, — двойными, шитыми золотом петлицами и золотыми пуговицами с короной, что не все полки имели; наконец — самое главное: что все эти невзгоды по сравнению с занявшейся зарей новой жизни, со всеми ее заманчивыми перспективами! Тут не маршальский жезл, допускаемый даже в солдатском ранце, а подымай выше! Да есть ли предел фантастическим грезам, куда юного прапорщики уносит его душевное ликование в первые дни, когда он оденет офицерские эполеты? Что, по сравнению с весенним трепетом души, все эти преходящие неудобства житейские! Их и не видишь, и не замечаешь. Светло, радостно и даже сухо в мрачном и сыром каземате; ба-

лагуришь с денщиком, смакуя непривычное еще для уха его обращение на «Ваше Благородие».

При таком выпретенном настроении мои книжные занятия были временно парализованы. Все затаенные мечты про академию, все мои благие размышления о самообразовании, о серьезном чтении, постепенно затуманились, отошли куда-то вдаль, и я окунулся в обыденную пустоту холостяцкой офицерской жизни в нашем маленьком гарнизоне.

Увы! Эта жизнь была убийственна своим однообразием и по внешнему виду, и по внутреннему содержанию. Достаточно сказать, что речь идет о жизни в крепости. Окружающий мир заперт со всех сторон крепостными стенами, валами, рвами; только и видишь солдат, пушку, казарму; ведь никаким посторонним элементам нет доступа в крепость. Есть очень убогий чахлый садик, окружающий собор; в этом садике гуляют, т. е. кружатся взад и вперед, крепостные дамы и барышни под зорким глазастым обстрелом группы офицеров, засевших в «брехаловке» (угол сада) и подвергающих мимо проходящих дам и барышень тончайшим критическим анализам по всем статьям. В другой раз роли меняются, и с брехаловки раздается дразнящий дамский смех, пересыпанный заигрывающими словечками и манящими глазками по адресу прогуливающихся мимо офицеров.

Раз-другой в неделю или в месяц те же дамы и те же офицеры встречаются на танцевальном вечере в крепостном собрании. Затем... опять все те же, и все то же: везде и всюду все одни и те же лица, одни и те же сплетни и пересуды. Вот это-то однообразие делает крепостную жизнь прямо тошнотворной. Конечно, офицерская молодежь предпочитает проводить время в своем холостяцком кругу — преимущественно за выпивкой и картами, соблюдая приличие; но бывало, что некоторые доходили до крайности. Завелась такая компания в одной комнате, где каждый ве-

чер допивались как следует и практиковались в стрельбе по освещенному фонарю против окна. Другие пытались спьяна ночью по лестнице, приставленной к стене, забраться через окно в семейную квартиру.

Немало офицеров, как в нашем полку, так и в других полках нашей дивизии, жили открыто, семейным порядком, с содержанками, вывезенными из Болгарии после Турецкой войны. Когда 9-я рота дала по стрельбе плохие результаты, то командир полка при всех на стрельбище говорит ротному командиру:

— Гофору вам, капитан Туров, прогоняйт Александринку (содержанку); рота будет тогда стрелайт карашо...

Особенно отличались вольностью нравов артиллерийские офицеры, которых называли тогда военными нигилистами, по своей кудрявой шевелюре, небрежности в костюме и неразборчивости в семейной жизни. Вот для иллюстрации два факта, которые не стыдно вспомнить, благо это относится к отдаленному прошлому.

Один из молодых офицеров расположенной в одном с нами городе артиллерийской бригады женился на самой низкопробной гулящей девице. Когда остальные дамы не хотели допустить ее в офицерское собрание, то эта прохудившая, вновь испеченная офицерская дама поехала в Петербург к самому генерал-фельдцейхмейстеру, великому князю Михаилу Николаевичу с жалобой на интриги офицерских жен. Да так сумела заинтересовать и растрогать великого князя трагизмом своего положения — а заодно обобратить и понадуть многих патронесс высшего питерского бомонда — что долгие месяцы эта особа была героиней дня в больших салонах, пока не раскусили, что это за дамочка.

Впрочем, что говорить про молодого офицера, женившегося спьяна. Вот сам генерал, командир этой бригады, к которому я попал ординарцем во время маневров. На биваке, в припадке откровенности, он рассказал мне исто-

рию своей женитьбы, когда он еще был батарейным командиром, в том самом городишке, где мы стояли биваком:

— Пришел я в этот Б. со своей батареей, и повадился мы все в этот ресторанчик, где за буфетом торговала красивая буфетчица. И вот, ко всем моим офицерам идет она на ночь в палатку, а ко мне не хочет... Пстой же, сказал я себе, такая-сякая, — пойдешь и ко мне; взял, да женился на ней...

Наиболее сдержанные офицеры проводили время за игрой в преферанс, которая тоже заканчивалась выпивкой, хотя бы скромной. Я как-то инстинктивно боялся выпивки и карт. Это обстоятельство меня спасло, предохранило от возможности завязнуть в тине маленького гарнизона. Я быстро очухался от тлетворной пустоты окружающей жизни. За невозможностью отдаться книжным занятиям у себя дома, ввиду удручающей обстановки, при совместной жизни с крысами в комиссаритской руине или в каземате под земляным валом, я погрузился в чтение в библиотеке гарнизонного собрания; а большую часть досуга проводил в роте, где задался целью применить вынесенные из училища познания по педагогике и заняться обучением грамоте нижних чинов. Это тем более было уместно, что мне были поручены занятия с ротной школой, где грамоте обучались только 8 нижних чинов. Вот я и предложил ротному командиру заняться неграмотными *всей* роты. Ротный командир не только согласился, но и удивился моему рвению, необычному со стороны субалтерна, которые обыкновенно отваливали от всякой работы, считались неспособными на первых порах для каких-нибудь самостоятельных ответственных занятий в роте, а потому еле терпимы были ротными командирами.

Надо и то сказать, что мой ротный не был врагом грамотности, и за то спасибо, потому что были и такие; поэтому он отнесся сочувственно к моей затее и пошел навстречу небольшим расходам, сопряженным с обучением гра-

мотности всей роты. Я с увлечением отдался моей работе, поощряемый неменьшим усердием и рвением со стороны моих учеников-солдат. Надо видеть и постигнуть, с каким горячим влечением наш простолюдин рвется к познанию грамотности, какое блаженство светится у него на лице, когда он осилил две-три печатных строки и понял, что там сказано. Счастлив был и я; доволен был и ротный командир, видя скорые и блестящие результаты моих занятий.

И вдруг, гром с чистого неба! Полковой командир обходит казармы непосредственно после окончания вечерних занятий и застаёт нашу 15-ю роту, не в пример прочим, сидящей за столами с грифельными досками в руках, а меня ораторствующим у классной доски.

— Ну, это у вас что делается?

Ротный командир докладывает.

— Не смей этого делать и убрать вон все книжки. Вы мне такие дела понаделаете, что военный министр по головке не погладит.

Как известно, с воцарением Александра III у нас из всех щелей подуло реакцией. В противоположность либерализму предшествовавшего военного министра, графа Милютина, новый министр, генерал Ванновский, далеко не был сторонником развития грамотности в войсках, как родоначальницы всякого вольнодумства. И вот, многие войсковые начальники, привыкшие держать нос по веру, в том числе, конечно, и наш командир, забежали уже вперед, чтобы приладиться к новым веяниям.

Я был сильно обескуражен этим запретом продолжать облюбованные занятия. Волей-неволей я опять был унесен общим течением игривой, но бессодержательной офицерской жизни.

Удивительно, до чего общий строй нашей офицерской жизни и даже службы налажен был так, что поощрялись только праздность, безделье, даже пьянство; а всякая склонность к серьезному отношению к жизни и службе, в

лучшем случае, высмеивалась товарищами, а в худшем — привлекала подозрительное внимание начальства. Сколько мне пришлось вынести подтруниваний и зубоскальства за то, что я готовился в академию!

Точно нарочно меня одно время поселили вместе с поручиком Гусевым, горчайшим пьяницей, хорошо сознавая, что между моими книжными занятиями и домашним пьянством в одиночку моего сожителя — мало общего. Помещение наше состояло из комнаты с дощатой перегородкой, за которой стояли наши кровати. И вот, каждый вечер повторялась одна и та же история: сидит мой «Гусь» за столом, под которым стоит четверть водки; перелистывает иллюстрированную «Ниву», мурлыча про себя романс «И думаю, ангел, какую ценою», и поминутно тянет из бутылки, пока совсем опьянеет. Тогда начинается сложный поход в спальню, связанный с очень трудным маневрированием проникнуть через узкую дверь перегородки. Еле держась на ногах, Гусев старательно нацеливается в дверное отверстие, но... попадает на косяк, отшатывается назад, обнимает для сохранения равновесия чугунную печку, снова нацеливается и... попадает на второй косяк. Наконец, с помощью денщиков, благополучно водворен, раздел и уложен.

И так — изо дня в день, каждый вечер, месяцы нашего нерадостного сожительства, пока однажды ночью я проснулся от охватившего меня пронзительного холода (был февраль). Смотрю — кровать моего сожителя пуста. Окно раскрыто настежь, даже внутреннее окно раскрыто. Гусев в костюме Адама сидит на подоконнике второго этажа, свесив наружу ноги и, как ни в чем не бывало, курит. Позвал я денщиков, и не без труда, конечно, уложили мы Гусева в постель, закрыли окна. Меня, однако, встревожило возбужденное состояние товарища, и я послал за доктором. Оказалось, что мой приятель допился до белой горячки. Пришлось свезти его в госпиталь, где он недели через две от белой горячки умер.

Мои занятия по подготовке в академию было уже трудно и незачем скрывать, потому что праздным товарищам приелось уже подтрунивать над «академией»; напротив, — кто не без уважения, а кто и с затаенной завистью стали относиться к моим серьезным занятиям. А для полковых барышень стало предметом спорта завлечь меня в танцы, ухаживание, игру в крокет и т. п., так как я стал сторониться от всего этого, отчасти дорожа временем, отчасти потому, что ушел в книгу.

Из уважения к моим книжным занятиям меня выбрали заведующим полковой библиотекой, а начальство навязало мне обязательно сделать сообщение в общем собрании офицеров на присланную из штаба дивизии тему — «Характеристика современного боя пехоты». Не знаю почему, но сообщение мое произвело фурор и упрочило за мною репутацию ученого и начитанного. Мои славные товарищи были до такой степени восхищены моим сообщением, что по окончании доклада, когда из собрания ушло высшее начальство, вздумали качать меня на «ура» на деревянных подмостках, сооруженных тогда для готовившегося любительского спектакля. Не довольствуясь этим, целая делегация офицеров отправилась на квартиру начальника штаба дивизии, полковника Разгонова, с ходатайством послать мое сообщение для напечатания в «Военном Сборнике»; они были уверены в том, что напечатанное сообщение прославит наш родной полк.

Упоминаю обо всем этом лишь для того, чтобы показать, насколько необыденным явлением было тогда среди офицерской молодежи сколько-нибудь серьезное книжное занятие, потому что сообщение, рукопись которого сохранилась у меня по сие время, несколько не заслуживало восторгов товарищей.

К этому времени относится первая моя попытка в области литературы, по следующему поводу. Готовился к постановке в полковом собрании любительский спектакль,



и, как водится, перессорились любители, расколотись на две партии. В одной партии, к которой принадлежал я — не как участник, а просто по симпатии — оказались две дамы и двое мужчин. Нужно было добыть пьесу, в которой были бы две роли дамских и две мужских, ни больше, ни меньше, и поставить этот спектакль четырех, чтобы утереть нос противникам. Искал я, искал, и ничего не находил. Тогда я перевел с немецкого пьесу Шиллера «Der Neffe als Onkel», где как раз имелся тот состав действующих лиц, который нужен был. Пьесу поставили и нос утерли.

Мое заведывание библиотекой оказалось чреватое некоторыми обстоятельствами, которые могли иметь весьма печальные для меня последствия. Дело в том, что в это время, летом 1882 г., последовал знаменитый мракобесный циркуляр министра Толстого об изъятии из обращения «Отечественных Записок», «Дела» и многих других книг, по особому списку, признанных зловредными. Исполнение этого циркуляра грозило опустошением нашей полковой библиотеки, весьма богатой, существовавшей свыше ста лет\*. Но ничего не поделаешь. Объявленный к исполнению циркуляр Толстого надо было исполнить. Я отбирал запрещенные книги и журналы, готовясь изъять их из обращения и запереть в особые шкафы, под замком и печатями.

Вдруг, однажды меня требуют к командиру полка. Надел я шашку и явился перед серые очи начальства. Нахожу настоящее заседание из трех командиров полков: кроме нашего тут был командир Тарутинского полка полковник Минут и командир Бородинского полка полковник Кузьяевский. Мне задают вопрос, как я исполнил циркуляр об изъятии книг. Я докладываю, что книги *изъяты из обращения*, согласно циркуляру; никому не выдаются для чтения, заперты и запечатаны в особых шкафах.

---

\* Библиотека наша к этому времени из Калуги прибыла.

Из обмена мнений и реплик между командирами узнаю, что у них возник такой вопрос: не следует ли понимать слово *изъять*, как *изъять из существования*, т. е., истребить, уничтожить? С этой целью оба командира приехали к нашему Фишеру, как к щедринской тетушке, посоветоваться, как быть.

Наш немец, чуждый тонкостей русского языка, впервые услышал, что слову «изъять» можно придать еще такое толкование как уничтожить, и решил, конечно, что лучше переусердствовать, чем наоборот.

Решили все три командира: вредные книги *уничтожить*, т. е. сжечь.

Поздно вечером я прочел в приказе по полку: «Во исполнение... и прочее, предписывается под наблюдением командира 3-го батальона подполковника Бочарова упомянутые книги отобрать и уничтожить».

Бочарову недаром поручена была эта миссия: это был мой политический противник. Как только сойдемся в собрании, мы сейчас же ввязывались в спор — всегда, впрочем, мирный и дружественный, почтительный с моей стороны, как со старшим и начальником — по вопросам нашей внутренней политики. Я был либералом и поклонником «Голоса» и его преемника «Новостей», а Бочаров — ретроград и ярый поклонник «Московских Ведомостей» Каткова. Вот почему его и назначили верховным цензором для уничтожения ненавистных ему книг, — хотя в книги он, вообще, редко заглядывал, а читал только «Русь» Аксакова и «Московские Ведомости» Каткова, которым верил на слово.

Стал Бочаров отбирать со мною запрещенные книги, которые решено было уничтожить, т. е. сжечь в полковой бане. Попадается ему под руки Шелгунов, — он начинает с ожесточением швырять книгу из угла в угол. Попался ему в руки Писарев, и — точно бык красное увидел, даже закричал: «Вот откуда все зло пошло», и стал швырять книгу. И тут же, вкрадчиво, говорит мне: «Я уж, пожалуй, эту

книжицу возьму себе. Никому ее читать не дам. Зачем ее жечь; уж больно переплет хорош».

Таким образом, Бочаров урвал из аутодафе с десятков ядовитых книг; и я столько же, да и другие выпросили себе под сурдинку облюбованных авторов из числа обреченных. Все же для сжигания набралось много ящиков, нагруженных книгами, которые подлежало изъять из обращения, а по дикому толкованию не по разуму усердствовавших командиров — уничтожить и сжечь.

Мне до последней минуты не верилось, что это несуразное толкование будет действительно приведено в исполнение. Однако Бочаров распорядился грузить эти ящики и везти в полковую баню. Я прибег к крайнему средству и в общем собрании офицеров заявил, что Ефим Григорьевич взял на себя роль средневекового палача, будет производить аутодафе библиотечных книг. Это не помогло; и целую неделю сжигались в банной печке изъятые книги под наблюдением Бочарова. А за конфуз, нанесенный ему мною в общем собрании офицеров, он подал рапорт по начальству, что меня нельзя аттестовать в академию, — как поклонника запрещенных книг. К счастью, рапорт не имел для меня серьезных последствий, так как командир полка давно уже знал мои политические разногласия с Бочаровым.

Летом 1883 г. полк наш, в числе многих других полков, был командирован для охраны железнодорожного пути, по которому предстоял проезд Александра III в Скерневицы. Это была первая большая поездка Александра III после его воцарения. Впервые была установлена охрана многочисленными войсками на всем протяжении пути, по которому предстоял проезд царя. Впоследствии была выработана особая «Инструкция для охраны поездов особой важности», которая хранилась в нескораемом шкафу вместе с мобилизационными делами, под охраной печатей и особого часового, днем и ночью.

В сущности конфузливо вспомнить, что проезд государя по его собственной стране, среди «любезного и верноподданного» народа, возможен был не иначе как под охраной нащетинившихся штыков. Много тут зависело, конечно, от террора революционеров; но и немало тут было напущено частью полицейскими охранниками, в интересах которых было преувеличивать опасность, частью — порядочной-таки робостью Александра III, который не доверял даже коменданту своего поезда. Припоминаю факт такого рода: пришел царский поезд на станцию Зеленец; начальник дивизии, генерал Кузьмин, хотел, обязан был, представиться государю и спросил коменданта поезда, в каком поезде находится государь, и тот ответил, что положительно не знает, так как государь скрытно от всех переходит из одного поезда в другой\*.

Какую пертурбацию в движению поездов, вообще, производил царский поезд, трудно себе представить. Но курьезнее всего то, что даже во все время пребывания царя в Скерневицах и Беловежской пуце, до возвращения в Петербург, что длилось, помнится, месяц-полтора, войска все это время оставались на охране, продолжая соблюдать все строгости в отношении местных жителей, парализовавшие сообщение между придорожными пунктами, нанося крайний ущерб занятиям войск, потому что это было летом, время лагерных сборов, и, наконец, это действовало деморализующим образом на войска и железнодорожных служащих. Почему-то войскам предоставлено было право останавливать поезда на ходу; и вот часто от скуки или для форсу унтер-офицер махнет платком машинисту проходящего поезда — «стой», и поезд останавливается и задерживается в поле неведомо зачем. От скуки и безделья многие офицеры предавались пьянству и картежной игре.

---

\* Для лучшей маскировки шли два поезда совершенно тождественных по составу и по наружному виду, в расстоянии 3–5 верст один от другого.

А сколько войсковая охрана пожирала денег! Даже солдаты получали усиленное продовольствие и особые суточные деньги. А главное — достигалась ли основная цель этой охраны? Очень сомнительно: войска неподвижно охраняли самый путь — точно неприятель вот-вот двинется в атаку на рельсы; затем в тылу еще две линии охранных жандармов и полицейских. И все-таки всем нам было очевидно, что на лесистых участках злоумышленники всегда могли учинить подкоп.

Наконец, впервые видели войска вблизи, что вообще представляет собою царская поездка. Задолго до проезда царя шли каждый день целые поезда, перевозившие из Петербурга без конца полицию, прислугу, мебель, продукты, винные погреба; целые поезда с экипажами, поезда с лошадьми, верховыми и упряжными.

А говорили еще, что Александр III ввел экономию и значительно сократил пышность придворной жизни! Что же делалось при других царях?

Летом 1884 г. я официально заявил о желании держать экзамен в Академию Генерального штаба. Согласно закону я был освобожден от служебных занятий и взялся круто за книги.

Командир полка отпустил меня в Варшаву на предварительный экзамен с таким напутствием: «Ну, фи там наферно профалитесь, и приедешь насад ходит на фланг равнения или скакайт перед батальоном». Товарищи тоже скептически относились к моей подготовке. И это понятно, потому что за 200 лет существования полка не было попытки дерзнуть в академию. Сам я тоже мало верил в успех моего начинания.

Однако, к моему немалому удивлению, предварительный экзамен в штабе Варшавского военного округа я выдержал *первым* из 35–40 экзаменовавшихся, несмотря на то, что я один только был из юнкерского училища, а все прочие были не только из военных училищ, но были среди них даже и академики, кончившие академии юридическую,

артиллерийскую, инженерную. После такого неожиданного успеха я возвратился в полк, впредь от отправления в Петербург, окрыленный не только надеждой на конечный успех, но до некоторой степени разочарованный тем, что задача не оказалась такой героической, как я ожидал. Отчасти ввиду этой народившейся самоуверенности в моей подготовке, отчасти упоенный пожинанием лавров в родном полку после блестящего успеха в Варшаве, я забыл про книги, — забыл, что до окончания экзаменов надо непрерывно освежать подготовку.

Наступили проводы и время прощания с полком. Даже Фелицата Мамонтовна, жена Бочарова, моего традиционного политического антагониста, испекла мне пирог на дорогу. Право, едва ли в какой бы то ни было другой армии существует такая тесная родственная сплоченность, как в нашей армии. Вспомните хотя бы образцовую германскую армию, быт которой обрисован Бильзе, «В маленьком гарнизоне», или Бейерлейном, «Седан или Иена»...

Экзамены в Петербурге я выдержал без такого блеска, как в Варшаве, но все же попал в число отборных 70, которые в текущем году могли быть приняты в академию. Чтобы судить, какое исключительное отсеивание производилось в том году при приеме в академию, достаточно сказать, что явилось к экзамену 415; выдержали экзамен 387; из них отобрано было 70, и из этих 70 окончили впоследствии академию по первому разряду и переведены в Генеральный штаб только 18. Впоследствии отказались от этого порядка: стали принимать в академию по возможности всех выдержавших экзамен, и только в Генеральный штаб переводили по мере надобности.

Итак, в августе 1885 г. я поступил в академию; исполнилась моя заветнейшая мечта. Я сподобился увидеть воочию Драгомирова и Леера... Насколько велико было обаяние этих драгилей нашей военной науки среди армейских офицеров — среди тех, по крайней мере, которые не

были поглощены только танцами, картами и выпивкой, — можно судить по тому, что при последнем моем прощании с полком, во время проводов, мой сожитель Чижевский, чудный и просвещенный товарищ, крикнул мне: «Приложись за меня к полам сюртука Драгомирова и Леера».

Конечно, я очутился точно на седьмом небе, когда убедился, что зачислен в академию. Возвращая в полк казенные книги, я приобщил ворох закусок и выпивки для товарищей и остался в столице аки наг, аки благ; так что целую неделю питался радостью бытия и с трудом нашел комнату, где пустили меня, не требуя задатка.

Все же я был на вершине блаженства. Не только пред лицом Драгомирова и Леера, но и в стены академии вступил я с трепетом душевным и с большим рвением погрузился в лекции и книги. Столичная жизнь со всем калейдоскопом ее развлечений и удовольствий проходила далеко мимо меня: редко-редко удавалось побывать в театре; все время было поглощено лекциями в академии с утра до четырех часов дня; а вечером, до поздней ночи, занятия дома. Я немало удивлялся, видя знакомых студентов высших учебных заведений, предававшихся сплошному безделью целыми годами, изредка лишь посещая свои лекции. В нашей академии это было невозможно, потому что контроль за посещением лекций был очень строгий; да и сами офицеры-слушатели строго относились к своим занятиям.

Несмотря на принадлежность к разным родам оружия, офицеры в академии объединены были общей товарищеской солидарностью, и только незаметно и поверхностно группировались кружками, преимущественно по округам. В гвардейской группе заметны были Поливанов — тем, что это был среди нас единственный капитан, и Теляковский, умевший изображать игру военного оркестра с турецким барабаном при помощи постукивания кулаков по стеклам и рамам аудиторских окон, и по собственным надутым щекам, прищелкиванием языка и пр. Кто бы подумал тог-

да, что этот талант Теляковского послужит ему предвестником для руководства музыкальным и театральным делом в России.

Зимой 1886 г. я имел случай оценить просвещенный либерализм Драгомирова. Это было время рождественских праздников. По случаю волнений среди студентов петербургский университет был закрыт. Находясь в гостях у тайного советника Петрова, тогда товарища министра двора, я неосторожно заспорил с молодым Петровым и его товарищем — оба студенты университета, старясь убедить их, что «белоподкладочники» стоят во всех отношениях ниже «бунтарей», которые рискуют даже головой за исповедуемые ими истины. Впоследствии я узнал, что Драгомирову это известно стало во время крещенского парада; но он пропустил это мимо ушей.

А время тогда было очень строгое.

Весьма характерным показался мне и следующий эпизод, который привел меня в контакт с местной полицией. Жила тогда в Петербурге родственница моя, молодая девушка-еврейка, проходившая курс в консерватории. Конечно, ее постоянно тормозили околоточные за проживание в столице без права, все время грозя высылкой. Наконец, зимой 1886 г. полиция окончательно решила выслать консерваторку из Петербурга на родину. Мне хотелось помочь как-нибудь, и я отправился к градоначальнику, которым был тогда фон Валь, известный жидоед. Чтобы подкрепить мое ходатайство, я заявил, что девушка эта моя родственница. Видя перед собою молодого подпоручика в парадной форме, Валь вдруг весело и игриво подмигнул мне одним глазом: понимаем, мол, с какой стороны «молодая жидовочка» приходится родственницей молодому офицеру, и прибавил: пожалуй, пользуйтесь, оставляю вам вашу «родственницу». Я даже не сразу понял игривость этого намека и только после догадался о его заблуждении. Все же я остался доволен исходом моего ходатайства.



Полагаю уместным привести здесь еще один эпизод, который чуть не стоил мне окончания академии. Когда я приехал в Петербург для держания экзамена, я отправился однажды с женой моего брата на музыку в Павловск. Моей *belle soeur*\* захотелось почему-то заговорить со мною на еврейском жаргоне, — хотя она сама, да и вся семья брата, не знали иного языка, как только язык русский. Надо же было, чтобы рядом с нами сидел профессор академии полковник Кублицкий, который, видимо, очень удивился, видя офицера, беседующего с дамой на еврейском жаргоне. Судьбе угодно было, чтобы при окончании академии я для полевой поездки попал как раз к Кублицкому, известному юдофобу. До того времени Кублицкий не имел ни случая, ни возможности вредить мне. Но когда я очутился в его партии, при выпуске из академии он цинично и открыто придрался ко всем моим работам, стараясь всеми мерами преградить мне дорогу в Генеральный штаб. Моим товарищам по группе, Зайончковскому, Короткевичу и другим, хорошо видны были эти придирки, возмущавшие чувство справедливости. Заступником за меня и за поправленную правду выступал всегда Короткевич, с которым я долго жил вместе и который, поэтому, знал меня насквозь, знал всю мою подноготную, мою мораль, психику — все, что хотите; и только благодаря критическому отношению товарищей к пристрастному и придиричивому отношению начальника, который не мог меня знать и только догадывался о моем происхождении, Кублицкий не мог повредить мне настолько, сколько ему это хотелось. Все же, благодаря его усилиям, мне при выпуске из академии не хватило двух сотых балла для первого разряда; но Драгомиров дал мне такую выдающуюся аттестацию, что я был переведен в Генеральный штаб даже раньше моих сверстников по первому разряду.



---

\* Невестка (фр.). (Прим. ред.)

---

## Глава VI

### Жизнь и служба в Генеральном штабе

*Командирование на Кавказ. Скандальный эпизод пребывания Александра III на Кавказе. Быт кавказских войск. Командирование на персидскую границу. Гибельные стоянки войск в Туркмении. Назначение в Забайкалье. Путешествие на лошадях по Сибири. Встреча с каторжными и ссыльными знаменитостями. Езда по «ныркам» и по «веревочке». Общий колорит жизни в Сибири того времени. Путешествие по Сибири с караваном золота. Путешествие на Дальний Восток сплавом и на плотах.*

---

Служба офицера Генерального штаба давно уже прослыла притчей во языцех по своей разнообразности и подвижности. Какие только поручения ни даются этим привилегированным офицерам, и где только им ни приходится побывать по делам службы.

Пришлось и мне, частью по служебным поручениям, иногда по собственным побуждениям или попутно, исколесить из конца в конец всю Сибирь на лошадях *четыре* раза, да по железной дороге два раза; верхом и пешком пробираться по непроходимым тайгам Забайкалья, Приамурья и побережьям Великого океана; переваливать верхом и пешком через высочайшие вершины Памирских и Кашгарских гор; подолгу бродить в безжизненных пустынях туркменских и закаспийских и побывать во многих тущобах Кавказа, участвуя в облавах и поимках местных разбойников.

Также, отчасти благодаря служебным командировкам, удалось мне совершить путешествие кругосветное и вокруг материка Азии, побывать в Индии, Египте, Китае, Японии, Америке, Аравии и почти во всех государствах Западной Европы; во главе особой научной экспедиции мне пришлось исследовать Маньчжурию и первым, на пароходе, бороздить воды р. Сунгари, на пустынном берегу которой многолюдная ороchonская депутация приветствовала меня на том самом месте, которое указано было мною для постройки города, где и стоит теперь город Харбин; побывал в гостях у бухарского эмира, и, в виду гостя духовного, восседал на буддийском «дацане» (монастыре) во время устроенного для меня торжественного богослужения.

Во всех этих путешествиях, поездках и скитаниях я, отчасти по обязанностям службы, отчасти по собственной любознательности, знакомился с местной жизнью новых стран и народов, тщательно заносил в свои записки все достойное внимания. Это-то последнее обстоятельство побуждает меня поделиться с читателями более выдающимися впечатлениями и выводами, которые представляются мне тем более поучительными и интересными, что некоторые страны, в особенности наши окраины, мне пришлось посетить дважды, притом при совершенно изменившейся обстановке. Например, Сибирь, Дальний Восток мне пришлось изучать в их первобытном, так сказать, виде, когда железных дорог там еще не было, когда все сообщения производились на лошадях, когда на один обмен письмами с центрами Европейской России требовалось для Амура иногда около полугода, когда и телеграммы в Петербург путешествовали 15–20 дней; и затем вторично, когда рельсовые пути совершенно изменили внешний колорит и внутреннее содержание жизни наших окраин.

Выводы и заключения напрашиваются сами собою; но прибегать к ним буду лишь при наиболее рельефных слу-

чаях, не желая загромождать мои записки разными сентенциями и экскурсиями в области политики, экономики и т. п.

\* \* \*

Я должен вернуться к финалу моего пребывания в академии. В составе небольшой группы более близких товарищей мы, как водится, отпраздновали окончание академии изрядной попойкой в загородном ресторане. Возвращаясь в город в 4–5 часов утра, проезжая мимо Исаакиевского собора, мы вдруг вздумали подняться на верх собора. Разбудили сторожа и полезли. В результате этой пьяной затеи я схватил сильнейший плеврит и слег.

Через 3–4 дня нам назначено было представление государю. К несчастью для меня, это должно было состояться не во дворце, а на дворцовой площади (ранней весной), после парада какого-то гвардейского полка. Холод стоял пронизывающий. Как быть? Я лежу с температурой 39 градусов. Доктор говорит о начинающемся воспалении легких. Но как упустить случай представиться государю. Ведь это первый раз в жизни. И, может быть, на всю жизнь.

Вдумываясь теперь в мою психику того времени, я должен сказать, что едва ли я тогда преисполнен был тех высоких чувств, которые испытывал у Толстого в «Войне и мире» Николай Ростов при встрече его с государем. Но едва ли в этом страстном желании представиться государю было с моей стороны только простое любопытство. По молодости лет я не постигал тогда то зло, которое Александр III оставил в наследство России в виде уродливо воспитанного наследника, впоследствии Николая II. В академии у нас, как, впрочем, и во всей России, Александр III был очень популярен. И мне никак не хотелось упустить случай представиться государю. Вопреки всем предосторожностям, я все-таки решился на это. Кое-как надел я парадную форму и совершенно больным поехал на дворцовую площадь. На

беду ужасно долго пришлось ждать приезда государя. А стоять приходилось в мундирах, без пальто.

Я чувствовал, что погибаю. Кто-то из товарищей доложил о моем критическом положении ближайшему начальству; мне предложено было выйти из строя и надеть пальто. Едва лишь я это сделал, как подходит ко мне генерал-адъютант Рихтер и говорит: «Поручик, непристойно вам быть в пальто, когда тут же военный министр, постарше вас, без верхнего платья». Пришлось отойти в сторону и снять пальто.

К счастью все обошлось благополучно. Молодость!

При окончании академии мне предложена была штаб-офицерская должность в штабе Забайкальской области, хотя я был еще только поручиком; как я думал тогда, вероятно, потому мне оказано было это внимание, что не нашлось охотников забраться в эту глушь Сибири; но в действительности, как я узнал впоследствии, попал я в Забайкалье вот почему: назначенный тогда командующим войсками Забайкальской области генерал Хорошхин обратился к Драгомирову с просьбой рекомендовать ему офицера Генерального штаба.

— А с какими особыми приметами? — спросил Драгомиров, — какого «момента» хотите ангажировать? Ну, то есть, кроме тактики, — быть ему партнером в винт? ухажером? питологом? может быть у вас так некому дирижировать танцами?

— Да мне, Вашество, хотелось бы иметь работника, потому что в Забайкалье не было до сих пор офицера Генерального штаба.

— А! Вот вы кого хотите! Ну возьмите тогда поручика Грулева, — глубокий армяк, наверное работник.

Предлагая мне занять должность в Забайкалье, генерал Хорошхин осведомил меня, что мне предстоит много поездить по Монголии, Манчжурии; и это мне казалось, конечно, особенно заманчивым.

Еще не было никакого приказа о моем назначении в Забайкалье, а между тем явился ко мне вдруг с визитом знаменитый впоследствии, известный уже и тогда в Петербурге тибетский доктор Бадмаев. Из разговора с ним я понял, что, как культурный глава бурят, он являлся, так сказать, забайкальским патриотом и счел нужным познакомиться со мною. От моего ответного визита Бадмаеву, где-то на Песках, осталось у меня следующее воспоминание, которое стоит отметить. Когда я подъехал по адресу, то увидел длиннейшую вереницу пациентов, вытянувшихся не только по деревянной лестнице, но и далеко на улице. Не прерывая медицинского приема, Бадмаев принял меня в своем докторском кабинете, имевшем вид какой-то аптеки с уставленными на полках банками с лекарствами. При мне Бадмаев принял несколько больных, и мне показалось странным, что он давал им одни и те же «задачки», из одной и той же банки, хотя болезни были разные.

По окончании академии требуется отбыть лагерный сбор для практического ознакомления со службой Генерального штаба. Следуя совету Драгомирова, что офицеру Генерального штаба надо непременно попрактиковаться в гористых местах, я попросил, чтобы меня командировали на Кавказ. Собралась нас компания в шесть человек (Артамонов, Пржевальский, Маевский, Стремоухов, Федотов и я) одного выпуска, которые и были прикомандированы к штабу Кавказского военного округа.

На Кавказ ожидался в это лето (1888 г.) приезд Александра III, и в окружном штабе, как и во всех других учреждениях, шла тревожно-суетливая работа. Как во время знакомой мне поездки царя в Скерневицы, целые авангарды поездов, наполненные полицейскими, экипажами, лошадьми, кухнями, придворной челядью и проч., а главное — шпики, которые наводнили Тифлис. На первых же порах с этими шпиками повторялись изо дня в день скандальные истории. Действуя своими обычными провока-

торскими приемами, эти шерлоки в разговорах и беседах старались провоцировать туземцев на революционные откровенности; а те, под личиной русского патриотизма, либо по свойственной кавказцам хитрости, раскусив, в чем дело, наносили жестокие побои этим «рыволуцерам».

Высшие власти, по случаю приезда царя, распорядились просто: политическим неблагонадежным было сказано: или пожалуйте в Метехский замок (тюрьму), или вон с Кавказа на все время пребывания Александра III.

И все же, Александр III не избег большой неприятности. Один грузинский князь, из бывших владельцев земель в Боржомском ущелье, находившийся в свите Александра III, во время переезда через Воронцовский мост, на Куру, остановил государя, выложил ему резко и без прикрас, как его дядя, великий князь Михаил Николаевич, ограбил его и многих его сородичей и... тут же прыгнул в Куру, которая унесла его быстрым течением.

Подкладка этой истории заключается в следующем. После турецкой войны 1878 года получился большой сумбур по землевладению во вновь присоединенной территории Батумской области. На бумаге, указами, грузинам предоставлено было пользоваться земельными участками, на которых они жили; а на деле — иногда не без вымогательств — чиновники требовали от них представления документов, которых у них не было и быть не могло, потому что вместо документов землей владеют там по обычному праву, т. е. собственность выражается тем, что отец и дед жили и работали на этой земле.

Вот, великий князь Михаил Николаевич, в бытность наместником, также прибег к такому способу, как и все чиновники, т. е. считал земли казенными, если у живущих на этих участках грузин не было надлежащих документов. Такой взгляд оказался притом очень выгодным для Михаила Николаевича. Во время проезда Александра III на Кавказе, по окончании турецкой войны, Михаил Никола-

евич повез своего царственного брата как бы на охоту, в Боржомское ущелье, где именно были такие земли, облюбованные наместником; и там, мимоходом, попросил царя подарить ему кусок «втуне лежащей», «никому не принадлежащей земли» из вновь присоединенной от Турции территории. Александр II, конечно, не мог отказать победителю Турции в этой безделице. А затем наместник уже собственными правами округлял и округлял этот кусок на счет соседних грузин, у которых не было документов на право владения.

Все это успел прокричать в лицо Александру III один из ограбленных и бросился в Куру.

Из Кавказа меня командировали на персидскую границу, в Гермаб, куда звал меня мой бывший командир полка Фишер фон Альбах, командовавший в Гермабе стрелковой бригадой. В Закаспии воеводствовал тогда А. В. Комаров, старательно афишировавший свое славянофильство и свой квази-патриотизм. Это тот самый Комаров, которым в 1883 г. дан был хороший боевой урок небольшому афганскому отряду под Кушкой. Дешевые лавры эти были раздуты патриотической печатью, где заметную роль играл тогда другой Комаров, брат кушкинского, редактор газеты «Свет».

Кроме того, А. В. Комаров, отец четырех дочерей-невест, и жена его, Камилла Николаевна, разыгрывали роль большой патриархальной семьи, проповедуя строгое семейное начало. И вот в такое-то гнездо втесался мой бывший командир Фишер — немец, еле говоривший по-русски, закоренелый циник, настолько, что, имея уже под 70 лет, привез с собою в Асхабад 20-летнюю девицу в качестве жены, которая жила у него вместе со своей матерью.

Обстоятельство это страшно шокировало семью Комаровых, которые постоянно допрашивали меня про моего бывшего командира, а я всегда отговаривался одной фразой — в приказе по полку об этом ничего не было.



Лагерь под Гермабом был очень неудачным в гигиеническом отношении: люди сильно болели лихорадкой, зародыши которой, как уверяли туземцы, таились в речушке, протекавшей через лагерь. Мы часто платились за это игнорирование указаний туземцев. В Геок-Тепе тоже, вопреки предупреждений туркмен, поставили батальон в ущелье, где туземцы никогда не селились, потому что в этом ущелье свирепствовала злокачественная лихорадка. И действительно, в течение 7–8 лет батальон вымер целиком от лихорадки: образовалось кладбище, где похоронен был весь батальон, в полном составе.

\* \* \*

В сентябре 1888 г. мне предстояло пуститься в большое путешествие — в Читу, к месту служения. Путешествие предстояло начать из Тифлиса по Закавказской железной дороге в Баку, оттуда по Каспийскому морю до Астрахани, далее по Волге и Каме до Перми и от Перми до Тюмени по железной дороге. В Тюмени надо было уже снарядиться для путешествия через всю Сибирь на лошадях.

Стоял уже сентябрь на исходе. Необходимо было торопиться уехать с Кавказа, чтобы захватить навигацию на Каме; иначе пришлось бы застрять надолго где-нибудь среди вогул или вотяков, далеко не доехав еще и до границ Сибири. Пронеслась у меня эта мысль в голове мимоходом, когда по карте изучал обширный бездорожный край Камского бассейна. А подлинные мытарства этого бездорожья узнал я только впоследствии, во время одной из поездок из Сибири в «Россию», как говорят сибиряки, — когда с благоустроенного, сравнительно, сибирского тракта переехал на наши первобытные земские большаки по сю сторону Урала. Тут-то я вспомнил записки декабристки Францевой, у которой по тому же поводу вырвалось восклицание: «Злая Сибирь-то у вас, а не у нас там, за Уралом!»

Пока что, однако, счастливая звезда моя мне весело мигает, увлекая в Сибирь. По Волге и Каме мне удалось захватить последний пароход, и 20 октября я приехал в Тюмень — мой отвалный берег, откуда предстояло пуститься в далекое плавание через Сибирский океан. Да, «Сибирский океан». Если Наполеон I назвал Россию океаном суши, нырнув только в маленький краешек до Москвы, то что бы он запел, если бы ему пришлось погнаться за Александром I в Сибирь, по которой не военным походом, а на почтовых, при скорой езде, предстояло ехать в тарантасе 50–60 дней и столько же ночей только до Байкала. А там еще оставался «шматок» до Николаевска, дней на 40.

В Тюмени пришлось пробыть несколько дней, чтобы снарядиться в предстоявший длинный путь. Первое, что бросилось в глаза при выходе на подъезд вокзала, — это невероятная и вполне невылазная грязь, в которой колеса легкой извозчичьей пролетки тонули по ступицу; так что налегке пришлось плестись черепашим шагом. Извозчик, как и все служащие на вокзале, оказался ссыльным или из ссыльных.

Грязь и ссылка — вот первое впечатление, которое поражало при въезде в Тюмень, преддверие Сибири, — начальный пункт великого сибирского пути. Не позаботились вымостить ничтожный кусок подъездного пути в полторы-две версты от вокзала до города. Воображаю, какие мытарства выносили ломовики, если я на легкой пролетке одолел эти полторы версты в полтора часа. Все улицы города оказались тоже потоками грязи, вливающимися в главную Александровскую улицу, как в главное русло грязи. Переправиться с одной стороны улицы на другую можно было только в некоторых местах — точно переправы на реках. И это в центральных местах города.

Лучшая гостинца в городе оказалась очень характерной по своей кабацкой литературе, которая золотыми бук-

вами украшала внутри все стены и плафон, вроде следующего: «Почитая завет родной, не закусывайте, господа, по одной». «Кто буфет пройдет, тот удачи не найдет». «Тому гораздо веселее жить, кто может поесть и попить» и т. п.

Снаряжение в дорогу сводилось к выбору и покупке тарантаса, который для путешествия по Сибири, в былое время, имел такое же значение, как пароход для океана, верблюд для Сахары и т. п. Попался тарантас хороший — едешь спокойно и безостановочно; в противном случае вы обречены на томительные остановки и постоянную возню с починками. В тарантасе устраивались так, что ехать надо не сидя, а полулежа, — иначе не выдержать бесконечного трясками пути. Не поместившийся внутри повозки мой большой чемодан был накрепко прикован на задке к дрожжинам — предосторожность необходимая, иначе непременно отрежут в пути, даже среди белого дня.

На первых же перегонах мне пришлось ознакомиться с бродячей ссыльной Русью, следуя вместе с большой партией ссыльнокаторжных.

Из уважения к моему офицерскому званию конвойные не мешали мне вступать в разговор с каторжными; для меня открылся совершенно новый, неведомый для меня мир.

Партия была семейная, т. е. в состав ее входили как каторжанки, так и добровольно следующие при ссыльных мужьях жены и дети. Отличаясь поэтому чрезвычайной пестротой, подвернувшаяся мне партия представляла весьма богатый материал для наблюдения. Тут были и политические, и уголовные; были представители чуть ли не от всех национальностей, населяющих Россию, и от всех классов населения. Были и прогремевшие на всю Россию знаменитости: молодая, обворожительная красавица Лишина, застрелившая в Тифлисе, в ложе театра поручика Мищенко, адъютанта Дондукова-Корсакова; в эту ссыльную красавицу влюбился путешествовавший по Сибири

богатый англичанин, познакомившийся с Лишиной в Иркутске. Желая добиться освобождения Лишиной из ссылки, влюбленный англичанин посылал ежедневно в Петербург длинные телеграммы, предлагая пожертвовать сто тысяч в пользу Красного Креста, лишь бы отпустили Лишину в Англию, но получил, конечно, отказ. Был тут, в этой партии, и седовласый действительный статский советник, директор мужской гимназии, осужденный за гнусные преступления, учиненные над своими питомцами. Посмотришь со стороны на этого белого, как лунь, почтенного старца, импонирующего столь же своей красивой старческой наружностью, сколько и умной сдержанной речью, — и никогда в голову не придет, что этот почтенный патриарх способен на противоестественные пороки.

Политические ссыльные пользовались в то время значительными привилегиями по сравнению с уголовными. Конвойные говорили им «вы»; на этапах отводили им, по возможности, особые помещения; свои же товарищи по ссылке, уголовные, относились к политическим с большим вниманием и сердечностью.

— Сползай-ка, Афоня, с телеги; пусти заместо себя вон барыньку; ишь, сердечная, измаялась как, — говорит заматерелый «шпанка» больному товарищу, сидевшему на подводе, предлагая уступить место выбившейся из сил политической, хрупкой, крайне изможденной женщине средних лет, бывшей земским врачом и следующей в Карийские рудники. Больной Афоня с телеги слезает, но и барынька не желает пользоваться этим самопожертвованием и, напрягая последние усилия, едва передвигая ноги, плетется рядом, держась рукой за телегу.

Каторжные плетутся большей частью молча, погруженные в свои невеселые думы, со взглядом, устремленным в неведомую тревожную даль.

Незаметно наступили лютые сибирские морозы. Установилась санная дорога; потянулись бесконечными вере-

ницами сибирские обозы с залежавшимися в попутных городах товарами. Во многих местах на тракте образовались так называемые «нырки», канувшие теперь в область преданий, а в былое время служившие особого рода египетской казнью для путешествовавших по сибирскому тракту. Нырки — это короткие и глубокие ухабы, следующие один за другим на протяжении сотен верст. Полотно дороги представляет собою точно застывшие волны реки, извивающейся среди гладкой пелены необозримой снежной равнины.

Образование этих нырков объясняется тем, что, при бесконечном следовании обозов, в местах, где накопилось много снега, достаточно было, чтобы сани передней частью полозьев ударились в какой-нибудь бугорок; непрерывнодвигающиеся на протяжении многих вест, одни за другими, груженные сани ударяют плечом полозьев на том же самом месте, где ударили первые; бугорок вырастает в горку, а рядом получается ухаб, или нырок, который растет в глубину настолько, что тройка лошадей с дугой скрывается на дне такого нырка; оттуда тройка взбирается на гребень снежной горки, затем опять ныряет в ухаб, опять выбирается на горку, опять ныряет и т. д.

Неудобно ли пробираться таким образом сотни верст! Лошади из сил выбиваются. Путешественник, сидя в кошеве, как называют в Сибири крытые сани, принимает положение полустоячее, то ногами вниз, то ногами вверх.

Едва проедешь эти нырки, намучившись вдосталь в течении четырех дней и четырех ночей, в особенности между Мариинском и Томском, начинается новая казнь — раскаты, которые образуются на гатированных участках тракта. Вследствии выпуклой поверхности полотна дороги снег здесь укатан гладко; тройка мчится посредине полотна, а кошева все время раскатывается то в одну сторону, то в другую, ударяясь на краях дороги об снеговые закраины, постоянно становясь почти ребром на одном полозе, или

поминутно опрокидывается, причем первым вылетает из саней пассажир, а за ним летят и его монатки.

Невыносимые мытарства по ныркам, раскатам и ухабам невольно вызывают у путешественника жалобы и проклятия на судьбу и прелести сибирские. И тогда какой-нибудь ямщик побойчее предлагает «махнуть по веревочке». Это значит свернуть с почтового тракта, бросить почтовых лошадей и поехать на вольных за те же прогонные деньги, которые взимаются на почтовых станциях. Это до некоторой степени риск, потому что, пока едете по почтовому тракту, вы находитесь, так сказать, под покровительством властей; на каждой почтовой станции вас передают с рук в руки; имя ваше зарегистрировано в книгах, и случись с вами что-нибудь в пути, — ограбят или убьют, — не трудно установить, где и по чьей вине это произошло. Когда же вы махнули «по веревочке», то этим самым вы отдаете себя на произвол каких угодно случайностей.

Однако страшно это было только в теории. В действительности, езда «по веревочке» народилась очень просто потому, что придорожное население жаждало заработка, а при обилии перевозочных средств и крайней дешевизне фуража охотно везли за узаконенные прогоны и даже дешевле. А что касается поведения сибиряков-крестьян, то это настоящие сельские землеробы, настроенные очень мирно, в особенности в Западной Сибири: грабежи и убийства случались среди них очень редко. Во всяком случае, знакомиться с укладом жизни местного населения можно было, конечно, не на почтовых станциях, а именно только при путешествии «по веревочке», т. е. свернув с почтового тракта и направляясь из деревни в деревню, в самую глушь сибирскую.

По этим же местам мне пришлось впоследствии проезжать по железной дороге, и невольно напрашивается сопоставление с одной стороны прежнего мирного и тихого колорита деревенской жизни с ее невероятной для нынешнего

времени дешевизной и обилием жизненных продуктов, а с другой — шумливой суетою, принесенной с собою железной дорогой, вместе с крайним вздорожанием жизни не только в городах, но и в деревнях. Недаром лучшие умы, как Л. Н. Толстой, выражали иногда сомнение в пользе и спасительности рельсовых путей, этих наиболее могущественных проводников выспренных потребностей современной цивилизации и сомнительных благ для заурядной жизни.

Впрочем, и то сказать: несмотря на обилие хлеба и баснословную дешевизну жизни, существовавшие в Западной Сибири до проведения железной дороги, эти места все же посещал иногда жестокий голод, который трудно было парализовать каким-нибудь привозом со стороны, вследствие отсутствия удобных и дешевых путей сообщения. Часто случалось, что в одной губернии урожай такой, что хлеб не находит сбыта, продается за бесценок; а тут же, в соседней губернии, люди пухнут с голоду.

Для иллюстрации приведу следующий характерный факт. В Верхнеудинском округе Забайкальской области смекалистый рыбак вздумал однажды обратить свой улов рыбы в зерновой хлеб, а хлеб тот продать, потому что прямым путем выручить деньги за рыбу нечего было и думать: зерна всякого и всех сколько угодно, а денег ни у кого нет. Вот взвалил рыбак свою бочку рыбы на телегу и поехал с нею по деревням. Всюду покупатели крестьяне охотно покупают рыбу, расплачиваясь зерном, которое щедро сыпали рыбаку в мешки. Еще полбочки рыбак не продал, а хлеб сыпать уже некуда, получился большой груженный воз; пудов в 30 отборного зерна за вторую половину бочки. Рыбак от удовольствия потирает руки, радуясь своей сметке — за одну бочку рыбы выручил два воза хлеба.

Вышло, однако, так, что хлеба два воза есть, но покупать его никто не покупает, ни в деревне, ни на винокуренном заводе, куда пришлось везти хлеб; ни, наконец, в городе, куда повез на продажу зерно. Никто не покупает, ни по

какой цене. Подвозчик, тем временем, требует уплаты за провоз. Пришлось неудачному коммерсанту тайком и украдкой, пользуясь наступившей темнотой, освободить свой воз от груза зерна, высыпать его прямо на улицу, чтобы можно было скрыться на своей лошади, бросив подводчика со вторым возом...

Настолько хлеб в этом районе не имел никакой ценности. А рядом — всего лишь в расстоянии 120–130 верст — в Читинском округе, свирепствовал местами настоящий голод; но доставить хлеб из Верхнеудинского округа невозможно было, потому что на всем участке Яблонового хребта, на протяжении около 500 верст, нет ни одной колесной перевалочной дороги.

Впрочем, не только хлеб — *серебро* даже не выдерживало перевозки через Сибирь на лошадях. Богатейшие серебряные рудники, например, Кутомарский в Нерчинско-Заводском округе, не разрабатывались только потому, что серебро не окупало доставки из Забайкалья на монетный двор в Петербург. Как это ни кажется диким — это тем не менее, факт, не подлежащий сомнению.

Серебро не окупало перевозки до Петербурга; выдерживало только *золото*, которое сосредоточивалось в горном управлении в Иркутске и оттуда караваном отправлялось на монетный двор в Петербург. Необходимо, впрочем, оговориться, что не окупало серебро *казенной* перевозки, которая, как сейчас увидим, обходилась баснословно дорого, напоминая известную сказку о кормлении казенного воробья. А что касается подлинной стоимости былой перевозки грузов по Сибири, то — в то время как казенная перевозка не покрывалась даже серебром — в Забайкалье продавались деревянные ложки и дуги, привезенные с Нижегородской ярмарки. Другими словами: в частных руках даже дерево, не говоря уже, хотя бы, про мыло и гвозди, представляло собою бóльшую ценность, чем серебро в руках казенных.



Чтобы понять, почему так дорого обходилась перевозка казне, расскажу как перевозились караваны золота через Сибирь в Петербург, что мне пришлось изучить непосредственно, в качестве начальника такого каравана, который доставлялся из Иркутска в Петербург зимой 1891 г. Для цельности скажу об этом сейчас, забегаая немного вперед, в отношении хронологического порядка.

Прежде всего горное правление дает наряд своему подрядчику поставить известное число «кошевок»; это простые сани-розвальни, которые продаются на всех базарах в Сибири по сходным ценам; но так как на заказных санях предстоит перевозить не что-нибудь, а золото, да заказчик притом казна, да расплачивается казна чужим карманом — ибо все расходы по перевозке относятся насчет золотопромышленников — то эти самые сани вырастают ценой в 5 и 10 раз дороже обыкновенных. Золото в слитках, весом около полпуда каждый, складывалось в грубо сколоченные из толстых досок ящики, окованные железом. В таком ящике укладывалось 25–30 пудов золота; с этим золотым грузом ящик наглухо привинчивается ко дну саней. Немного возвышающийся ящик служил готовым столом... для игры в винт во время езды днем и даже ночью напролет, благодаря фонарику, прикрепленному к стенке кошевы; причем винтеры до кончика носа остаются завернутыми в шубах и дохах с накрепко примерзшими к ним усами и бородами.

В состав каравана назначалось обыкновенно 10–15 саней; значит, общее количество перевозимого составляло 300–360 пудов золота. Для охраны такого каравана назначался конвой из 4–6 казаков. Надо удивляться как патриархальности перевозки таких ценных сокровищ, так и похвальному благонравию сибирских «чалдонов» (каторжных-беглых, бродяг), придорожных ссыльнопоселенцев или просто изобилующих в Сибири охотников до легкой наживы, которые, кажется, ни разу не учиняли нападений

на такие караваны с золотом. А ведь такой караван представлял собою ценность в 4–5 миллионов рублей. Одна только повозка представляла собою ценность в полмиллиона. Караван постоянно и неизбежно разрывался, растягивался на протяжении 1–2 верст. Случится поломка в какой-нибудь кошеве, и весь обоз останавливается: не только конвой, но и все ямщики собираются на выручку застрявшей повозки; а тем временем остальные сани с золотом остаются рассеянными и брошенными в тайге и на дороге, под охраной Николая Угодника. Что стоило бы кому-нибудь угнать хоть одну повозку, или сбить и спрятать в снегу ящик с золотом, которым завладеет потом по миновании каравана.

Неугодно ли сопоставить это с перевозкой какой-нибудь тысячи долларов по улицам Чикаго в наше время...

Чиновники горного правления уверяли, что грабители потому не рискуют нападать на караваны с золотом, что сбыть такое золото было очень трудно. В действительности это вовсе не так: хищники умудрялись перевозить золото контрабандным путем через китайскую границу, иногда даже в экипаже самого генерал-губернатора, как это случилось в мое время, в 1889 г. Устроили это таким образом. Проведали контрабандисты, что объезжавший Забайкалье генерал-губернатор барон Корф, по приезде в Селенгинск, принял приглашение китайских властей захватить из Кяхты в пограничный китайский городок Маймачин на обед, приготовленный в его честь. Зная хорошо, что генерал-губернаторский тарантас таможенные чиновники осматривать не посмеют, хищники всунули незаметно в ящик, где обыкновенно хранится колесная мазь, с десятков грязных, захватанных мазью ящичков колесной мази, в которых вместо мази было золото. Сам контрабандист, зорко следя издали за этим тарантасом, одновременно перешел границу с пустыми руками, а по прибытии в Маймачин усердно помогал ямщику-буряту... мазать ко-

леса тарантаса, только не той, конечно, мазью, которую он заготовил.

Долгое время барон Корф не мог забыть, как он попал в контрабандисты.

Раз коснувшись своеобразных способов передвижения по Сибири, отошедших теперь в область преданий, нелишнее вспомнить и весьма оригинальные путешествия на плотах, которые в былое время совершались из Читы, вниз, конечно, по течению Ингоды, Шилки и Амура до Благовещенска, Хабаровска, а иногда и далее, до Николаевска, т. е. всего на расстоянии свыше 3000—4000 верст.

Замечу мимоходом, что этот способ передвижения к Великому океану имеет свое историческое прошлое, богатое многими событиями и последствиями. Еще при первом занятии Приамурского края, при графе Муравьеве-Амурском, явилась необходимость обеспечить новую колонию первыми авангардами переселенцев и снабдить новоселов какими-нибудь боевыми силами и жизненными запасами. Все это возможно было только посредством сплава по Амуру. Никаких дорог из Забайкалья на Дальний Восток нет, как известно и поныне, если не считать Амурскую железную дорогу и небольшие участки колесных дорог вдоль Амура. Так что поныне огромная наша окраина Дальнего Востока висит лишь на телеграфной проволоке, а для сообщения служит самая поверхность Амура — зимою по льду, а летом на пароходе. При Муравьеве и этого не было; так что передвижение грузов и людей возможно было только на плотах и редко — на судах.

Прибрежное население Ингоды и Шилки по сие время еще полно всевозможных преданий о принудительном переселении забайкальских казаков и государственных крестьян на Амур посредством сплава на плотах. На этих плотах перевозилось население чуть не целых поселков — стар и млад, домашний скот и весь скарб домашний.

Эти подневольные новоселы послужили ядром для основания процветающих теперь в материальном отношении амурских и уссурйских казаков. Зато сколько слез, в свое время, было пролито этими вынужденными переселенцами при оставлении насиженных мест. Сколько плотов с людьми, скотом и всем скарбом погибли в пучинах Амура, который в половодье имеет местами вид настоящего моря, так что и берегов не видать.

Позднее, в мое время, сплавом по Амуру пользовались только для передвижения партий новобранцев на укомплектование войск, расположенных на Амуре. Но этот способ передвижения обходился так дорого, чреват был часто такими несчастными случаями, что нашли более соответствующим отправлять этих новобранцев из Одессы морем, кругом всей Азии.



---

## Глава VII

### Жизнь и служба в Сибири

*Сибирь — место ссылки и каторги. Характеристика Сибири и сибиряков. Сибирь — «страна чудес и курьезов». Почетный гражданин и председатель благотворительного общества — грабитель и разбойник на большой дороге. Культурное развитие Сибири. Мое участие в общественной жизни. Перевод в Генеральный штаб. Изучение туземного населения. Жизнь бурят. Буддизм, ламы и «дацаны» (монастыри) бурятские. Жизнь «семейских» (раскольников). Жизнь приискателей. Жизнь золотопромышленников, хищников и спиртоносов. Таежные обычаи и законы. История Желтугинской республики.*

---

Зимой 1888 г. я прибыл на службу и житье в Забайкалье, в самую глушь сибирскую, в эту причудливую, неизведанную страну чудес и курьезов, как давно уже названа Сибирь устами ее присяжных беллетристов.

В уме и воображении русского народа Сибирь встает величавым грозным фатумом, соединяющим в себе что-то магическое и таинственное. Человек невольно теряется в этом безбрежном океане суши, подавленный природой унылой и мрачной, — мрачной, как сама тайга сибирская. К тому же эта долго забытая, отверженная окраина до сего времени служит страной ссылки и каторги. Бесконечный, длинный путь уже сотни лет увлажняется обильными слезами обездоленных судьбой. Темной рекой льется в необъятную Сибирь горе людское, прикры-

тое сверху сутолокой повседневной жизни со всей ее разнообразной мелкой рябью, под которой своим путем, незаметным для постороннего глаза, струится и струится это горе-горемычное.

И никак не наполнят они это горе и страдание людские — ненасытную, необъятную Сибирь, бездонное море печали...

Сибиряки, однако, страстно привязаны к своей сумрачной, безлюдной родине, любят бесконечное раздолье сибирское и сильно дорожат укоренившимися в Сибири традициями социального характера. В Сибири никогда не было крепостного права, поэтому там неизвестны разные общественные перегородки Европейской России; а общее, чреватое иногда горестными воспоминаниями прошлое само собою сближает людей разных положений, независимо от различия материального состояния.

Все это окружает «страну чудес и курьезов» таким пленительным ореолом, что сибирякам неуютно и тесно вне Сибири. Невольно вспоминаются тоскливые вздыхания многих декабристов, которым, после получения свободы, жалко было променять широкое раздолье сибирское на тесные объятия их старой родины.

Так растворилось и переработалось в Сибири все, что выбрасывалось туда много лет прихотливыми волнами исторической жизни Европейской России. Неудивительно, если в этом горниле земли русской народились особые сибирские типы, душой и телом закаленные в упорной борьбе — то с судьбой, злой мачехой, то с негостеприимной суровой природой. На сибиряка прежде всего кладет отчетливую печать сама бесконечная ширь его родины. Признано давно уже общим местом, что природа и люди находятся между собою в постоянном взаимодействии. Мне то представилось особенно наглядным при сопоставлении людей и природы Сибири и ее соседки Японии, с которой мне пришлось познакомиться несколько позже.

В Японии все имеет вид какой-то игрушечный: леса, поля, реки, озера — маленькие, люди — маленькие, дороги — узенькие, дома — точно картонные, и все в таком роде. В Сибири — наоборот: все отвалено по широкому масштабу, отвечающему необъятной шири этой беспредельной страны. По дороге ли едешь, по историческому тракту сибирскому, видишь пред собою такую даль безмерную, для которой неприложимы расстояния никакой другой страны в мире; да и ширина дороги, дело рук сибирских, отхвачено тоже по привольному масштабу; видно земли раздолье. Стоит ли у дороги столб телеграфный, он тоже такой высоты и толщины, что в его размерах сейчас же сказывается величие его родной тайги; этого мало: на расстоянии тысячи и нескольких тысяч верст можно видеть, что легковесная телеграфная проволока, этот осколок европейского ума, поддерживается не одним, а тремя такими гигантами; сейчас видно, что и в этом природа отвалила щедро рукой, по масштабу сибирскому.

А села сибирские! — в них видна богатырская мощь, так и брызжет от них избыток и людское довольство; куда до них многим захудалым городам Европейской России!

А тайга, а горы, а реки сибирские!.. Есть где им развернуться по необъятной стране.

Словом, куда не взглянешь, во всем сказывается безмерное раздолье сибирское, в котором незаметно тонет все: и заботы, и горе, и тоскливые воспоминания о покинутой родине.

Под влиянием всех этих разнородных условий и народился особый своеобразный тип сибиряка, в котором так же широко и привольно размахнулись душевные качества по широкому масштабу: тут и чуткая отзывчивость к чужому горю, самоотверженная — просто ангельская иногда — доброта, рядом с неудержимой удалью, железной волей и прямо нечеловеческой иногда жестокостью. Это кажущееся противоречие представляет собою ни что иное,

как живое воплощение все той же беспредельной сибирской шири: доброта — так доброта без удержу, без счета; даст ли сибиряк простор злой воле, она может проявиться в таких чудовищных размерах, что работа разных Тропманов и других европейских знаменитостей этого рода покажется просто детской забавой.

Где, например, видано и слыхано, чтобы богатейший купец, первое лицо в городе, председатель благотворительного общества, почетный гражданин, приятель губернатора в прочее выходил бы по ночам на большую дорогу для разбоя и убийств? А в Сибири это оказалось в порядке вещей.

Вот как это было.

Зимой 1887 г. немногочисленное население Читы было взволновано выдающимся ограблением денежной почты, которое произведено было в ближайших окрестностях города и сопровождалось убийством ямщика и тяжелыми ранами, нанесенными конвоиру — артиллерийскому солдату. Грабители не забыли, конечно, похитить при этом почтовый баул с денежной корреспонденцией на сумму около 30 000 рублей. Почтальон, сопровождавший почту, спасся бегством, отстреливаясь в сторону грабителей, которые, как оказалось впоследствии, и не думали его преследовать.

Весть об ограблении денежной почты в ближайших окрестностях города быстро достигла Читы и произвела переполох среди сонного населения захолустья. Все начальство областного города было поставлено на ноги, и начались энергичные розыски. Разыскивать, впрочем, пришлось недолго, благодаря резко обозначенным свежим следам, оставленным грабителями на только что выпавшем перед тем рыхлом снегу. Выяснилось сразу, что грабители нагоняли почту со стороны Читы в легких санках, запряженных в одну лошадь, которой, судя по следу, свойственна была, по-видимому, своеобразная побежка с закидыванием задней правой ноги несколько в сторону.



Лошадь с предполагаемой своеобразной побезжкой оказалась принадлежащей первому лицу в городе, богатому купцу Алексееву, игравшему первую роль в Чите: он состоял деятельнейшим директором тюремного комитета, попечителем всех учебных заведений, в церкви выступал перед молящимися с церковной кружкой, увешанный медалями и орденами, друг и приятель самого губернатора. Наконец, этот Алексеев был очень богат: был одним из крупнейших собственников в городе, владел обширным кварталом со многими домами и лавками. Словом, Алексеев являлся тогда украшением областного города Читы и по уму, и по богатству, и по заслугам, и по щедрой общественной благотворительности.

После сказанного неудивительно, что одного слова Алексеева, что лошадь его на месте, было достаточно, чтобы разочаровать следователя и почтовое начальство, которое, со своей стороны, вело еще самостоятельное следствие.

После ответа Алексеева розыски направлены были по разным иным направлениям, которые, однако, очень скоро опять привели к почетному гражданину. При всем том никому в голову не приходило допрашивать Алексеева в качестве подозреваемого. Только после того, когда сосредоточилось много явных улик, когда, наконец, и сам почтальон сознался и указал на Алексеева, как инициатора, подстрекателя и исполнителя, собственноручно убившего ямщика, пришлось поверить, что «в стране чудес и курьезов» возможен и такой курьез, как богатый почетный гражданин в роли разбойника и грабителя на большой дороге.

Эти предположения, в виде тонких и деликатных намеков сообщили Алексееву за завтраком у губернатора. В тот же день он был арестован, и недели через две, по велению слепой Фемиды, этот почетный гражданин был повешен в своем родном городе Чите рядом со своим соучастником, ссыльнопоселенцем Пенде.

Везде, конечно, этот выдающийся факт общественной жизни явился бы совершенно необычайным, как нечто невозможное с точки зрения житейской этики. Но в Сибири к таким явлениям если не привыкли, то, во всяком случае, относятся к ним равнодушно. Причиной является то, что в устах народной молвы многие крэзы сибирские, сияющие щедрой благотворительностью, служащие предметом поклонения, подобно Алексею, выросли на почве известной только Сибири крайне своеобразной прискательской жизни, нажив свои богатства такими мрачными путями, которые ужасают иногда даже сибиряков, привычных ко всяким явлениям подобного рода. Неудивительно, если иногда на склоне дней пробуждаются старые инстинкты, усыпленные богатством и всеобщим поклонением.

Раз коснувшись характеристики сибиряков, перейду к описанию важнейших элементов населения собственно в Забайкалье, куда, после продолжительного странствования по Сибири, я прибыл зимой 1888 г. Скажу сначала два слова о первых шагах моей службы.

В январе 1889 г. я был переведен в Генеральный штаб. Вслед за тем был выбран членом-секретарем и заведующим делами областного статистического комитета, заведующим разными библиотеками, благотворительными учреждениями и, таким образом, сразу окунулся в самую гущу местной общественной жизни.

Надо заметить, что по всей Сибири, вообще, общественная и культурная жизнедеятельность во многом опередила Европейскую Россию. Приведу краткий пример, когда я задумал составить карту Забайкальской области, то я нашел в области свыше 100 тригонометрических пунктов, определенных разными научными экспедициями; тогда как, например, в центре России, в Калужской губернии, таких пунктов я нашел впоследствии только 10–15: настолько дальняя сибирская область оказалась более обследованной, чем подмосковная губерния.

Статистические комитеты, созданные в 50-х годах во всех губернских городах Европейской России, были так учреждением вполне мертворожденным; а в Сибири те же учреждения проявили оживленную деятельность и во многом содействовали исследованию и выяснению местных производительных сил, деятельности населения, истории края и т. п.

Когда, бывало, уедешь из Владивостока или Благовещенска на несколько месяцев, то по возвращении не сразу узнаешь даже собственную улицу, на которой живешь, — так быстро выростали новые постройки; а в той же Калуге гостиный двор, гимназия, да и весь центр города стоят в неприкосновенном виде со времени Екатерины II.

С первых же шагов моей служебной деятельности в крае мне пришлось — благодаря служебным поездкам — близко ознакомиться с двумя важнейшими элементами населения Забайкалья: бурятами и «семейскими» (раскольниками). Стоит сказать о них несколько слов, потому что о тех и других в России имеют смутное представление.

*Буряты* сами называют себя «бурядами», а при первом знакомстве с русскими получили название братских, — вероятно, вследствие простого созвучия слов, почему сибиряки до сего времени называют бурят «братскими».

Источником существования бурт служит скотоводство, которым они занимаются с особой любовью; чтобы быть поближе к своим стадам, они перекочевывают с места на место, в зависимости от времен года и обилия подножного корма. Жилищем в летнее время служит юрта, а при наступлении холодов — зимушка. Внутреннее убранство юрт всегда однообразно: против входа помещается ларь, на котором ставится несколько бурханов, а перед ними раскладываются принадлежности религиозного культа: шесть медных чашечек с жертвоприношениями — мука, зерно, чай и прочее, металлическое зеркало, курительные свечи и т. п.

Посредине юрты, под отверстием в крышке, укрепляется железный треножник, который служит очагом.

В пище и питье буряты очень неразборчивы: мясо едят редко, но при случае не брезгают и падалью. В домашней жизни крайне нечистоплотны; весьма немногие знакомы с употреблением мыла, а очень многие во всю жизнь никогда не моют не только тела, но даже лицо и руки остаются у них от рождения в неприкосновенном виде до самой смерти: «с чем явился на свет — с тем должен лечь в гроб». Поэтому при рождении, прямо из утробы матери, без всяких омовений, младенец завертывается в тулуп и, невзирая на погоду и время года, подвешивается на некоторое время возле юрты, под открытым небом; так затем и во всю жизнь бурят никогда не моется и не купается. Когда буряты-казаки прибывают на службу, их прежде всего отводят в баню, где под наблюдением начальства подвергают мойке — первый раз в жизни; вот эта невинная муштра является для бурят самой тяжелой пыткой на первых порах службы.

Семейное начало у бурят развито очень слабо. Рождение вне брака отнюдь не считается пороком; напротив, это служит доказательством пригодности «бацагана» (девушки) к рождению детей — значит, к семейной жизни, и гарантирует поэтому ее скорый выход замуж, а следовательно — получения «долика», т. е. калымного выкупа. На жену бурят смотрит исключительно, как на рабочую силу; на свою дочь — как на товар, за который требуется получить возможно лучший выкуп. Поэтому, если одна жена не в состоянии управиться с домашней работой, бурят берет вторую и третью жену; если дочь не обращает на себя внимание парней на «наадах» (вечерниках), то навлекает на себя постоянные упреки родителей, опасющихся лишиться «долника».

Кстати заметить, что эти «наады» совершенно не имеют того невинного характера, как у наших крестьян поси-

делки или вичирницы; на бурятских вечеринках проявляется во всей силе грубый цинизм азиатского сладострастия: после унылой песни и флегматичной пляски парни тут же выбирают себе временных подруг, на глазах родителей, и все вместе продолжают оставаться в юрте...

Достоинно внимания, что бурятам, по-видимому, совершенно чуждо понятие любви: для этого чувства даже нет соответствующего выражения на бурятском языке, в общем довольно развитом и имеющем даже свою литературу. Все объяснение в любви бурят выражает одним словом — «дуртай», что значит *хочу*, желаю, — в чем сказывается лишь грубая эгоистическая похоть.

Что касается буддизма бурятского, то основой его служит положение ламы, которое определяется троичностью догмы «гурба эрдени» (Бог, его закон и лама), а также символом «ламадор итегемой», т. е. «веруем ламе»... Число всех лам среди забайкальских бурят составляет не менее 10% общего количества бурятского населения. Дело в том, что буддийское вероучение проникнуто глубоким мистицизмом, требующим одинаково от своих последователей полного отречения от всех потребностей жизни. А так как такое требование в отношении массы населения несовместимо с условиями человеческой природы, то и установился обычай, по которому третий сын служит искуплением для всей семьи и посвящается в ламы. Этим и объясняется чрезмерно большое число лам у бурят.

По верованиям бурят, лама может по своим книгам начитать всякую беду и отчитать от беды. Придя в юрту, лама распоряжается, как хозяин, как посланник Бога. Хозяин юрты обязан удалиться, оставив в юрте для ламы даже свою жену.

Исполнение треб сводится к ворожбе, гаданиям, заклинаниям и прочему. Иногда эти требу («гурумы») очень разорительны: похороны богатого бурята обходятся нередко в 100 и более голов скота. Но это не все; заметит,

например, лама после похорон, что душа умершего направилась не туда, куда следует, и предупреждает тотчас родственников покойного, конечно, богатых; а за исправление такой беды берется немалая мзда.

В прежнее время бурятские женщины похищались русскими поселенцами, потому что в Забайкалье ссыльные и беглые были исключительно одинокие мужчины. Добывание женщин производилось очень просто — путем похищения их у соседних бурят. Чтобы уберечь своих женщин от похищения, буряты придумали простой способ: переменили костюм девок и парней, одев одних в платье других. Этому способствовало свойственное монгольской расе отсутствие у мужчин усов и бороды. После этой скрытой перетасовки похищение бурятских женщин стало сопровождаться иногда весьма горьким разочарованием для хищников и, таким образом, отвадило их от покушения на бурятских сабинянок.

Среди русской части населения Забайкалья особого внимания заслуживают «семейские». В прежнее время, а иногда и теперь, семейских называют раскольниками поповщинской секты. Они переселены были в конце XVIII столетия, после первого раздела Польши. Выдержав упорную борьбу с непривычными особенностями окружающей природы, семейские основали свое благосостояние исключительно на хлебопашестве, и во всех местах своего поселения отличаются замечательной зажиточностью.

Домовитость у семейских доведена до высокой степени. Отец является верховным главой семьи — даже после того, как дети обзаведутся собственным хозяйством. Жена пользуется большим уважением, и без ее согласия не предпринимается ничего важного. Разговор свой женщины любят пересыпать библейскими изречениями, хотя от грамотности сторонятся, придерживаясь семейской поговорки: — «мужику не рожать, бабе дьяком не бывать».

Как не остановиться несколько подробнее на жизни около золота в Сибири вообще, и в частности — в Забайкалье. Ведь это добывание золота и жизнь причастных к этому делу элементов придает совершенно особый колорит всей жизни сибирской. Начну с приискателей.

*Приискатель* в Сибири является совершенно законченным, своеобразным типом, выросшим на почве приисковой жизни. Ежегодно, ранней осенью, золотопромышленные компании высылают своих агентов, преимущественно в западные сибирские губернии, для вербовки рабочих на прииски. Под давлением наличной всюду нужды, в деревне находится всегда готовый контингент желающих отправиться на заработки. Многих буйных голов манит при этом бесшабашная, разгульная жизнь приискателя, полная всевозможных приключений и сказочных метаморфоз: в Сибири известно немало примеров превращения нищего приискателя в миллионера в какие-нибудь 5–6 месяцев.

Все чудесные рассказы, распространяемые продувным агентом при вербовке рабочих, невольно распалют воображение пришибленного нуждой крестьянского люда; многие видят себя уже обладателями открытых ими богатых ключей, в которых «вода бьет золотым песочком», или найденных пудовых самородков. Все эти рассказы подкрепляются обильными задатками, а первая приисковая чарка окончательно ошеломляет договаривающихся рабочих.

После нескольких дней работы в деревнях мы видим приискового агента выступающим уже во главе партии рабочих, закабаленных задатками, отуманенных фантастическими бреднями об ожидающих их золотых самородках. Весь этот угар поддерживается в голове первое время сплошным пьянством на остатки полученных задатков; а затем, еще в пути, быстро наступает суровая действительность, которую приходится заглушать опять-таки пьян-

ством, на счет полученного от агента нового тулупа, зимней пары сапог и прочих вещей, взятых из дома.

Словом, после бесконечного длинного пути приискатель приходит в тайгу, на прииск, в очень печальном виде: в драном зипуннишке, с опорками на босу ногу, изможденный продолжительностью трудного пути, со всеми признаками свихнувшегося пропойцы, безвозвратно втянувшегося в пьянство.

На прииске начинается изо дня в день, от восхода до заката, тяжелый, беспросветный, прямо нечеловеческий труд, в сравнение с которым каторжная работа является своего рода приятным бездельем. Во все время этого сплошного каторжного труда приискателю нередко удается заглушить жгучую действительность рюмкой разбавленной водки, добытой по баснословной цене от приютившегося где-нибудь по соседству в таежной глуши спиртоноса.

Подавленный тяжелой работой приисковой каторги, поедаемый в редкие часы отдыха жгучей, но сладкой мыслью о том, как он развернется и загуляет, когда вырвется из прииска и будет возвращаться домой, унося богатый заработок и припрятанные в потайных местах, скрытых от приисковой администрации, золотничные самородки или прямо скраденное золото.

После продолжительного жестокого труда, в течении иногда нескольких лет, связанного с невероятными лишениями, приискатель начинает готовиться к обратному пути на родину. Приготовления эти заключаются в том, что и без того нечеловеческий труд удваивается для увеличения заработка, обыденные убогие потребности урезаются до крайности, в чайники наверстать все это по дороге домой.

Приближается, наконец, желанный час свободы. Из отдаленного внешнего мира в глухую мрачную тайгу проникают первые проблески пробуждающейся весны, действующей прямо одуряющим образом на обездоленное приисковое население. Все рвутся из суровой холодной



тайги на простор открытого света и живительных ласкающих лучей весеннего солнца.

Собрав свое скудное имущество и получив расчет от приисковой администрации, приискатель с мизерной котомкой за плечами, но с туго набитым кошельком, весело и бодро покидает прииск. Углубившись в беспросветную тайгу, он наострившимся зорким глазом быстро находит свои зарубки на вековых стволах и по ним отыскивает припрятанное в разное время золото, которое еще более возвышает и без того приподнятое настроение духа, отуманенное сладкими мечтами о предстоящей привольной жизни.

Немногим, однако, удастся выбраться благополучно из тайги, где весь путь приискателя усеян бесконечными опасностями от бродячих по тайге инородцев или от сибирских варнаков, или даже от оседлых жителей придорожных деревень: все они, как хищные волки таежные, подстерегают в глухой тайге возвращения на родину приискателей, зная хорошо, что у каждого из них есть при себе хороший заработок; организуется правильная охота, и метким выстрелом из засады в глухой тайге несчастный приискатель делается жертвой своего заработка, добытого таким тяжелым кровавым трудом.

В Сибири, в устах народной молвы, живет немало таких преданий о прибыльной охоте на приискателей, устраиваемой в глухой тайге кровожадными таежниками. Котомки подстреленных жертв дикой алчности послужили основанием для многих разросшихся впоследствии богатств, и лишь одна тайга — вечно суровая, вечно молчаливая, — хранит мертвое молчание об их кровавом зародыше...

Подражая нашим доморощенным хищникам, многие инородцы в Восточной Сибири — гиляки, манегри, гольды и другие полудикие жители сибирской тайги, как много раз я убеждался в этом лично, применяют эту своеобразную охоту на приискателя в несколько иной форме, и, надо отдать справедливость этим диким детям тайги, они

несколько облагородили эту охоту на людей: они не убивают на авось — «авось» там найдется что-нибудь в котомке, как это хладнокровно проделывают наши таежники: инородец сначала долго, на протяжении нескольких верст, скрытно выслеживает приискателя и, убедившись окончательно, что он возвращается не с пустой котомкой, опережает путника, на едва заметной тропе, около переправы через реку или на горном перевале, расстилает платок или просто тряпицу, удерживаемую на земле наложенными по краям камнями. Увидев этот платочек на своем пути, приискатель знает, что недалеко, в лесной чаще, скрывается «хозяин» тайги, требующий выкупа. Приходится развязать котомку и отсыпать немного золотого песочка. Беда приискателю, если он оставит без внимания этот платочек: меткий выстрел инородца отдаст его в руки жадных хищников со всем его золотом.

После продолжительных странствований и бесконечных мытарств приискатель выбирается, наконец, из тайги на большую дорогу и располагается для отдыха в ближайшем селе. Здесь на приискателя организуется также правильная охота — не менее жадная, хотя и более утонченная, чем в недрах таежной глуши. Многие придорожные селения около богатейших когда-то Витимских и Олекминских приисков стяжали себе в этом отношении громкую славу на всю Сибирь. Сколько легендарных рассказов передается о жгучих и бесшабашных разгулах и диком развороте, происходивших в этих притонах во время прихода приискателей!..

\* \* \*

В Сибири существует еще многочисленный класс мелких золотопромышленников, испытавших на себе не раз всевозможные превратности судьбы. Точно неизбежное проклятие тяготеет над всем, что соприкасается с добыванием золота из недр земли, — точно злая ирония судьбы

насмехается над полной превратностей жизнью людей, заставляя одних изнемогать под тяжелым ярмом добывания золота — этого волшебного двигателя нашей жизни, отдавая все ее блага жуирующим где-то вдали собственникам этих приисков, неведомым баловням судьбы, никогда быть может не выдавшим, каким кровавым потом орошается эта роковая добыча.

За все время моей жизни в Сибири мне ни разу не приходилось видеть или слышать про основанные прочно богатства, источником которых служило бы непосредственно золотое дело. Зато противоположные примеры поражают в Сибири чуть ли не на каждом шагу. Зимой 1888 г. мне показывали в Иркутске нищего-старьевщика, который незадолго перед тем, *в течение 6–7 месяцев*, видел себя нищим спиртоносом, затем богатым миллионером-домохозяином, выезжавшим в Иркутске на тысячных рысаках, а через некоторое время опять нищим спиртоносом, бросившим, наконец, свое опасное ремесло, променяв его на продажу старья на базаре.

Происхождение скоротечного богатства объясняется весьма просто — условиями быта приисковых рабочих. Привоз или продажа спиртных напитков на прииски строго запрещается: за этим зорко следит приисковая администрация при помощи горной милиции. Между тем, рабочие на приисках, никогда не брезгующие выпивкой, рады бы оживить свой каторжный труд рюмочкой живительной влаги, за которую готовы расплачиваться припрятанным где-нибудь золотом. Вот и являются на помощь *спиртоносы*, представляющие собою в таежной жизни особый вид приискового хищника. Имея за спиной небольшую котомку, в которой далеко, в тряпье, тщательно запрятана бутылка спирту, спиртонос с невероятными трудностями и лишениями, встречая на каждом шагу опасности всякого рода, долго пробирается по таежной глуши, пока доберется до намеченного прииска.

О прибытии спиртоноса, притаившееся где-нибудь недалеко от прииска, в невероятных трупобах, дается знать на прииск условными приметами, — не всем, конечно, а лишь знакомым, доверенным рабочим. Тогда со всевозможными ухищрениями, скрытно от зорких глаз милицейских казаков и приисковой администрации, начинается оживленный обмен золота на разбавленный до последнего градуса спирт. Окончив свою меновую торговлю, спиртонос возвращается опять за товаром; но... на обратном пути на спиртоноса устраивается со стороны таежных хищников такая же кровавая охота, какой подвергается приискатель, с целью поживиться имеющимся у него золотом, и его часто постигает та же участь.

Так, вообще, ведут свою опасную деятельность спиртоносы начинающие. Более расторговавшиеся прибегают к более хитрым приемам: они делают заявки на участки, расположенные по соседству с богатыми приисками, на которых рабочее население доходит до 5, а иногда до 10 тысяч человек; ставят на свои участки несколько человек рабочих, в качестве, будто бы, разведчиков, и под этой ширмой выменивают золото на соседнем прииске на разбавленную наполовину водку.

Вот такой-то спиртонос, во время своих мифических разведок на отведенной ему площади по соседству с Олекминским прииском, неожиданно наткнулся на богатейшее месторождение жильного золота. Одурманенный внезапно нахлынувшим счастьем, бедный спиртонос не сумел справиться с привалившим к нему счастьем, был высоко подброшен всеильной фортуной на головокружительную высоту, на которой он удержался недолго и с такой же стремительной быстротой грохнулся вниз, — еще ниже, чем лежал раньше, и опять взялся за знакомую котомку с бутылкой спирта. Но не стало уже прежнего рвения: ослепленный блеском промелькнувшего мимо него счастья, бедный спиртонос не мог уже разыскивать в мрачной тайге

когда-то так хорошо известные ему проторенные тропинки. И вот мы видим его, в приведенном выше примере, продающим на базаре в Иркутске старое тряпье, подавленным всей тяжестью изведенного им скоротечного золотого счастья.

Я привел здесь наиболее рельефный из известных мне примеров; но, как я заметил выше, в Сибири нетрудно встретить на каждом шагу и во всевозможных профессиях и слоях общества людей, жестоко наказанных судьбой за добычу презренного металла из недр земли. Эта самая земля — наша общая мать-кормилица — точно мстит человеку, когда он пытается извлекать из нее золото вместо хлеба.

\* \* \*

Наиболее яркую картину приискательской жизни в грандиозных размерах показала нам история Желтугинской республики, прогремевшая в свое время на весь мир, — как вслед за Желтугой прославился Клондайк.

Желтугинская история разыгралась в 1887 г.; так что ко времени моего приезда в Забайкалье, на следующий год, там еще густо носились остатки одуряющего угара, навеянного желтугинским золотом.

В 1887 г. разнеслась по Амуру глухая молва о каких-то приисках с баснословным содержанием золота, открытых на китайском берегу Амура, против нашей Игнашинской станицы. Раньше всех на богатую и легкую добычу кинулись гольды, а также наши казаки с соседних поселков; потом сюда стали стекаться беглые каторжники и китайские хунхузы (разбойники) из Сунгарийского края.

Молва о «бьющих из-под земли фонтанах с золотым песочком» росла по Амуру с быстротой молнии. Потянулась на Желтугу из отдаленных концов Амура, с нашей и китайской стороны, не только всякая вольница, но даже степенные купцы, домохозяева, — был даже среди них слугитель алтаря, тоже соблазнившийся перспективой лег-

кой и быстрой наживы. Бросались дома, семьи, хозяйство. Все это объясняется действительно богатейшим содержанием золота, случайно открытого в местности почти совершенно безлюдной, находившейся вне всякого контроля каких бы то ни было властей.

В короткое время на Желтуге оказалось около 3–4 тысяч отчаянных голов, среди которых можно было встретить кровожадных китайских разбойников, делящих добычу с казаками, или отставленного от службы исправника, работающего о бок с беглым каторжником, бежавшим с Сахалина.

Все это лихорадочно работало, и не без успеха, так как самый плохой работник, промывая турфы примитивнейшим способом, намывал 5–6 золотников золота в день.

В интересах общественной безопасности это буйное и разноязычное население выбрало из своей среды 5 директоров, которым вручило власть над собою, — власть на жизнь и на смерть, без всяких апелляций. Директора сочинили небольшой ряд устных законов, которые объявили приискателям, и с тех пор, как меня уверял главный директор, называвший себя даже президентом Желтугинской республики, на Желтуге водворился образцовый порядок, так как смертные приговоры произносились и приводились в исполнение в течении шести часов.

Так создалась Желтугинская республика, пока китайские власти, набравшись сил, не прогнали приискателей, которые, по словам «президента», не успели еще обзавестись собственным войском. Русское население разбежалось или прогнано было в русские пределы, а китайцы были большей частью переловлены и казнены «гильотиной», но на китайский лад: их по 15–20 человек привязывали головами, при помощи их собственных кос, к длинному бревну, затем тупым топором рубили головы...

Несмотря на эту кровавую расправу с приискателями, несмотря на то, что ни один желтугинец, сколько изве-

стно, не только не разбогател, но ни один из них не успел унести с собою хоть какую-нибудь толику того золота, которое действительно лилось тогда кругом бурным потоком, несмотря на все это, стоило лишь появиться на Амуре смутным слухам, что Желтуга покинута китайскими войсками, как из всех концов Сибири опять устремились туда всевозможные искатели легкой наживы, упоенные собственными воспоминаниями или отуманенные фантастическими рассказами других. Потребовалось вмешательство русских властей, чтобы отрезвить эти буйные головы.

Впрочем в Забайкалье, как и в других золотоносных районах Сибири, приходится часто слышать о разных Желтугах, вспыхивающих в разных местах отдаленной таежной глуши. Пока власти узнают про это, пока примут меры, да пока еще проникнут в эти таежные гнезда, а там — смотришь — уже организовано своеобразное самоуправление и идет лихорадочное добывание золота, которое еще более обогатит богатых, сделав несчастных добывателей еще более несчастными.

Вот как складывается бытовая жизнь в таких таежных труппах. Где работают хищники, существуют особые порядки, которые соблюдаются очень строго. Во-первых, если где-нибудь, кто-нибудь найдет золото, выгодное для работы, или прииск, оставленный без призора, о том немедленно, как по беспроволочному телеграфу, становится известным тайге, как хищникам, так и рабочим на приисках. И тогда со всех сторон, как перелетные птицы, начинают собираться таежные волки.

По прибытии первых партий выбираются старшина, сотские и десятские, сборщик податей и назначается место для сходов — «орлово поле». Около этого поля ставятся общественные постройки или балаганы: дом для старшины и десятских, баня, трактир, амбар для товаров и прочее. Одновременно дается знать о месте прииска доставщикам про-

дуктов и спиртоносам. Везется на прииск все, что только может потребоваться: всякая провизия, спирт, ханшин (скверная китайская водка), опиум и непременно карты.

На вновь открытом прииске разбивается площадь на пайки. Всякий вновь прибывший имеет право занять себе место, не ближе известного расстояния от ранее занятых. Живут кто как хочет. Паспортов, конечно, ни у кого не спрашивают — это даже считается личной обидой.

Когда работы начались, начинается отправление службы выборными властями, которые получают жалование от общества. Бюджет составляется из сборов и обложений разного рода; причем известная часть уделяется на содержание больших, в фонд взяток властям и т. п. На этот последний предмет, а также и для того, чтобы своевременно извещать хищников о движении отрядов или намерениях начальства, на всех нужных пунктах содержатся свои хищнические комиссионеры.

Они отправляют корреспонденцию по тропкам, известным только хищникам и спиртоносам. На этих таежных тропах ставятся иногда особые караулы. Одним словом, дело организовано так, что властям нет возможности нагрязнеть внезапно.

Десятники на приисках смотрят за порядком, за чистотой, чтобы не было драк или беспросыпного пьянства, чтобы трактирщик умеренно подливал воды в спирт; они обязаны иметь запас розог и пороть виновных по приговору суда и схода. Судьи выбираются «громადой», и всякий обвиняемый или истец может отвести судью, если сомневается в его беспристрастии в силу старых счетов. Приговор суда подтверждается «громადой» по большинству голосов. За преступление против товарищей, или за донесение начальству, суд бывает тайный, и приговор виновному не объявляется: он просто пропадает без вести, где бы он ни был, и разве от него оставят ногу, руку или другую видную часть тела для назидания другим.



Если кто из хищников бесспорно пьст и ленится, того выгоняют из прииска. Женщин на прииск обыкновенно не допускают, а если где изредка попадется, то за распутство их угощают розгами и выгоняют. Распутство, вообще, не допускается, а баб так мало, что, конечно, осчастливленных их благосклонностью будет очень немного; поэтому, как и в Запорожской сечи, женщины в тайгу не допускаются вовсе.

За прошлые преступления, вне тайги, хищники не судят; но за всякий проступок в тайге пощады не бывает. Таежный кодекс невелик: всего только три статьи, или, вернее, три степени наказания: первая — «на лед», т. е. выпороть; вторая «на лед и вон», т. е. выпороть и изгнать, и третья — «прикрыть», т. е. прикончить, убить.

Каждая артель свое золото хранит у себя или сдает на хранение старшине, а иногда командирует от себя доверенного для продажи на ближайшие прииски.

Вообще, нужно сказать, что порядок среди таежных хищников образцовый, поддерживаемый строгой дисциплиной и суровым судом, а — главное — тем, что сами хищники сознают необходимость исключительного порядка при такой исключительной обстановке.



---

## Глава VIII

### Служба на Дальнем Востоке

*Проезд наследника Николая. Мои дальние поездки верхом. Общественная жизнь в Чите. Воспоминания о декабристах. Поездка с золотом в голодный 1890 год. С Приамурским генерал-губернатором в Петербурге. Забавная система назначений на окраинах. Мое назначение во Владивосток. Морское путешествие вокруг Азии с эшелоном новобранцев. Жизнь и служба в урочищах Дальнего Востока. Японско-китайская война 1894 г. Моя Маньчжурская экспедиция.*

---

Начало моей службы в Забайкалье совпало с проездом через Сибирь наследника, впоследствии императора Николая II. Местные власти были всецело поглощены этим проездом, и все прочие вопросы и начинания, касающиеся жизненных потребностей края, были забыты либо отложены в долгий ящик. Патриотическая печать в Европейской России разукрашивала тогда этот проезд наследника, как событие чрезвычайно благодетельное для Сибири, где попутно, будто бы, были подняты и решены, в интересах Сибири, многие местные вопросы. В действительности все это было наоборот: никакие вопросы не были и не могли быть подняты, потому что лица свиты, сопровождавшие наследника\*, отличались на редкость бездарностью, пустотой и невежеством, а деятельность местной

---

\* Молодые гвардейские офицеры: князь Кочубей, князь Оболенский и Волков.

администрации, как я заметил выше, была поглощена проездом и совершенно парализована в отношении нужд края. Напуганные «покушением» в Японии, местные власти были озабочены одной мыслью — как бы сошло все благополучно, поскорее бы проводить и сдать в соседнюю область.

Ждать что-нибудь от самого наследника, конечно, нечего было и думать. Да если бы даже он был десятью головами выше самого себя, он, все равно, не мог бы вынести ничего из своей поездки по Сибири, потому что он быстро промчался по тракту; во многих городах даже въезд и выезд были устроены для него не там, где все смертные въезжают и выезжают: где были пустыри — поставили досчатые заборы, притом разукрашенные.

В Чите, где из-за песчаного грунта не принимается никакая растительность, постарались, все-таки, вокруг войсковой часовни возвести «сад», — насажены были елки и березы на время проезда. Видя эти древесные насаждения, адмирал Басаргин спросил казака-садовника: «Что же у вас эти деревья тут принимаются?» — «Как же, Вашеество, беспрерывно принимаются, как только проедут». Этот «принимающийся» садик, в сущности, представлял собою символическое изображение всего проезда наследника по Сибири. Все носило декоративный характер, — как в свое время проезд Екатерины II на юг России.

Вообще, у наследника должно было составиться неверное и превратное суждение даже о внешнем виде сибирских городов. А что касается ознакомления с жизнью и особенностями Сибири, то — вот пример: приамурским генерал-губернатором мне приказано было составить специально для наследника книжку о статистике, истории, этнографии и производительности Забайкалья, но... «без цифр, без пожеланий и без заключений»...

А, между тем, впоследствии, будучи царем, Николай II мнил себя знатоком Сибири.

В нашей военной жизни, зимой 1889 г., выдающимся событием явилась наша дальняя поездка верхом из Читы в Стретенск и обратно, под предлогом приноса старых знамен, а в действительности просто в виде спорта. Дело в том, что газеты тогда прогремели на всю Россию о приезде верхом из Благовещенска в Петербург амурского казака Пешкова. Брусилов под Варшавой тоже совершал верховые поездки. Словом, была мода тогда на дальние поездки верхом, чтобы демонстрировать выносливость строевых лошадей и людей.

Барон Корф, войсковой наказный атаман, протелеграфировал нашему Хорошхину: «Смотрите каковы амурские казаки! Что же забайкальцы?»

Забайкальцам тогда захотелось побить всякие рекорды: и я, совместно с взводом казаков и оркестром трубачей, пустился верхом из Читы в Стретенск при морозе в 25 градусов, при сильном встречном ветре, который, как ножом, резал лицо и руки. Отмахали мы, таким образом, 720 верст, делая в день 45–60 верст, с одним только двухдневным отдыхом в Стретенске.

Только забайкальская лошадка да наши молодые годы могли проявить такую выносливость!

Впрочем, забайкальскую лошадь приучают к такой выносливости довольно диким приемом: зимой подвергают лошадь хорошей гонке — до потения, потом окачивают водой и так оставляют на привязи под открытым небом; лошадь покрывается тонкой ледяной скорлупой, и потом никакой мороз ей нипочем.

В нашей общественной жизни в Чите стоит отметить весьма добрый почин моей жены, которая, совместно с женой медицинского инспектора, доктора Алексева, основала благотворительный кружок, имевший целью снабжать теплой одеждой жен и детей проходящих каторжных партий. Благодаря служебному положению мужей, нашим дамам открыт был всегда доступ в тюрьмы, и они прино-

сили обездоленным судьбой, вместе с теплым платьем, теп- лое участие и утешение в их мрачной жизни. Кружок наш получил известность и в Москве, и в Англии, откуда стали присылать обильные пожертвования натурой; так что наши дамы с трудом могли управиться со своей задачей, работая очень усердно.

Я был первым офицером Генерального штаба, появив- шимся на службе в Забайкалье, поэтому начальство поже- лало использовать мою подготовку для исследования края. Мне поручено было обрекогносцировать и составить опи- сание сибирского тракта в пределах Забайкалья. Это была работа месяца на два, и, для сокращения расходов, — что- бы не жить на два дома, — я решил пуститься в эту поездку вместе с женой; а чтобы не тратиться на прогоны, купил за выданные прогонные деньги собственную тройку лоша- дей. В этой моей политической экономии я забыл сущий пустяк — что лошадей надо будет кормить; поэтому в ре- зультате я потерпел финансовый крах.

Все же результатом моей поездки был печатный труд, в который, между прочим, я включил статью о климато- логии Забайкалья, — выводы из найденных мною зареги- стрированных наблюдений декабристов и ссыльных по- ляков за 35 лет.

Во время этой поездки я, между прочим, был гостем в Онинском «дацане» (буддийский монастырь у бурят), где для меня устроено было торжественное богослужение, — даже с чаепитием в храме; буддийские ламы в дацанах, как и магометанские муллы в кумирнях, не прочь поба- ловаться чайком во время богослужений. В дацане мне показали все — даже и то, что скрыто от глаз богомоль- цев, а именно: отделение богов — «докшитов»; это изоб- ражение бурханов, одержимых сладострастными поро- ками в таких диких, фантастических видах, которые мо- жет придумать только необузданно-пылкое воображение азиатов.

Зимой 1890 г. приамурский генерал-губернатор барон Корф отправился в Петербург с большой свитой. Вскоре и меня вызвали в Петербург, куда я отправился с караваном золота, состоявшим из 13 троечных кошевок, по 25 пудов золота в каждой. Эта памятная поездка зимой, о которой я уже сказал несколько слов выше, оставила жуткое воспоминание на всю жизнь. Достаточно сказать, что когда мы прибыли в Тюмень, конечный пункт путешествия на лошадях, то ехавший с нами есаул Иванов, измученный, как и я, бесконечной ездой на лошадях, войдя в вокзал Екатеринбург-Тюменской железной дороги, настолько ошалел от радости, что стал обнимать и целовать колонны и стены вокзала.

Увы! Мне предстояло еще вспомнить добром это минувшее путешествие на лошадях по сибирскому тракту, когда мне пришлось в Екатеринбурге снова пересесть в сани, чтобы добраться до Златоуста. Тут-то я вспомнил записки декабристки Францевой: «Злая Сибирь-то не по ту, а по сю сторону Урала!»

Ограничиваюсь этой краткой характеристикой, не вдаваясь в подробности пережитых личных невзгод. Но не могу не упомянуть здесь об ужасном голоде, свирепствовавшем тогда в Западной Сибири и во многих местах Европейской России. Это была знаменитая, недоброй памяти, зима 1890–1891 гг. Почти на всех почтовых станциях Западной Сибири нас осаждали изголодавшиеся просители, которым мы постепенно роздали все имевшиеся у нас запасы.

Чтобы судить о том, как власти справились с задачей по оказанию помощи голодающему населению, я приведу следующие факты, которым я был очевидцем.

По дороге в Екатеринбург я задержался на несколько дней у известного богача Поклевского-Козелл. Ожидался туда приезд высочайше-уполномоченного, светлейшего князя Голицына, который должен был решить на месте все

вопросы о голоде, распорядиться о заготовках и т. п. И вот, при мне Поклевский-Козелл получает телеграмму от пермского губернатора, в которой губернатор в завуалированном виде просит «ориентировать» князя Голицына и «показать» ему голод...

Соль этой телеграммы заключалась в том, что Поклевский сам вел тогда обширные хлебные заготовки для снабжения зерном своих водочных заводов, составлявших основу его богатства; ему поэтому очень интересно было «показать» голод Голицыну в желательном виде. Пермскому губернатору это отлично было известно, и он не мог не знать, что «ориентирование» Поклевского будет заведомо односторонним.

И действительно, сам я был очевидцем, как в Омской и Тобольской губерниях, отличавшихся всегда баснословной дешевизной жизненных продуктов и завидной зажиточностью населения, теперь изголодавшиеся жители толпами выходили на тракт, чтобы выпросить кусок хлеба у проезжающих. А Голицын, вместо хлеба и помощи, надеялся всех ругательствами, называя голодных крестьян лодырями и лентяями, заряющимися на даровой казенный хлеб.

В Златоусте я увидел другую печальную картину. Туда распоряжением губернатора согнали около полутора тысяч подвод для вывозки ожидавшегося по железной дороге хлеба. Вся местность около вокзала была запружена санями и лошадьми. Чиновники, однако, плохо рассчитали время прибытия зерна по железной дороге, и собрали подводы слишком рано. Между тем фуражный голод свирепствовал тогда еще сильнее хлебного. Лошади стали падать от бескормицы. Иные крестьяне заливались горячими слезами, видя, как падает одна лошадь за другой.

А в то же время тут же, на вокзале, шло разливанное море шампанского: инженеры и чиновники чествовали обедом другого высочайше-уполномоченного, флигель-адъютанта полковника Александровича, который в ярко

освещенной зале, за столом, уставленным всевозможными яствами и бутылками, заплетающимся языком повторял все одну и ту же фразу: «вы только, пожаалуйста, леба нам поскорее дайте, — хлеебааа»...

Это был настоящий пир во время чумы.

В январе 1892 г. я прибыл в Петербург. Барон Корф был тогда в большом фаворе у Александра III, несмотря на то, что он носил немецкую фамилию, которые не считались тогда аванажными. Как только освобождалась какая-нибудь министерская вакансия, сейчас же Корф являлся первым кандидатом. Ушел тогда министр путей сообщений, и сейчас же выдвинута была кандидатура Корфа, хотя все его знания в этой области ограничивались тем, что он начал службу в саперах. Можно, однако, быть уверенным, что если бы назначили Корфа хозяином не только всех наших сообщений, но в какое угодно ведомство, он бы всюду управился с любым делом.

Это был администратор с большим государственным умом, умевший схватывать на лету любые сложные вопросы. Возник, например, тогда вопрос о введении воинской повинности среди бурятского населения. Мне поручена была разработка этого проекта, над которым я трудился несколько месяцев. Получился весьма объемистый фолиант, с которым барон Корф не был, конечно, знаком. Накануне заседания междуведомственной комиссии, в которой Корф должен был председательствовать, я попытался ознакомить его с выработанным проектом, но помешали какие-то спешные дела, и только перед самым заседанием комиссии, в какие-нибудь 30–40 минут, Корф уловил, казалось, кое-что из составленного мною проекта. Оказалось, однако, что Корф сумел схватить и усвоить всю суть дела настолько, что во время заседания можно было думать, что не я, а он разработал этот проект.

Замечу мимоходом, что из моего проекта ничего не вышло. Пронюхали как-то буряты о готовящейся грозе и



прислали в Петербург депутацию, хорошо снабженную всем необходимым в этом случае, и проект канул в Лету. Несколько раз я спрашивал барона Корфа об участии проекта, и однажды получил ответ: «А мы его в песок».

Помимо всего, барон Корф был в высшей степени симпатичным начальником, любимым всеми подчиненными, в нужды которых он входил с отеческой заботливостью. Понадобилось для поправления здоровья послать на юг одного из адъютантов, а средств для этой поездки у него нет — и Корф командует этого офицера в Крым... «для изучения виноделия и культуры винограда». Это для Амура-то, где и капуста иногда не вызревает за ранними утренниками! Меня тоже Корф командировал на Дон, для изучения мобилизационного дела в Донском войске, что одинаково полезно было как для службы, так и для меня лично, ввиду необходимости лечить жену в Сакках.

Прошло уже месяцев восемь, как Корф со своей многочисленной свитой сидел в Петербурге, якобы для «проталкивания» разных проектов по управлению Приамурским краем; а в действительности, конечно, потому, что гораздо интереснее сидеть в Петербурге, чем в Хабаровске. Вспомнило об этом «Новое Время» и открыло травлю весьма коварным вопросом: Если приамурские администраторы сидят по 8 месяцев в столице, да на путешествие туда и назад требуется 4 месяца, то когда же они управляют своим краем?

Пришлось всем нам взяться за укладку чемоданов.

Но не успел еще Корф уехать из Петербурга, как туда приехал генерал Хорошкин, забайкальский губернатор, тоже имея в багаже целый ворох проектов для реорганизации своей области. Меня снова задержали в Петербурге, против чего я, конечно, ничего не имел.

Это было забавное административное толчение воды в ступе, с немалым, однако, изъясном для казны и для дела. Вышние администраторы, при назначении в Сибирь, и в

особенности на Дальний Восток, получали очень большие прогонные, подъемные и пр., с обязательством за то службы на местах в течении трех лет. Если бы эти администраторы доподлинно высидели на местах полные три года, то и тогда эти прогоны и подъемные составили бы весьма солидную прибавку к многотысячным окладам, которые они получали; но в действительности получался оборот несравненно более выгодный. Получив 7–10 тысяч прогонных и подъемных, администратор приезжал в свое воеводство не ранее 5–6 месяцев после своего назначения; время это уходило частью на предварительное «ознакомление с краем» в министерствах, частью на продолжительное путешествие в «дальнюю сторонку». Затем, по прибытии на место, первый год знакомятся с краем, собираются материалы, второй год пишутся проекты о реформах края, который, так сказать, стал уже близким, изученным и известным во всех подробностях. А в начале третьего года, т. е. ко времени окончания трехлетней выслуги, везутся проекты в Петербург, — опять, конечно, за прогоны и прочее.

Удастся или не удастся проташить проект в министерствах, что, разумеется, длится всегда очень долго, это неважно; главное то, чтобы остаться подольше в Петербурге, сохраняя все время свой привилегированный большой оклад окраины.

Когда дело близится к исходу третьего года, забывают совершенно про выработанные проекты, которые должны были облагодетельствовать высочайше вверенную окраину, и начинаются хлопоты о собственном благополучии: получить новое назначение, потому что трехлетняя выслуга уже кончилась.

Следует назначение нового администратора, и начинается та же сказка про белого бычка, — точное повторение пройденного.

За мою службу на Амуре, пять с половиной лет, там переменялось два генерал-губернатора и по два губерна-

тора в каждой области; причем все они точно повторили, один за другим, одну и ту же погудку — предварительное ознакомление, дальнейшее ознакомление, проектов составление, представление на усмотрение и получение нового назначения. При этом ни один из подобных проектов, привезенных в Петербург, в багаже, не избег тихих похорон в кладбищенских архивах разных министерств.

Такие же трехлетние выслуги установлены были законом и для низших рангов, для всех офицеров. Но в этих случаях закон соблюдался строго, даже с лихвой: служили не три, а трижды три года, ежедневно подмазывая тарантас, как выражались на Амуре, т. е. не расставаясь с издали мелькавшей надеждой, так или иначе, вернуться в Россию. Получалась такая аномалия: на высших должностях, где, конечно, требовалось более продолжительное время для ознакомления с обширной областью, администратор покидал край как раз в то время, когда едва успел в нем ориентироваться, тогда как служаки рангом пониже, в особенности строевые офицеры, работа которых всюду одинакова, были фактически закрепощены на далекой окраине.

Но такова уже была у нас гармония прежнего порядка: — высшим все блага земные и всякие префрансы; низшим — присяга, долг, надежды и — «будет с вас».

В январе 1893 г. я получил новое назначение — начальника военной канцелярии при военном губернаторе Приморской области, которым тогда был Унтербергер. Забегая вперед, я должен сказать, что вот должность, на которой буквально нечего было делать! Ну буквально нечего — никакой работы! Все это хорошо знали, но начальство удерживало эту должность, чтобы на этой вакансии производить лишнего капитана. Откровенное злоупотребление штатами, о чем скажу дальше.

К новому месту служения, во Владивосток, я отправился с эшелоном новобранцев в 1600 человек на пароходе

добровольного флота «Саратов», кругом всей Азии. В этом морском путешествии, продолжавшемся 43 дня, полагаю уместным отметить следующую черточку, характеризующую прежнее отношение к солдату. Это феерическое путешествие по южным морям и океанам, с заходом в разные порты, с посещением разных стран, преисполнено было, конечно, всевозможных прелестей. При заходе в попутные порты пассажиры, как и офицеры эшелона, сходили на берег, осматривали новые города, делали экскурсии и прочее. Это разрешалось всем, кроме... солдат и новобранцев, которых, согласно данной мне инструкции, выпускать на берег нельзя было. Сорок три дня эти люди томились в трюмах и на палубе, не смея выходить на берег, притом на виду крайне заманчивой и притягательной новой природы, новых мест, новых людей. Тяжесть этого лишения понятна только тем, которые испытали продолжительные морские путешествия, когда, после длительного пребывания в море, является непреодолимое, чуть ли не физическое, желание хоть на час-другой стать ногами на твердой земле.

И вот солдатам это почему-то было запрещено. По каким мотивам? Едва ли и составители инструкции могли дать разумный ответ. В этом просто сказался придушенный отголосок неизжитых крепостнических отношений к нашему простолыдину: что, дескать, нужно этим темным людям — на кой прах им там нужны эти Индия, Китай, Япония, — еще напьются, чего доброго, не оберешься хлопот. Таким образом, ради собственного призрачного спокойствия, держать 1600 человек в злой тюрьме в течении сорока трех дней.

Осенью 1893 г. я отправился в Никольск-Уссурийский, в 5-й Восточно-Сибирский стрелковый батальон для цензового командования ротой. Принял я роту от капитана Лечицкого, впоследствии сильно выдвинутого судьбой, не талантами, даже на пост главнокомандующего во время Великой войны.

Казармы батальона представляли собою обычные стоянки войск в Южно-Уссурийском крае, которые называются там урочищами. В зародыше эти урочища представляют собою простые биваки: двигается батальон походным порядком к намеченному пункту; пришел на место; командирруется «состав»; приступают к рубке леса и постройке временных бараков и землянок; затем одна за другой вырастают казармы, офицерские флигеля, хозяйственные постройки, солдатская слободка, является несколько китайских лавчонок, и с течением времени вырастает, почти изолированное от всего мира, батальонное гнездо, где копошится незатейливая жизнь о бок с заурядной службой.

Я упомянул сейчас о солдатской слободке. Стоит сказать два слова об этих слободках, которые в прежнее время, отчасти и теперь, придают своеобразный колорит батальонам на Амуре.

Это не те солдатские слободки, которые ютятся около некоторых полков на Кавказе, где оседали отслужившие свою срочную, а иногда и сверхсрочную службу полковые инвалиды. На Амуре слободки эти выросли благодаря тому, что, в интересах колонизации края, новобранцам разрешалось брать с собою своих жен. Таким образом, по соседству с каждым батальоном вырастала его солдатская слободка, которая причиняла начальству немало хлопот, потому что прекрасные обительницы в идиллических белых домиках манили постоянно людей из роты к романтическим приключениям; а эти приключения часто кончались жалобами на «кума».

В отношениях солдатских начальников к своим подчиненным тоже обнаруживалась часто романтическая подкладка. Наконец, начальство часто вынуждено было прибегать к медицинским осмотрам тех солдатских жен, которых, по солдатской поговорке, «вся рота хвалит».

Во время моего командования ротой вспыхнула Японско-китайская война. Я давно уже мечтал пополнить мою

академическую военную подготовку подлинной практикой военного дела. Война происходила тут, под боком, в близком соседстве. Случай казался очень подходящим, и я обратился с ходатайством по начальству, чтобы меня командировали на театр войны, без расходов казны. Мне ответили глухо, что надо сначала окончить годичное командование ротой. А когда кончилось мое командование — кончилась и война.

Во время моего командования ротой, зимой 1893 г., получил вдруг от своего прежнего начальства, генерала Хорошхина, из Ташкента, предложение перейти на службу в Туркестан, на что я охотно согласился, после чего сейчас же последовал высочайший приказ. С Амура, однако, меня не отпускали; вновь прибывший приамурский генерал-губернатор, генерал Духовский, предложил мне отправиться с особой экспедицией в Маньчжурию. Цель этой экспедиции была отчасти научная — составление первой карты Сунгарийского края, отчасти военная — осмотреть незадолго перед тем возведенные китайцами укрепления на реке Сунгари, отчасти торговая — оживить торговые сношения с Китаем.

Время для этой экспедиции оказалось удобным: правительство наше воспользовалось тогда благоприятно сложившимися политическими обстоятельствами, чтобы выговорить себе от Китая надлежащую компенсацию за помощь, оказанную Китаю при заключении с Японией Симоносекского договора.

Для экспедиции мне дали пароход «Телеграф», 18 конных казаков, чиновника-топографа, переводчика генерал-губернатора и еще китайского профессора для тонкостей китайского диалекта. Торговая часть этой экспедиции предоставлена была двум купцам, отправившимся вместе со мною: русскому купцу Богданову и известному на Амуре китайцу Тифонтаю.

Полагаю излишним вдаваться здесь в описание этой весьма интересной экспедиции, чреватой многими благо-

творными результатами: достаточно указать на выбор мною места для постройки города Харбина. Описание экспедиции дано было мною в свое время в официальных и неофициальных изданиях («Приамурские Ведомости», «Военный Сборник», «Исторический Вестник» и др.). Здесь ограничусь только краткими набросками бытовой стороны Маньчжурии того времени.

Китай теперь стал чуть ли не центром мировых событий, в которых особенно замешана наша Россия. Но что такое Китай, и какую цену имеют обуреваемые им события? Конечно, все то, что происходит на наших глазах, что не отошло еще в область истории — представляется нам всегда в преувеличенно-тревожном виде. В действительности, в теперешних китайских событиях, в сущности, мало нового.

Уже свыше полувека Китай притягивает к себе усиленное внимание всего мира; а между тем и поныне, как и прежде, он остается для всех все тем же неразгаданным сфинксом, жизнь которого и в прошлом, и в настоящем так мало похожа на все, что пережито и переживается остальным человечеством.

Не касаясь вовсе важнейших исторических моментов в жизни Китая, толкнувших Поднебесную республику совсем не по тем путям, как это в аналогичных случаях бывало с другими народами, достаточно указать на события, совершающиеся на наших глазах. Какие только катаклизмы, внутренние и внешние, не пророчат Китаю, видя, как эта гигантская мировая руина, скрывающая в себе целую треть населения всего земного шара, качается во все стороны при слабом даже прикосновении иноземных вооруженных сил. И, при всем то, все в Китае остается по-прежнему на своих местах.

Все говорят о мертвящей рутине, царящей в экономической жизни Китая, об окаменелых формах административного строя и т. п. И что же — в какие-нибудь 6–7 лет

после восстаний 1900 года Китай выдержал дважды нашествие иноземных завоевателей и успел в то же время из своей действительно разворованной казны выплатить европейским государствам огромные военные контрибуции с такой аккуратностью, как это в свое время давалось лишь богатой Франции.

А теперь? Засорившаяся веками, одряхлевшая, расшатанная машина государственного устройства все еще таит в себе достаточно стойкости, чтобы противостоять непрерывной гражданской войне и народным движениям.

Исключительный интерес представляет для нас теперь Маньчжурия, которая в лице убитого Чан-Тсо-Лина и захвата Восточно-Китайской железной дороги привлекает всеобщее внимание. полагаю уместным поделиться здесь сведениями, вынесенными из Маньчжурии, которые мало устарели для нашего времени, потому что они коренятся в вековых обычаях, нравах и традициях Китая. А Китай не такая страна, где подобные вещи меняются хотя бы по капризам прогресса\*.

Как известно, в Китае и шагу ступить нельзя без ведома местных властей. Это справедливо даже относительно туземцев, а иностранцу тем более не обойтись без поддержки или противодействия «нойонов» (чиновников). Все эти чиновники, как и всюду, меняются, конечно, более или менее часто, но все они — одного поля ягоды. По всему, что я читаю и слышу теперь про китайских чиновников и мандаринов, приходится все более и более убеждаться в том, что мало что изменилось там по сравнению с тем, что я видел во время моей экспедиции в Маньчжурию.

За редким исключением все эти нойоны отличаются продажностью и круглым невежеством в смысле какого бы

---

\* Все же напоминаю, что приводимые ниже наброски относятся к характеристике китайских администраторов в Маньчжурии 35 лет тому назад.



то ни было, хотя бы элементарного, понимания явлений природы. Образование многих, даже высших нойонов, мандаринов, занимающих видные административные посты, не идет дальше простой грамотности; а встречаются иногда и совсем неграмотные. Умственный кругозор ограничивается узким пониманием своих непосредственных интересов.

Чтобы составить себе понятие о невежестве даже высших китайских администраторов, с которыми мне приходилось знакомиться в Манчжурии, приведу следующие факты. Во время парадного обеда, которым чествовали меня в Сансине, местные администраторы во главе с «фудутуном» (губернатором), завязывали разговор о Японско-китайской войне; при этом мои собеседники обнаружили крайне смутное представление о японцах и Японии — несмотря на близкое соседство, расовое сродство, сходство культуры и языка и частое соприкосновение в течение многих веков. Главный помощник фудутуна, мандарин с красным шариком, значит 2-го класса, стал уверять, что японцам помогали какие-то «черные люди», которые высаживались вместе с японскими войсками в Инкоу. Трудно было разуверить мандаринов, что на материке Азии, по соседству с Японией, нет черных людей.

— А не знаете ли где царство лилипутов? — спрашивает меня сам фудутун.

— Как далеко от вас (т. е. России) «царство женщин»? — под которым, как оказалось, китайские мандарины разумели Англию, где царствовала тогда королева Виктория.

— Какие государства находятся по соседству с вами?

— Что находится после всех государств — вода?

Некоторые из моих собеседников обратились ко мне за разъяснением вопроса, вызванного рассказами того же главного помощника фудутуна о существовании государства, в котором живут люди с собачьими головами, уверяя, что он сам видел картинку, на которой изображены люди с собачьими головами.

На все мои доводы автор государства с собачьими головами сделал мне лишь небольшую уступку, признав, что такое государство несомненно существует, но государство, правда, маленькое — такое маленькое, что даже ученые люди не все знают про это государство. Это последнее было сказано, чтобы не обидеть мою ученость, потому что мое официальное звание перед китайскими администраторами значилось — «цанлинг-гуань», т. е. ученый чиновник.

Многие китайские чиновники обнаружили туманное представление о том, какому государству принадлежит Амур — английскому, французскому или какому другому. Впрочем, различать некоторые европейские государства, хотя бы по названиям, могут лишь наиболее ученые и развитые; прочие же, к которым принадлежит большинство, наравне с массой китайского народа, знают всех европейцев под одним названием «ян-гоузы» (заморские черти). Один начальник уезда (чжи-сян) очень удивился, когда узнал, что я с французскими миссионерами в г. Баян-Сусу разговаривал не на русском языке, а на каком-то другом: этот бюрократ был уверен, что все ян-гоузы говорят на одном и том же языке...

Такое круглое невежество со стороны китайских чиновников может показаться непонятным в стране, где первой ступенью всей иерархической лестницы служит, как будто, образовательный ценз. Но такие анахронизмы являются основой всего строя современного Китая, насильно разбуженного европейскими выстрелами, вытащенного на арену совершенно новой, чуждой для него жизни.

Общий внешний вид китайского мандарина, в его широчайших «паудза» и курме, с широчайшими висячими рукавами, производит впечатление крайней неуклюжести, которая, однако, требуется с точки зрения китайского этикета, для приданий пущей внушительности сановитой важности мандарина.

При выезде китайского чиновника его сопровождает всегда многочисленная дворня служилых людей, между которыми распределены разные обязанности: одни разгоняют толпу длинными хлыстами, другие носят особые вера и зонтики с надписью «дай дорогу»; один из свиты шествует с трубкой «даженя» («великого человека»), другой — с визитной карточкой и т. д. Все это окружено толпой конвоя, вооруженного большей частью допотопным хламом.

Эта нелепая церемония парадного выезда ревниво оберегается китайцами, по возможности, при всех случаях, даже при необычайной обстановке. Отдавая мне визит в Бодунэ, фудутуну нужно было проехать в лодке небольшое расстояние в 30–40 шагов, до парохода; сделать это при помощи моей пароходной шлюпки оказалось несогласным с китайским этикетом, так как «великий человек» очутился бы без зонтиков, вееров, алебард, пик, мечей и прочего сонма атрибутов его величия; поэтому фудутун распорядился доставить к месту переправы огромный, в высшей степени неуклюжий плашкоут, для управления которым требовались десятки рабочих.

На этот плашкоут поставили большой стол, покрытый грязно-красным сукном, полинялым и обтрепанным, а рядом поставили гигантских размеров кресло, нечто в виде трона, на котором «дажень» уместился с поджатыми, вывернутыми наружу ногами; позади столпились знаменосцы, с большими грязными флагами, алебардисты, пикonosцы и тому подобные воины в разнообразном обтрепанном обмундировании и с еще более пестрым вооружением, напоминавшим бутафорские принадлежности провинциальной сцены.

Впереди всех выдвинулся воин с зонтиком, раскрытым над головой фудутуна, а поодаль группировалась многочисленная свита чиновников с почтительно наклоненными головами, сложенными руками, погруженная в полное

безмолвие. Вокруг всей этой толпы, застывшей в своей напыщенной важности, кипела работа грязных полуголых перевозчиков, которые бегали и суетились по краю плашкоута, подвигая этот ковчег невероятно медленным черепашиным шагом, при помощи длинных шестов.

Знание обычаев и прав в Китае имеет весьма существенное, а иногда и практическое значение, так как от этого часто зависит успех деловых переговоров, не говоря уже про то, что незнание этих обычаев ставит иногда гостя в неловкое положение. Вспоминаю свой первый визит к китайскому фудутуну в Сан-Сине: встреченный многочисленной толпой чиновников, с самим фудутуном во главе, я вошел во внутренние покои и, не дожидаясь особых приглашений, сел за ближайший столик; за этим же столиком сел и сам фудутун; вслед затем слуга принес обычную при визитах чашку чаю, с которой направился прямо ко мне. Каково же было мое удивление, когда старик фудутун, вскочив со своего места и взяв поставленную около меня чашку чаю, поднес ее сидевшему за другим столом переводчику и сделал выговор прислуживавшему чиновнику за нарушение обычаев. Я спросил, что это значит. Оказалось, что при официальных приемах гости занимают места по степени их важности. Каково бы ни было значение гостей, внимание им оказывается в зависимости от того, какое ими занято место, которое, в смысле почета, представляет собою само по себе, так сказать, величину постоянную, независимо от того, кто там сидит.

Среди многих странностей китайского этикета нельзя не отметить необходимости обязательного опаздывания с визитом против назначенного часа. Приехать своевременно считается дурным тоном, и, в зависимости от степени напускной важности, требуется опоздать на полчаса, час, два и т. д.

Как у всех восточных народов, никто не может самовольно войти в жилую половину двора: требуется преду-

предить хозяина о своем посещении, послать визитную, и тогда лишь выходит хозяин, встречая гостя иногда у ворот. Затем, перед входом в каждую комнату, разыгрывается неизбежная утомительная сцена взаимных поклонов и упрашиваний войти первым.

Китайцы — народ очень гостеприимный, но лишь с казовой стороны, т. е. щедры на угощение лишь людей нужных, от которых можно ожидать реванш в той или иной форме. Искреннего, радушного гостеприимства у них нет и быть не может, так как оно было бы в совершенном противоречии с затаенной враждой, которую китайцы питают ко всем «ян-гоузам», вломившимся к ним насильно, в виде друзей или культуртрегеров.

Как бы то ни было, а мне лично, во время моей экспедиции, пришлось выдерживать бесконечный ряд званых обедов. При этом необходимо заметить, что званый китайский обед тянется 3–4 часа; так что, не желая отклонять поступавшие иногда с разных сторон приглашения, приходилось отбывать эти обеды с 7 часов утра до позднего вечера. В сервировке и внешней отделке блюд китайские повара большие мастера. Это одинаково относится как к обедам изысканным, так и к убогой трапезе простолюдинов: мне пришлось однажды видеть приготовление обеда китайской рабочей артели, в которой дневное продовольствие человека обходилось в одну копейку (20 чох); и при всем том морковь и свекла нарезаны были так художественно, что трудно было верить что это сделано было руками человека, а не машиной. Зато вся эта художественная стряпня была окутана таким душу выворачивающим смрадом, что непривычному человеку невозможно было тут задержаться больше одной минуты.

В отношении изобретательности китайские повара тоже далеко перещеголяли своих европейских собратьев. Мне пришлось однажды быть случайным гостем одного китайского чиновника средней руки. Несмотря на неожи-

данность моего посещения гостеприимный хозяин умудрился-таки угостить меня обедом из 24 блюд, которые все, без исключения, приготовлены были из одного поросенка: кажется, даже копыта были пущены в ход; а из крови каким-то способом приготовлены были два блюда в виде весьма красивых грибков.



---

## Глава IX

### С Дальнего Востока — в Среднюю Азию

*Прощание с Дальним Востоком. Признаки близкой войны. Два слова о моем кругосветном путешествии. Прибытие в Фергану. Жизнь и служба в Ташкенте. Генерал-губернаторы Вревский и Духовской. История с подарками бухарского эмира. Андижанское восстание. Убийство адвоката Сморгунера. Знакомство с опальным великим князем Николаем Константиновичем.*

---

Осенью 1895 г. я покинул Дальний Восток, где тогда уже ясно было, что там назревает столкновение с Японией в недалеком будущем. Стали появляться в крае японские офицеры все чаще и чаще — то в открытом виде, в качестве путешественников, то тайно, под видом парикмахеров, коммерческих агентов и проч.

Как это наше правительство не видело и пропускало без внимания то, что бросалось в глаза всем, служа постоянной темой для злободневных разговоров, просто уму непостижимо! Мало того. Когда после поездки в Корею и Японию предупреждали, что заметны признаки усиленных приготовлений Японии, чтобы взять реванш от России за вмешательство при заключении Симоносекского договора, то авторы таких докладов получали грозное замечание за «робость перед противником». А другие, как полковники Самойлов и Агапеев, впоследствии поплатились даже своей карьерой «за недостаток патриотическо-

го мужества», который усмеотрен был в том, что в своих докладах они предупреждали, что, по сравнению с Японией, Россия не готова к войне на Дальнем Востоке, — что вполне оправдалось на деле, к нашему несчастью.

Во время моего пребывания в Японии французский военный агент граф де Лябри устроил мне обед, на котором присутствовали также несколько выдающихся офицеров японского Генерального штаба, — т. е. такие, которые получили военное образование в Берлине и Париже. Эти офицеры не скрывали горечи и жалоб японцев на Россию, которая вмешалась в их распрю с Китаем и вырвала плоды всех их побед. Меня спрашивали, чем можно мотивировать нежелание России пустить Японию на материк Азии? Что можно было сказать на это, когда и в нашей военной среде на Дальнем Востоке мы, хотя и не дипломаты, спрашивали друг друга и доискивались разумных объяснений — какой вред может получиться для России, если Япония станет одной ногой на материке Азии, хотя бы и по соседству с Россией.

В эту эпоху, чреватую для нас впоследствии злосчастной Японской войной, Россия имела неудачных представителей на Дальнем Востоке, как в военном, так и в дипломатическом отношении. Весьма далекая от Японии Франция, военные интересы которой там были ничтожны, имела все-таки в Токио специального военного агента. А у нас тогда был один военный агент на Японию и Китай, полковник Вогак, которому, по многим причинам, интереснее было жить не в Японии, а в Шанхае; так что Япония, военное значение которой было для нас несравненно важнее, чем Китай, оставалась без всякого военного наблюдения с нашей стороны.

Посланником нашим в Японии был тогда М. А. Хитрово, которому не хотелось жить в «грязном» Токио, где только и можно было быть в постоянном контакте с японским правительством и следить за его внешней полити-



кой; он предпочитал жить в европейском квартале Йокогамы, где и проводил годы в абсолютном *dolce far niente*\*.

Это был типичный дипломат старой горчаковской школы, который убежден был в том, что роль посланника лишь представительствовать, но не трудовая и ответственная. Все же ему хотелось «раздвинуть наши границы» к югу от Амура за счет Китая. С картой в руках я старался убедить его, что это задача непрактичная, за отсутствием к югу от Амура каких бы то ни было естественных рубежей, в которые можно бы упереть новую границу с Китаем, — разве подвигаться дальше и дальше, до великой китайской стены, если эту руину можно считать пограничным рубежом в наше время; что нынешняя граница по Амуру, на которой, согласно договорам, Россия является исключительным хозяином, где далеко на юге нет никакого китайского населения — удовлетворяет наилучшим образом всем требованиям стратегическим, экономическим и всяким иным. Все же Хитрово с трудом соглашался с этими доводами и никак не хотел расстаться с мыслью «раздвинуться границу к югу от Амура».

Осенью 1895 г. я сдал отчет о своей Маньчжурской экспедиции и стал готовиться к отъезду в Туркестан, где я числился по службе уже больше года, откуда получались настойчивые протесты туркестанского начальства против чрезмерно продолжительного задерживания меня на Амуре.

Мне, однако, не хотелось, после долгой службы на далекой окраине, поступиться правом поверстного срока, по которому переезд из Владивостока в Туркестан должен продолжаться законных *семь* месяцев. Я выбрал поэтому путь круговой — вокруг света — через Японию, Сандвичевы острова, Америку, Англию, Францию, Италию, Германию, Австрию, Европейскую Россию, Кавказ, Закаспийскую область и Туркестан.

Что сказать о моем кругосветном путешествии, полном очень ярких, в свое время, калейдоскопических впе-

---

\* Сладостное безделье (*ит.*). (Прим. ред.)

чатлений? За 30 лет эти впечатления, конечно, изрядно потускнели, хотя и сохранились неприкосновенными в моих записных книжках. Но не считаю себя праве занимать читателя личными переживаниями давно минувших дней, не только потому, что они потеряли букет свежести — многое, напротив, приобретает поучительный интерес именно на фоне наших дней — а желая оставаться верным благому намерению: не задерживаться на личных переживаниях, если в них нет доли общественного интереса.

Весною 1906 г. я прибыл в Новый Маргелан. Первые годы моей службы, сначала на должности старшего адъютанта, а потом временным начальником штаба войск Ферганской области, протекали мирно и тихо. Я блаженствовал и упивался новыми климатическими условиями и богатством природы Туркестана, представлявшими собою полный контраст с суровым климатом и обездоленной природой Сибири. Вся же общественная жизнь протекала тускло и однообразно в отношении каких-нибудь занятий общественного характера — если не считать организованного нами, совместно с моей женой, музыкального кружка, который внес некоторое оживление в наше захолустье. Немало оживили нашу общественную жизнь инженеры-путейцы, понаехавшие тогда на постройку Андижанской железной дороги. Вне этих заурядных событий жизнь сочилась довольно монотонно, и сказать о ней нечего. Мои служебные поездки по Фергане дали мне возможность ознакомиться с этим краем, в особенности с знаменитыми Памирами, игравшими тогда выдающуюся роль в отношениях России и Англии.

Военным губернатором и командующим войсками области был тогда А. Н. Повало-Швейковский, обленившийся до последней степени. Достаточно сказать, что в дни моих докладов, по должности начальника штаба, приходя к нему в 11 часов дня, я часто вынужден был поднимать его с постели; он не только ничего не делал, но и не интересо-

вался ничем: даже большие доклады по принципиальным вопросам он подписывал не читая. Неудивительно, что он буквально проспал Андижанское восстание в 1898 г., которое вспыхнуло для него совершенно внезапно. Тогда, проснувшись, он не нашел ничего лучшего как вытребовать сотню казаков и, после того, когда войска уже подавили восстание, стал пороть туземных начальников направо и налево, без разбора. Его быстро тогда убрали.

Недолго мне пришлось сидеть в Фергане. В 1897 г. я был произведен в подполковники и переведен в Ташкент, где генерал-губернаторствовал тогда барон Вревский. Выдающиеся качества этого администратора в таком обширном крае, имевшем огромное значение во всех отношениях, заключались в том, что, как старый кавалерист, он хорошо ездил верхом, хотя ему было уже за 70 лет. зато вне верховой езды это был полный рамолик, одряхлевший душой и телом, не потерявший, однако, вкусовых ощущений молодости, если судить по тому, что в генерал-губернаторском доме жила его содержанка — англичанка мисс Хор, на всех правах жены генерал-губернатора, так как она принимала визиты дам, высших офицеров и чиновников, доминировала среди дам в официальных случаях и т. д.

Это предосудительное поведение генерал-губернатора нашло себе отголосок в «Новом Времени», где прежде всего тут усмотрели измену, — что в лице этой мисс Хор скрывается английская шпионка; и тогда барона Вревского сразу убрали. Назидательно было то, что полнейшее ничтожество барона Вревского как администратора было у всех на глазах — как на месте, в Туркестане, так и в высших административных сферах, в Петербурге, — и это нисколько не мешало его продолжительному и благополучному пребыванию во главе важнейшей и обширнейшей окраины; а то, что никому не было видно и было очень сомнительно, возведено было в капитальное преступление.

На место Вревского назначен был приамурский генерал-губернатор Духовской, который, следуя проторенной дорожкой окраинных администраторов, находился тогда в Петербурге, якобы для проталкивания в министерствах привезенных с собою реорганизационных проектов, а на самом деле для выслеживания для себя нового назначения, — что ему и удалось.

Зная меня еще по моей службе на Амуре, Духовской вызвал меня из Ташкента в Петербург. Находясь еще в Петербурге, новый генерал-губернатор начал управление Туркестанским краем до некоторой степени самоотверженным актом: мне приказано было составить всеподданнейший доклад, что генерал-губернатор полагает необходимым раз навсегда отменить традиционные подарки бухарского эмира вновь прибывающим генерал-губернаторам.

Дело в том, что эти скандальные подарки, воспетые в саркастической прозе и стихах, иллюстрированные даже в юмористической живописи, имеют свою очень пикантную историю. В Туркестане по рукам ходила серия юмористических рисунков, в которых изображено было, как предшественник Вревского, генерал Розенбах, со своей свитой, этими традиционными подарками чуть ли не до гола обобрали эмира; одному из адъютантов ничего не досталось, и он тянет с эмира штаны.

Вот, зная эти толки и пересуды, Духовской и хотел с первого шага проявить самоотверженное бескорыстие. Мой доклад был одобрен. Акт бескорыстия оценен в высших сферах. Высочайшим повелением подарки были отменены.

Здесь я вынужден, для цельности рассказа, перескочить немного через события и довести этот эпизод с подарками до финала. По прибытии в край, при торжественной встрече Духовского бухарским эмиром, этот последний во время «досторхана» (угощения) просил принять заготовленные подарки: богатые ковры, шелковые материи и про-

чье, что было сначала отклонено генерал-губернатором; но когда в свите узнали, что среди подарков имеется для жены Духовского очень ценное жемчужное ожерелье, то он, под влиянием, вероятно, своей супруги, раскаялся в своем опрометчивом бескорыстии и послал телеграмму военному министру Куропаткину, что эмир настаивает на принятии подарков, что отказ в их принятии, по утверждению эмира, будет для него оскорблением в глазах его подданных, так как это будет толковаться как немилость со стороны генерал-губернатора, и проч. Ответ Куропаткина был краток и внушителен: «считаю неудобным входить с новым докладом по состоявшемуся уже высочайшему повелению». Духовской повторил свое ходатайство, обещая передать подарки в благотворительные учреждения, и затем, не дожидаясь ответа из Петербурга, распорядился о принятии подарков. Кое-что было действительно передано в благотворительные учреждения из того, что «на тебе, боже»; но ожерелье и лучшие ковры были направлены по старой традиционной дорожке.

Впрочем, что говорить про подарки генерал-губернатору. Несравненно разорительнее для нищего бухарского народа были несметные подарки эмира, которые делались им во время приезда в Петербург Николаю II, царской семье и многочисленным высшим сановникам.

Возвращаясь к прерванному повествованию о нашем пребывании в Петербурге. Мы благодушествовали в столице под благовидным предлогом необходимости справок в разных министерствах, как вдруг — гром с чистого неба: получилась телеграмма об Андижанском восстании. Высшие сферы всполошились не на шутку, и мы оказались первыми жертвами этого восстания: Духовскому приказано было моментально ехать на действующий театр. Мы стали укладывать чемоданы, посылая проклятия восставшим халатникам, которые так неожиданно нарушили наше блаженное пребывание в Петербурге.

Вскоре по возвращении в Ташкент мне поручено было взять на себя редактирование «Туркестанских Ведомостей». Созданная по образцу обычных губернских ведомостей, газета эта в течении своего 30-летнего существования приобрела выдающееся положение среди нашей провинциальной печати, как в виду исключительного военно-политического и экономического значения Туркестанской окраины, так и благодаря некоторым талантливым редакторам с известными литературными именами, руководившим направлением газеты. Наконец, это все же был орган не губернский, а генерал-губернаторский. Должен сказать, однако, что ко времени моего вступления в редакторство газета очень захирела и представляла собою сухой официальный листок, выходивший 2 раза в неделю. Мне предоставлена была полная независимость относительно направления газеты, которая в короткое время совершенно преобразилась, стала выходить пять раз в неделю, завела отдел передовых статей и все прочие отделы больших столичных ежедневных газет. К моему большому удивлению, я стал получать из какого-то «Bureau de la presse», из Парижа, массу вырезок из всевозможных газет Западной Европы с перепечатками из моих передовых статей. Оказалось, что, считая «Туркестанские Ведомости» органом генерал-губернатора, т. е. «вице-короля» Туркестана по терминологии англичан, направляющего всю политику России относительно Индии (?), английские корреспонденты по телеграфу передавали выдержки из моих передовых статей в Лондон, а оттуда, конечно, они расходились по всей западноевропейской печати.

Заведуя влиятельным органом печати в крае, мне приходилось входить в соприкосновение с разнородными проявлениями жизни края. Нелегкая, — о, очень тяжелая — это была задача, не кривя душой стоять на страже правды и справедливости на окраине далекой, где не изжиты были еще заветы щедринских господ ташкентцев, где и среди

администраторов еще встречались старые могоикане из этой плеяды!

Пришлось мне стать белым вороном и среди моих товарищей, офицеров Генерального штаба, по поводу волновавшего тогда всех дела Дрейфуса. Заговорил во мне тогда голос крови? Несомненно. Но, вместе с тем, разве можно было мне, редактору главного печатного органа в крае, оставаясь честным человеком, разделять ходячее мнение, господствовавшее тогда в нашей военной среде, инспирированное заведомо лживыми сведениями «Нового Времени» по этому вопросу?

Случилось у нас и другое событие, при котором я опять пошел против общего течения. В зале суда, во время судебного заседания, командир казачьего суда полковник Сташевский выстрелом из револьвера на глазах судей и публики убил наповал адвоката Сморгунера, отца многочисленного семейства, редактора местной газеты «Русский Туркестан».

За что?

Просто за то, что Сташевскому *показалось*, что Сморгунер в своей защитительной речи сказал, будто бы, что-то оскорбительное для чести казаков. Было дознано и доказано, что Сташевскому только показалось и что он приписал Сморгунеру чужие слова. И этого было достаточно, чтобы убить почтенного местного деятеля, отца многочисленного семейства — потому что Сморгунер еврей. А в таком случае разве стоит долго раздумывать? В местной военной среде, не претендующей на широту взглядов, это гнусное убийство встретило даже одобрение, потому что с одной стороны — еврей, а с другой стороны — командир полка, «защищающий честь полка». Это скандальное убийство в зале суда прошло почти незамеченным в столичной печати; только покойный В. Г. Короленко откликнулся во внутреннем обозрении какого-то ежемесячника. Мне же в «Туркестанских Ведомостях» нельзя было оставаться нейтральным, и я реагировал по мере сил, хотя скромно и сдер-

жанно. Все же жаловались на меня Духовскому за мое «непонимание военных традиций и корпоративной солидарности». Жалоба эта, однако, не имела никаких последствий для моей редакторской самостоятельности.

Деятельность моя в области литературной и публицистической завлекла меня и дальше по этой дорожке. Выбрали меня редактором «Известий Туркестанского отдела Географического общества», а вслед затем и особого кружка местных литераторов, общими усилиями которых удалось издать «Туркестанский литературный сборник» в пользу прокаженных. Для издания этого последнего требовалась порядочная сумма, которую мы бы никогда не одолели; но вопрос финансовый решился очень просто, благодаря тому, что в начале Сборника помещено было литературное произведение жены Духовского. Приказано было рассовать книгу через аксакалов, амлякдаров и беков (администраторы туземного населения) по 2 рубля за экземпляр. Туземцы, конечно, не читали наши литературные шедевры, скрытые в сборнике, а платили только деньги; но ведь и деньги эти шли на их же прокаженных. Никому из участников этого сборника никаких гонораров не полагалось, за исключением только нововременского «Сигма», который в Петербурге примазался при издании этого сборника Девриеном.

Часто приходилось мне идти против господствовавшего течения, и немало я платился за это собственным благополучием и карьерой. Позднейшие события показали, что в некоторых вопросах государственного значения я не заблуждался. Воздержусь от повествования о разных мелочных событиях; укажу здесь только на вопрос капитальной важности, ввиду вкоренившегося в нашем общественном мнении убеждения о легкости для России вторжения в Индию. Целыми веками общество наше воспитывалось на идее о походе в Индию. Вместе с молоком матери мы всасывали взлелеянную мечту о распростра-



нении нашего оружия за Гиндукушский хребет, в самую колыбель человечества, в сказочную страну мировых сокровищ, чтобы попутно свести здесь все старые счеты с Англией.

Трудно сказать, на чем базировалась такая легкомысленная самоуверенность, которая не желала считаться ни с какими условиями географическими, стратегическими и иными. Плодилось немало невежественных и легковесных статей и брошюр, которые усиленно толкали Россию по направлению к Индии, насыщая наше общественное мнение опасными химерами.

Вот мне и хотелось вызвать «дискуссию» по этому вопросу в среде офицеров Генерального штаба. Для этого я просил разрешения начальства издать перевод на русский язык нашумевшей в Англии брошюры «Can Russia invade India». В ответ на мое ходатайство Духовской приказал мне сделать сначала сообщение в закрытом собрании, доступном только для генералов и офицеров Генерального штаба; а «там видно будет». Мне, однако, сейчас же после моего доклада видно было, что он не пришелся по вкусу, хотя никто ничего не возражал; а один из товарищей по Генеральному штабу, полковник Н. Н. Юденич — всегда прямой и откровенный — даже пожал мне руку, пробурчав, что давно надо было сказать то, что я высказал.

Понадобилась тяжкая для России катастрофа на Дальнем Востоке, чтобы наше правительство отрезвилось в своих пустопорожних угрозах относительно Индии. Только в 1907 г. — 10 лет спустя после моей проповеди в Ташкенте — заключено было англо-русское соглашение, в котором Россия откровенно, и раз навсегда, отказалась от всяких агрессивных намерений по направлению к Индии. Только тогда и оказалось возможным издать мою книгу «Соперничество России и Англии в Средней Азии». Тогда и министры, как Куропаткин, всегда бравировавший в во-

просе об Индии, умудренный горьким опытом, несколько поуменел, и в своем знаменитом «отчете», после Японской войны, он поет совсем с другого тона: «Те жертвы и опасности, которые мы испытываем или предвидим на Дальнем Востоке, должны были бы быть предостережением для нас, когда мы мечтаем о выходе к незамерзающим водам Индийского океана».

Мое выступление застрельщиком против господствующего течения стоило мне чувствительной неприятности. Ближайшим для меня последствием было то, что когда через некоторое время после моего доклада благополучно разрешился вопрос о командировании офицеров Генерального штаба в Индию — вопрос, возбужденный и муссированный мною же, — то послали не меня, вполне подготовленного для этой задачи, а полковника П-ва, заведомого пьяницу, который пропил свои прогоны даже не выехав из Ташкента.

Летом 1898 г. мне пришлось совершить поездку по Бухаре, где насмотрелся немало диких порядков, существовавших под эгидой и покровительством России. Не довольствуясь представленным отчетом, я подал по начальству конфиденциальную записку о Бухаре, из которой полагаю уместным привести здесь небольшую выдержку, в виду того, что указанные факты не потеряли интерес и поныне, прикрытые кричащими рекламами большевиков.

Много лет прошло после заключения с Бухарой «договора о дружбе» в 1876 г., поставившего эту страну под протекторат России. Благодаря нашему содействию и покровительству, и без того алчные аппетиты туземных властей вышли за всякие пределы; бедное замученное вековым деспотизмом население должно теперь платить вдвое, туземные власти так и говорят, что они должны брать двойную порцию — для себя и для своих покровителей, русских. В былое время в Бухаре постоянно, чуть ли не ежегодно, вспыхивали мятежи во время сбора податей, и это

обстоятельство служило для хищников хоть какой-нибудь уздой. Теперь и этого нет: туземные власти опираются на престиж России, а присутствие наших батальонов в Чарджуе, Керках и Термезе сдерживает всякие порывы населения. Так было при старом режиме; так и сейчас, судя по советским газетам. Все там по-старому. Русским властям до сих пор неизвестен действительный бюджет Бухары; прежде всего потому, что туземные администраторы держат все это в секрете; затем вся податная система, как в былое время так и теперь, базируется на первобытных началах, дающих широкий простор злоупотреблениям: центральные власти назначают беку сколько он должен внести в казну («токаран тартука»); а там — дери с живого и мертвого, сколько сумеешь.

Конечно, записка моя оказалась гласом вопиющего в пустыне. Ведь все были подкуплены эмиром — до императорской фамилии включительно. Что же, как не подкуп, были эти миллионные подарки, которые делались эмиром Николаю II, обеим императрицам, царским дочкам и т. д. под предлогом каких-то традиций или азиатских обычаев. Мне известно было, что начальство согласно было с моей запиской о необходимости упразднения опереточного бухарского войска, на которое эмир тратил ежегодно совершенно зря свыше двух миллионов рублей. Но эмир пригрозил «пожаловаться Марии Феодоровне», если он будет лишен своей армии; и перед этим остановились. Да и начальству, по-видимому, не хотелось ссориться с эмиром. В результате поплатился я один за свое выступление: признано было впоследствии невозможным командировать меня для сопровождения эмира в Петербург — командировка, считавшаяся выгодной в материальном отношении.

Нелишне сказать несколько слов о моих встречах с проживавшим в Ташкенте опальным великим князем Николаем Константиновичем. Одно время я жил в очень близ-

ком соседстве (двор к двору) с дворцом великого князя; так что невольно бросались в глаза обрывки внутренней жизни этого царского неудачника. А затем, при составлении Туркестанского литературного сборника, в который вошли также и его писательские перлы, мне пришлось и лично встречаться и беседовать с ним несколько раз.

В этом человеке удивительно уживались одновременно противоположные качества душевные и умственные. В простой беседе он умел прямо обворожить собеседника как утонченной любезностью, так и блеском ума. Но в то же время он иногда выкидывал такие «камуфлеты», которые прямо указывали, что у него в мозгах бывают какие-то вспышки и завирухи: вчера, в припадке хорошего настроения, он посылает даме из общества в подарок рояль; а сегодня, без всяких причин, посылает ватагу людей «отобрать рояль», и много тому подобного.


Во время генерал-губернаторства барона Вревского ему запрещалось жить в Ташкенте, потому что в разговорах с офицерами, преимущественно артиллерийскими, он щеголял иногда революционными мыслями. Он тогда поселился в Голодной степи, окружив себя опричниками из уральских казаков. Живя в степи, великий князь опростился до последней степени, отдавшись благой в сущности работе оросить Голодную степь, ухватившись за закон Ислама — «кто оросит» бесплодную землю, тому она и принадлежит». И тут тоже сказывались странности характера: тратя из своего бюджета на оросительные работы не менее 12 тысяч рублей в месяц, он в то же время не прочь был обсчитать рабочего хоть на гривенник. Приехавшего однажды к нему по службе военного врача, который ему чем-то не угодил, он приказал своим опричникам зарыть живьем; и те уже приступили к делу: только случай помог доктору спастись от такого разбойного самодурства.

Когда генерал-губернатором был Духовской, он разрешил великому князю жить в его дворце в Ташкенте. Он

тогда немного пришел в себя: стал появляться в военном собрании, искать знакомства с офицерами, преимущественно Генерального штаба, считая себя самого принадлежащим к этой корпорации, так как он проходил курсы военной академии. Недолго, однако, он держался в рамках приличий. Скоро опять впал в развратный и скандальный разгул всякого рода: будучи женатым, он на глазах жены обзаводится «бачем» (мальчиком). Не довольствуясь этим, он соблазнил 16-летнюю гимназистку, с которой хотел непременно повенчаться в церкви, имея тут же, в живых, законную жену. И это ему удалось бы — нашел для венчания и священника, и церковь — если бы не бдительность властей, которые накрыли всю эту великокняжескую операцию у дверей самой церкви, отняли невесту с ее предосудительной матерью и выслали их в Тифлис.

Все это произошло в то время, когда в Петербурге уже готовы были забыть все скандальное прошлое этого свихнувшегося Романова и даже разрешить ему на старость лет водвориться в столице. И он знал об этом благоприятном повороте в его судьбе на закате его жизни. И все-таки не удержался от нового скандала. После этой истории он потерял уважение в глазах всех и постепенно сошел на нет окончательно.





## Глава X

### На Кавказе

*Цензовое командование батальоном. Знакомство с великим князем Николаем Михайловичем. Обнаружение восточных пороков в батальоне и странный взгляд на это великого князя. Празднование 200-летнего юбилея. Трехдневное пьянство и жратва. Прощальное пьянство великого князя.*

---

Летом 1900 г. мне предстояло цензовое командование батальоном и для меня рождался вопрос — где отбывать это командование? В родном ли Московском полку, куда меня звали на праздник 200-летнего юбилея, или в одном из кавказских полков? В виду отдаленности Московского полка, расположенного в Холме, начальство разрешило командировать только на Кавказ, в 14-й гренадерский Грузинский полк, расположенный в Белом Ключе, Тифлисского уезда.

Командование это богато для меня не только воспоминаниями личного характера, которые, конечно, приводить не стоит, но весьма назидательными с точки зрения своеобразных условиях бытовых, общественных и административных того времени, о чем вкратце и хочу сказать несколько слов.

Начальником кавказской гренадерской дивизии был тогда великий князь Николай Михайлович, известный своей историей в кавалергардском полку, где за интриги частного характера во время командования эскадром офицеры полка отказались подавать ему руку. Обычно-

венных офицеров в таких случаях удаляют со службы, а великого князя «сослали» на Кавказ и вместо кавалерийского эскадрона дали в командование гренадерскую дивизию.

По прибытии моем в Тифлис мне сказали, что я обязан представиться начальнику дивизии, хотя, строго говоря, это не было обязательным по воинским уставам и нигде это не практиковалось; но здесь, сказали, это обязательно. Такова была великокняжеская традиция.

Впервые приходилось мне представляться — знакомиться, если хотите — с особами императорской фамилии. Преисполненный подобающего торжественного настроения я облачился в парадную форму и явился к великому князю. К моему крайнему удивлению великий князь принял меня в нижнем белье — буквально в ночной рубашке и кальсонах — усадил меня в хозяйское кресло, за письменный стол в своем кабинете; а сам, полуголый, с открытой мохнатой грудью, с толстой крученой папиросой в руках, с трудом взгромоздившись, почему-то, с ногами по-турецки в другое кресло, стал меня спрашивать-распрашивать и сам же отвечать про академию, про главный штаб, военного министра; и про всех он отзывался почему-то очень зло, ругательски, выжидая иногда какие-нибудь реплики с моей стороны. Но я слушал в полном недоумении. Что сие значит? Великий князь, и — такой революционер, фрондирующий так цинично, так открыто, притом — перед чужим офицером другого округа, которого видит впервые.

Битых два часа длилась эта оригинальная аудиенция. Я воздерживался от всяких реплик и суждений. После я узнал, что у великого князя это была обычная провокационная манера: если собеседник пытался тоже критиковать и ругать, в тон ему же, то он тут же обрывал; дескать, мне можно, а тебе нельзя.

На первых же порах моего командования батальоном я наткнулся в одной роте на пикантное происшествие, имев-

шее вполне *couleur locale\**; в этой роте обнаружилось, что взводный унтер-офицер из туземцев, одержимый неестественным пороком, насиловал молодых солдат своего взвода. Ротный командир доложил мне это на словах, не желая, почему-то, подавать официального рапорта, и уверял меня, что такие грехи и раньше случались в полку. Мне же, не привыкшему к таким обычным кавказским нравам, событие это казалось выдающимся по своей преступности. Произведя лично расследование и убедившись во всем, я сам подал рапорт по начальству, требуя предания суду этого унтера.

Дальнейший ход этого дела меня еще больше огорошил, чем самый факт обращения взвода солдат в гарем для своего командира. Приезжает в Белый Ключ великий князь на обычный инспекторский смотр. После смотра получаю служебную записку, что его высочество просит меня пожаловать по делам службы. В присутствии командира полка, полковника Суликовского, завязывается такой разговор:

— Зачем вы, полковник, подали рапорт об этой истории с унтер-офицером? Неудобно, знаете, поднимать бучу, скандалить полк, когда мы готовимся к празднику 200-летнего юбилея. Возьмите назад ваш рапорт. Вам, пожалуй, такие истории кажутся необычайными; а мы здесь к этому привыкли. Знаете ли, что в минувшем году у меня в дивизии не взводный унтер, а командир полка (Тифлисского), полковник Попов, попался в таком грехе: он насиловал вестовых и ординарцев, которых посылали к нему по ежедневному наряду. Я-то готов был простить ему эти шалости, — уж очень командир был бравый. Но история эта получила огласку на весь Кавказ, так что я должен был представить его к увольнению со службы. Но знаете что мне Куропаткин сказал, когда я был в Петербурге? — Напрасно, говорит, лишаете себя хорошего командира полка; не

---

\* Местный характер (*франц.*) (*Прим. ред.*)



Бог ведь какая важность это баловство, в котором он попался. В Туркестане, в период завоевания края, многие грешили этим делом — держали «мальчиков». Что поделаешь, коли нет женщин. А воевать ведь надо. А «без женщины мужчина, — что без паров машина».

Конечно, все дело с унтер-офицером кончилось ничем. Я ограничился тем, что перевел его в другую роту.

Все внимание полка, т. е. его командного состава, было поглощено предстоящим празднованием 200-летнего юбилея. Приготовления шли по широкому масштабу. Хочу здесь сказать несколько слов не о том, как праздновали этот юбилей в Грузинском полку — едва ли стоит того, чтобы запечатлеть это пьянство в памяти потомства — а необходимо сказать по поводу этих войсковых праздников вообще; потому что это была закоренелая язва, внедрившаяся в нашем войсковом быту под видом преемственных традиций.

Приготовления к празднику в Грузинском полку — как наверное и в остальных 21 полку, праздновавших в этом году 200-летний юбилей — начались задолго, лет за 7, за 8 до самого юбилея: с этого времени начали уже делать вычеты из офицерского жалованья. Ко времени юбилея эти вычеты образовали уже почтенную сумму, которая составляла все-таки значительно меньшую часть той суммы, которую предстояло заимствовать из хозяйственных сумм полка.

Не запомнил я, к сожалению, точных цифр, но не ошибусь, если скажу, что юбилейное празднование обошлось полку не меньше, чем в 150–200 тысяч рублей *прямых* расходов; одно издание истории полка с гравюрами, заготовлявшимися в Лейпциге, обошлось в 35 тысяч рублей; реставрация полкового собрания стоила 10 000 рублей, при даровом солдатском труде; многочисленные делегации и гости, съехавшиеся к празднику, в течении 3–5 дней и ночей ели, пили и пьянствовали за счет полка.

В течение недели приходили обозы со всевозможными продуктами: сотни пудов мяса, окороков, битой птицы;

десять пудов зернистой икры. У меня не сохранилась, к сожалению, точная запись всех продуктов и вин, съеденных и выпитых за эти дни; но количество было так поразительно, что оно тогда же, непосредственно после праздника, показалось мне легендарным; но подтвердилось вполне после проверки в хозяйственной части полка.

И этот преступный разгул, эти узаконенные жратва и пьянство происходили в такое время, когда в России во многих местах крестьяне, наши кормильцы, пухли с голоду от недорода.

Я всегда усердно, и не всегда напрасно, боролся против этого зла, укоренившегося в нашем военном быту под видом священных традиций, а в сущности — только в силу склонности к разгульной жизни, в особенности, если возможно придать этому вид традиционного священнодействия. В 1898 г., когда во многих местах свирепствовал голод, я в редактируемой мною газете обратился с воззванием к войсковым частям: отказаться от узаконенного пьянства по случаю праздников, обратить ассигнованные суммы на пользу голодающих, ограничить войсковые праздники молебном, парадом и улучшенной пищей для солдат. Многие части откликнулись на мой призыв; и я был безмерно счастлив за каждую сотню рублей, которая направлена была голодающим.

Здесь, в Белом Ключе, о таком радикальном повороте нечего было и думать. Одну, впрочем, уступку грузинцы решили сделать в этот праздник, как дань скромности, приписав это тоже традиции: не пить шампанского, а ограничиться исключительно кахетинским вином. Дело в том, что в бывшее командование полков князя Барятинского шло, однажды, гомерическое пьянство в полку, и когда все допились до последней бутылки шампанского, то господа офицеры во главе с командиром полка решили устроить этой бутылке торжественные похороны. При церемониальном шествии, с музыкой, после придуманного об-

ряда, похоронили эту бутылку шампанского недалеко от полковой церкви; и на будущее время решили в полку... пить только кахетинское, которое всегда под рукой.

Ко времени юбилея князь Барятинский, в это время занимавший должность губернатора Дагестанской области, надо полагать, поумнел и потрезвел. На приглашение от полка приехать на праздник он ответил так: «Нет, не поеду. Чего там у вас не видел — как вы 9 лет копили и собираетесь пропить это в три дня? Это пьянство ничего не прибавит к славе Грузинского полка...»

К чрезвычайным вычетами на жратву и пьянство из офицерского жалованья надо прибавить весьма обременительные косвенные расходы для офицеров и их семейств. Почти обязательно было для всех офицеров справиться себе новое обмундирование и снаряжение, что, конечно, влетело в копеечку. А жены офицеров тоже пожелали щегольнуть полковым патриотизмом: постановили для предстоящего бала сделать себе специальные туалеты из полковых цветов — желтого с синим. Это влетело мужьям уже не в одну копеечку.

Пользуясь тем, что я в полку чужой, я отказался от всех желто-синих расходов и предпочел эту экономию обратить на составление и издание полковой памятки для всех офицеров и нижних чинов полка. В одну неделю, поработав и по ночам, мне удалось по полковому архиву составить и издать к юбилею памятку в 4000 экземпляров. И это было тем более кстати, что полковая история, несмотря на затраченные большие суммы, все же запоздала и не была готова к юбилею.

Не стану описывать пьяные дни юбилея; тем более, что и сам я, грешный человек, провел эти дни в хмельном угаре, после трех дней и трех ночей завершившемся, в обществе командира полка и других начальствующих лиц, каким-то пьяным финалом... на полковом кладбище, в 3–4 часа ночи.

Но полагаю уместным рассказать здесь назидательные проводы великого князя Николая Михайловича. На четвертый день непрерывного юбилейного пьянства назначен был, наконец, отъезд великого князя. Около двух часов дня построен был весь полк, в парадной форме, двумя шпалерами, от квартиры командира полка, где временно жил великий князь, через все урочище. Когда полк выстроился, пошел, к несчастью, проливной дождь. Стоит полк, как в строю; беспощадно мокнем. А офицеры все в новых юбилейных мундирах; солдаты в первосрочной одежде. Давно прошел час, назначенный для отъезда великого князя. Дождь ливмя льет... С нас текут ручьи... Ни от командира полка, ни от великого князя — никаких распоряжений; точно забыли они, что уже долгий час, как весь полк стоит под проливным дождем...

Как старший, я несколько раз посылал полкового адъютанта доложить, напомнить. Но полковой адъютант возвращался ни с чем, говоря: «там идет пьянство; командир полка (к несчастью был форменный алкоголик) и великий князь притворялись, что не слышат, что я им докладываю...» А дождь, точно назло, льет все сильнее. Промокли все до костей: новые мундиры испорчены навсегда.

Наконец, потеряв всякое терпение, офицеры обратились ко мне с просьбой, чтобы я лично пошел напомнить. Едва ли я вошел в комнату, как великий князь с осовелыми глазами ехидно воскликнул: «А, — вот и генеральный штаб выпьет с нами», — отлично зная, что я зашел не для выпивки. На все мои настойчивые напоминания великий князь лукаво уклонялся от выслушивания, и когда я хотел уходить, приказывал обождать: «сейчас идем»... — и все же тянул и тянул нарочно.

С трудом я вырвался из этой пьяной компании.

А полк все стоит. Мокнет и мокнет. Не уходит.

Ну-ка, господа вольные; да и военные, за компанию! Разгадайте эту загадку дисциплины. Ведь не на боевой

позиции стоял полк, не перед лицом неприятеля — даже не фронт это и не строй, а мирные шпалеры, без ружей; выстроены для проводов; стоит под проливным дождем... стоит бессрочно; провожаемое начальство пьяно и пьянствует.

Что же, полку уходить в казармы до нового распоряжения? Так, ко мне, как к старшему, приставали офицеры. Нет! Мы не должны были уходить, и не ушли. Такова была дисциплина в нашей армии. Битых два часа прождали мы, пока великий князь вышел, сел в экипаж и, проезжая между шпалерами, гаркал полупьяным голосом: «Спасибо, грузинцы!»...

Я пытался впоследствии разгадать эту загадку; старался найти в несвоевременном варварском пьянстве, почти на виду целого полка, какой-нибудь скрытый воспитательный прием, в видах внедрения воинской дисциплины. Военная история знает подобные примеры. Но, кажется, тут никаких воспитательных уроков не было. А было просто великокняжеское пьяное самодурство.

Ведь чего только не позволяли себе эти безответственные самодуры на ответственных постах! Вот, кстати, другой факт с тем же великим князем Николаем Михайловичем. Во время нашего лагерного сбора под Тифлисом мне пришлось, однажды, состоять при нем, когда он назначен был старшим посредником во время двухстороннего маневра. Выехав на маневр, великий князь с самого начала уже недоволен был этим назначением, потому что ему в этот день надо было удрать на охоту. Едва только начался маневр, как великий князь обратился к находившемуся при нас штаб-горнисту: «А ты умеешь играть “отбой”? Ну-ка, попробуй!» Солдат понял, что спрашивают в шутку, потому что и ему видно было, что маневр только начинается. После настойчивого приказания «попробовать», горнист повернулся в тыл и тихо, под сурдинку, показал как играют «отбой».

— Нет! Ты повернись в поле, к войскам, да играй во всю, как следует...

Маневр был сорван в самом начале, и великий князь умчался на охоту.

И это, говорят, был лучший из великих князей — ученый, историограф, с порядочной долей гражданского мужества, когда впоследствии он написал свое знаменитое письмо Николаю II, в критическую минуту старого режима. Я не говорю про командира полка, полковника Суликовского; это был слабохарактерный алкоголик, полное ничтожество, находившийся всецело под влиянием своей жены, простейшей австрийской немки, едва говорившей по-русски. Во время лагерного сбора под Тифлисом, когда Суликовский очутился вне надзора своей немки, он запил вовсю и дошел до пьяного пляса с солдатами своего полка, на середине полка. Его тогда быстро уволили со службы.



---

## Глава XI

### С окраины в сердце России и на войну с Японией

*Жизнь и служба в Ярославле. Столкновение и дружба со Штюмером. Курские маневры. Перевод в Калугу. Странное военно-статистическое описание. Русско-японская война. Мобилизация и перетасовка начальствующих лиц. Бегство генералов с театра войны. Расплата.*

---

После службы в Туркестане я был назначен в Ярославль, где губернатором был тогда Б. В. Штюмер, впоследствии печальной памяти премьер перед разразившейся революцией. Упоминаю об этом вот почему. По моей службе, при резервной бригаде, я не должен был иметь никакого касательства к губернатору: но суждено было мне столкнуться со Штюмером вплотную. Дело в том, что по прибытии в Ярославль я, согласно уставу гарнизонной службы, обязан был сделать местному губернатору официальный визит, что я проделал как следует, в парадной форме. В ответ на мой визит я получаю, долго спустя, визитную карточку губернатора, переданную городовым. Я вернул тогда губернатору его карточку через губернское правление при открытой записке, требуя установленного ответного визита, дав понять, что в противном случае сведят счеты, как за невызванное оскорбление. Конечно, известие это быстро облетело весь чиновный мир, среди которого, как оказалось, Штюмер был очень нелюбим. Губернатор не только поспешил отдать мне визит, но мы даже

близко познакомились домами. Он стал часто бывать у нас и приглашать нас на интимные обеды; и даже намекнул мне впоследствии, когда он был назначен директором департамента общих дел, что я мог бы получить назначение губернатором, если бы надумал переменить службу в военном ведомстве на Министерство внутренних дел.

Из Ярославля я летом 1900 г. получил назначение в Калугу, начальником штаба 3-й дивизии. Служба здесь мне памятна двумя событиями, которых нельзя обойти молчанием. Это составление военно-статистического описания Калужской губернии и мобилизация нашего корпуса (17-го) в первую голову, ввиду разразившейся войны с Японией.

В Главном штабе давно уже назревала мысль о необходимости составить новое военно-статистическое описание Европейской России. Первое такое монументальное описание произведено было в начале 60-х годов во время министерства графа Милютина. Почти за полвека это описание, конечно, устарело. Долго, очень долго, собирались заняться составлением нового описания. И вот в XX веке, наконец, собрались. Ассигнована была изрядная сумма, которая распределена была между несколькими военными округами.

Не знаю, как в других округах, но относительно нашего Московского округа от этого описания осталось одно печальное воспоминание. Прежде всего начальник штаба округа, генерал Соболев, делавший все, что хотел, под крылышком великого князя Сергея Александровича, откромсал себе из ассигнованной суммы львиную долю под какой-то, я уже забыл, смехотворной рубрикой. Затем солидная сумма была распределена между офицерами Генерального штаба в Москве за составление описаний тех губерний, где нет офицеров Генерального штаба. Остаток распределен был между провинциальными, так сказать, офицерами Генерального штаба, которые сидели в губернских городах; причем их предупреждали, что они могут составлять свои



описания, не выезжая из города. Это для того, чтобы в их глазах оправдать положение их московских товарищей, производивших описание, не выезжая из Москвы.

Мне, таким образом, досталась Калужская губерния. Большую часть статистических данных я, конечно, мог добыть в архивах и местных губернских учреждениях. Поработав почти полтора года, я, сидя в Калуге, закончил все цифровое описание губернии. Но ведь массу данных надо было проверить на месте, в разных местах губернии; надо, наконец, обрекогносцировать магистральные грунтовые пункты, выбрать попутно позиции и прочее. Как же выполнить это, сидя на месте? Взял я свою почти оконченную работу и поехал с нею в Москву, в штаб округа, с вопросом: следует ли дополнить описание рекогносцировочной поездкой?

В ответ на этот вопрос и на представленное мною описание в штабе округа на меня как-то дико посмотрели. Оказалось, что никто и не думал даже приниматься за эту работу, хотя прошло уже полтора года. На полученные деньги смотрели, как на пособие.

Словом, отпущенные на военно-статистическое описание суммы были самым откровенным образом расхищены всеми, начиная с генерала Соболева, начальника штаба округа. Сколько мне известно, кажется я один только и представил описание Калужской губернии, которое сразу и сдано было в архив. Вся моя работа пропала даром.

Но что это было за описание! Когда я сравнил мою работу с прежним описанием губернии за милютинское время, полвека тому назад, то мне положительно стыдно стало при этом сравнении: за полвека мы не только не подвинулись вперед по полноте и тщательности работы; а, наоборот, сильно отстали. Прежнее описание отличалось всобъемлющими данными по всем отраслям жизнедеятельности губернии, составленное по весьма обширной программе. Это огромные фолианты, в которых можно найти ответ по любому вопросу.

А теперь... Нет! Лучше поступили товарищи, не утруждая себе вовсе новыми описаниями, которые неизбежно вышли бы импровизированными и куцыми.

Но почему эта печать проклятия лежала на начинаниях нашего времени по сравнению с эпохой графа Милютина?

Потому что в эпоху Милютина, в 60-х годах, Россия оживала от мрака к свету, от давящего кошмара Николая I к освободительным реформам Александра II. Все начинания проникнуты были любовью к делу и добросовестным исполнением. А в наше время, в эпоху злосчастливого Николая II, вся бюрократия проникнута была жадностью и хищением. Что можно было ожидать от такой эпохи, когда пример грюндерства подавался даже особами императорской фамилии, втянувшими Россию в кровопролитную и злосчастную войну с Японией ради своих лесных концессий? Все это при Николае II шло *crescendo*\*. Во время последней Великой войны распутинские порядки, административные беспорядки и банковские вакханалии дошли, конечно, до апогея. Неудивительно, что все это кончилось общим крахом.

\* \* \*

В 1904 г. разразилась война с Японией. В городе замечен «высокий подъем патриотизма», как выражались официальные телеграммы. В действительности население остается совершенно равнодушным к кровавому пожару, вспыхнувшему на наших отдаленных дальневосточных задворках: «Не добраться японцам до нашей Калуги», успокаивал меня знакомый купец, владелец москательной лавки.

Чтобы настроить наше общественное мнение по надлежащему камертону, предпринято было в московском округе чтение публичных лекций о японцах, их вооруженных силах и т. п. Лекторы в Японии никогда не бывали; свои сведения они черпали из наличной литературы по

---

\* Здесь — усиливаясь (*ит.*). (Прим. ред.)

этому предмету. А так как общественное мнение надо было настраивать по данному камертону, который во все колокола звонил «не подходи ко мне с отвагой», то литература подбиралась соответствующим образом, преимущественно из «Нового Времени», которое твердило одно, что давно пора было бросить с японцами всякие переговоры и «взять этих зазнавшихся макак со стола и поставить под стол».

Вообще, все эти лекции насыщены были таким лягушечьим бахвальством, которое всегда кончается катастрофой. Какую службу сослужили нам в эту войну с Японией все хитроумные расчеты, клонившиеся к тому, чтобы взмылить и подзадорить наш традиционный девиз «шапками закидаем»? Разве это помешало затем призванным из запаса уклоняться от строя даже членовредительствами, которых появилось такое множество, что вызвали даже особый приказ главнокомандующего?

Меня могут спросить, почему же вы сами, зная Японию и японцев, вместе с начальником дивизии, генералом Янжулом, бывшим военным агентом в Японии, не выступили с поправками к извращенным выводам гастрольных лекторов? Это был бы упрек несправедливый. Еще в 1895 г., после поездки по Японии, я представил подробную записку по начальству о вооруженных силах Японии, как сухопутных так и морских, в которой выводы имели предостерегающий и отнюдь не убаюкивающий характер. Пытался я и на этот раз, после лекций гастрольных лекторов, внести скромные поправки к легкомысленным выводам о ничтожестве японских вооруженных сил. Но сделанная в этом отношении попытка вызвала сейчас же упреки в «непатриотичности» и несвоевременности таких поучений, которые могут действовать на других обескураживающим образом; «проповедывать силы неприятеля, хотя они были вполне реальны, значит быть гасителем нашего feu sacré\*»...

---

\* Священный огонь (франц.). (Прим. ред.)

Вот что пришлось выслушать от начальства. Слишком крепко въелось у нас стремление к самосмакованию. Малейшая попытка к выяснению наших слабостей приравнивается уже к самооплеванию; и таким образом мы не только не признаем, по примеру премудрого страуса, не смотреть на угрожающую опасность, а лучше прятать голову под собственным крылом.

Вместе с мобилизацией начались и импровизации в отношении командного состава: в предназначенных для отправления на театр войны в первую голову 10-м и 17-м корпусах меняется почти весь высший командный состав. Однако все эти остающиеся дома начальники не преминули сорвать с казны перед уходом все денежные выдачи, которые положены при мобилизации, точно они в самом деле отправляются на войну. А пособия эти, для высших начальников, измерялись несколькими тысячами для каждого...

Это было открытое хищение на виду у всех, в том числе и высшего начальства, которое притом и ухом не вело, видя эти вопиющие злоупотребления, памятуя, очевидно, мудрый девиз — жить самим и давать жить другим.

Не буду здесь касаться жгучих событий, пережитых во время кровопролитной войны, всеобщей забастовки, революции и прочем. Я достаточно писал об этом в двух томах моей книги «В штабах и на полях Дальнего Востока», «Злобы дня в жизни армии» и в многочисленных статьях газетных. Да и надвинувшиеся на нашу бедную Родину современные подавляющие события настолько люты и злободневны, что перед ними меркнет все старое. Ограничиваюсь поэтому повествованием лишь того из пережитого, в чем тогда уже сказывались зародыши всего того, что стряслось над нами впоследствии, во время Великой войны и после, что переживаем поныне.



## Глава XII

### После Японской войны — перед грядущей великой катастрофой

*Весной повеяло обманчиво. Жизнь и служба в Петербурге. Мракобесие высшего начальства. Капризы старого режима. Вопрос об упразднении крепостей. Начальником штаба и временным комендантом Брест-Литовской крепости. Секретные циркуляры о преследовании инородцев. Выход в отставку.*

После Японской войны мой полк неожиданно для меня получил назначение на Урал, на усмирение волновавшихся там рабочих на горных заводах. Мне от одной мысли о такой моей роли стало невыносимо жутко. Об этом ли я мечтал для моей Родины после Японской войны, когда вся Россия вопила против засилия бюрократии, жаждали реформ, — хоть малейшего дуновения свобод?

Вспоминаю, с каким воодушевлением во время войны мы переходили в наступление на Шахэ, после того как до нас дошел какой-то манифест, заключавший какие-то туманные обещания реформ в будущем. Хорошо помню, что не один я, либерал и прогрессист, таил такие чувства; а это слышно было в словах, видно было на лицах многих офицеров, которое доподлинно тогда рвались в бой. Я понял тогда до осязаемости, как необходимы для войны воодушевляющая идея, импульс, *душа войны*. И вот война кончилась. Объявлена конституция. И опять свирепствует реакция, перемена фронта. Во многих местах винтовки обращены против своих.

Под видом болезни я уклонился от карательной миссии. Я считал себя вправе позволить себе это, после того, как честно нес боевую службу на передовых позициях, от самого начала до конца войны — на постах командира полка, бригады и временного начальника дивизии, — когда все генералы нашей дивизии, под разными предлогами, бежали с театра войны в Россию. Я твердо решил выйти в отставку, хотя еще не выслужил пенсии и был «аки благ, аки наг».

К счастью, подвернулась военно-историческая комиссия при Главном управлении Генерального штаба по составлению истории Русско-японской войны, — работа, которая пришлась мне чрезвычайно по душе, в особенности в то смутное время.

Очутившись на службе в Петербурге, я с головой окунулся в писательскую работу и публицистику. Выбрали меня редактором единственного частного военного журнала «Разведчик», и, кроме того, я стал постоянным сотрудником во многих больших органах, конечно, прогрессивных, Петербурга, Москвы и Одессы. Горечи накопилось немало за время пережитой войны с Японией. Было о чем кричать, на что роптать и негодовать. В особенности мне дорого воспоминание о моем сотрудничестве в «Русских Ведомостях», где печаталась серия моих статей под заглавием: «Вопросы национальные и вероисповедальные перед лицом войны», печатавшиеся в этой газете в 1906 и 1907 гг. под моими инициалами М. Г.

Все ли я мог сказать тогда, состоя генералом Генерального штаба на действительной службе, в Петербурге, на виду у высшего начальства? Не кривил ли душой? На это отвечу рецензиями Изметьева (в журнале «Офицерская Жизнь»), Парского, Апухтина и многих других, находивших в моих печатных трудах «огромную долю гражданского мужества со стороны автора». А генерал Мартынов, рецензируя в «Голосе Москвы» редактируемый мною «Раз-

ведчик» и тоже удивляясь моей «разнузданной смелости», не то предупредительно, не то поощрительно по моему адресу указывал, что я революционизирую военную мысль.

Сам я, оглядываясь теперь назад и просматривая иногда мою книгу «Злобы дня в жизни армии» (издание 1910 г.) или мои газетные и журнальные статьи того времени, удивляюсь, как это мне тогда сходило с рук. Объясняя это только природой существовавшего у нас деспотическо-бюрократического режима. Вместо строго регламентирующего закона все зависело от усмотрения и каприза властей. То, вдруг, схватят мирного адвоката, который неосторожно проболтался во время какого-нибудь юбилейного обеда, и сошлют в Нарымский край. А тут же рядом закрывают глаза перед вольностями генерала на действительной службе. Разумеется, в конце концов меня взяли за жабры — пригрозили увольнением со службы; так что я предпочел сам оставить службу. Но об этом после.

Невыносимо тяжка мне была горькая доля моих собратьев евреев, которые под конец войны подвергались в России кровавым погромам, насилиям и изнасилованиям, после того как они несли на себе все тяжести войны наравне со всеми другими народностями России. Еще на театре войны, когда дошли до нас известия о чудовищных одесских погромах, организованных при содействии властей и сопровождавшихся прямо скотскими зверствами, на меня напало смертельное уныние, длившееся несколько недель. Одолела апатия, от которой я не мог освободиться. В душе произошел какой-то разлад с самим собою и со всем окружающим. Я стал искать выхода из душевного маразма, примирения с совестью. В результате я затаил наивную мысль, нелепость которой мне стала ясна только впоследствии, когда, по возвращении в Россию, я ближе разобрался в том, что такое Николай II в еврейском вопросе. Но

тогда, на театре войны, я был глубоко убежден, что виною всех бедствий в России, в том числе и еврейских погромов, являются наши бюрократы, что царя обманывает своекорыстная камарилья.

Я принял поэтому определенное решение: по возвращении в Россию припасть к стопам государя, ходатайствовать за преследуемых и гонимых евреев. Мне наивно думалось, что государь поверит своему боевому офицеру, тоже еврею, удостоенному всеми боевыми отличиями и честно исполнившему свой долг перед царем и Родиной.

Только став ближе к этому роковому вопросу, я убедился в моем наивном заблуждении.

Положение евреев в России, всегда гнетущее, тогда, после войны, было прямо ужасно и до глубины души возмущало какую угодно, даже притупленную совесть. В особенности тяжело это ложилось на душу мне, участнику войны, жившему тогда в Петербурге, куда постоянно обращались ко мне с разными ходатайствами, как своему бывшему командиру полка, офицеры и нижние чины, среди которых были, конечно, и евреи. Офицеры и солдаты хлопотали всегда о наградах, льготах и т. п.

О чем же ходатайствовали солдаты-евреи?

Вот приведу хоть один такой образчик. Получаю из какого-то местечка Седлецкой губернии слезное письмо от еврея-солдата 5-й роты, узнавшего какими-то судьбами адрес своего бывшего командира полка. Плачется, что в бою под Шилехе он был ранен в обе руки, которые обе были ампутированы. «Штоб не подохнуть из голода», потому что не мог сам принимать пищу, если даже дадут готовое, он должен был жениться, — «жеби бул кармилец»... Но надо же иметь хлеб тогда для двух ртов. Откуда ж взять? Помогли благотворители. Собрали ему по грошикам, чтобы открыть питейное заведение: потому что только при этом занятии можно обойтись без рук. Но, оказывается, евреям нельзя. Отняли у человека обе



руки и говорят: околевай с голода; будет с тебя и трехрублевого пособия\*.

Проверил я все эти сведения, указанные в письме, и, убедившись в их правдивости, обратился с письмом к товарищу министра финансов Покровскому, в ведомстве которого были неокладные сборы, стараясь доказать, что справедливость требует предоставить в этом случае несчастному калеке то, что без всяких заслуг свободно разрешается всяким кулакам Разуваевым и Колупаевым.

Покровский внял моему ходатайству и тотчас дал требуемое разрешение. Несчастный калека собрал отовсюду что мог и открыл заведение, «шток не подохнуть из голоду».

Кажется хорошо? Не тут-то было. Через месяц получаю новое слезное послание. Вопреки разрешению министра, местный акцизный чиновник закрыл заведение, и тем сугубо разорил несчастного калеку. «Жидам, говорит, нельзя». Завязалась интересная переписка: министр приказывает открыть заведение, а местный акцизник закрывает. И победителем остался акцизный чиновник, хорошо знавший, очевидно, дух времени.

Ограничусь еще одним, весьма памятным для меня фактом. Организовалось в Петербурге полуофициальное «Общество повсеместной помощи больным и раненым воинам», в которое завербовали меня членом правления. Вот, однажды, во время большого благотворительного базара в столичной городской думе в пользу раненых, устроители вздумали демонстрировать выдающихся раненых — некоторых даже на носилках, которые торжественно и тихо проносили среди расступавшегося народа. На одних носилках случайно оказался калека моего полка, который, узнав меня, разрыдался. Причиной этого нервного при-

---

\* Три рубля в год... Новые, несколько улучшенные пенсии были при моем участии, как представителя от Общества повсеместной помощи больным и раненым воинам, выработаны Государственной Думой годом позже.

падка, когда его успокоили и расспросили, оказалось следующее. Он еврей, единственный сын у матери-вдовы, которая приехала из Седлецкой губернии, чтобы увидеть своего кормильца, которого давно уже считала погибшим. И эту мать накануне выслали из Петербурга, как не имеющую право жительства, — не позволили хоть неделю побыть с сыном.

Глядя на плакавшего солдата, расплакалась и находившаяся при нем фрейлина Ильина, требуя от меня «сделать что-нибудь» для этого несчастного. Тут уж я сам, чтобы не разрыдаться, стремительно убежал от этого торжественного праздника... мерзости и людской несправедливости.

Действительно, в особенности перед лицом войны, перед лицом смерти, бросалось в глаза это незаслуженное чудовищное бесправие евреев в России. Резче всего это сказывалось относительно положения еврейского солдата. При самом поступлении на службу он встречал уже атмосферу обычной, преследующей его всюду вражды и ненависти не только со стороны окружающих товарищей новобранцев, но главным образом со стороны начальствующих офицеров. При первой же беседе с новобранцами ротный командир не преминет прибавить, при обращении к новобранцу-еврею, что-нибудь ироническое, дышащее глумлением и недоверием. Это в лучшем случае. А если ротный командир принадлежал к нововременским патриотам, то «жиды»-новобранцы с первого же дня становились мишенью злых шуток, скрытой и явной травли и всяческих издевательств. Солдаты старались, конечно, подражать начальству. И, таким образом, человеку с первых же шагов службы отравлялось существование в полном смысле слова.

А впереди что? Есть ли надежда хоть на какое-нибудь грошовое поощрение — дослужиться хотя бы, ну, скажем, до ефрейторской лычки? Нет, — никогда! Впереди только пинки и издевательства, и ничего больше.

В той самой Маньчжурии, в которой легли костями свыше двадцати тысяч еврейских солдат, окончивший службу еврейский солдат, случайно оставшийся в живых, не имел право жительствова. Его сейчас же выселяли. С точки зрения правительства, только труп его мог там остаться.

И при этом упрекали еще евреев за уклонение от воинской повинности! Сколько терпения и покорности злой судьбе нужно было еврейскому солдату, чтобы не только не бежать поголовно из армии, но еще проявить даже иногда достаточную долю рвения.

Всем, кому приходилось присматриваться к жизни евреев в 80-х годах, памятно, что под влиянием воздвигнутых против евреев гонений, обуревавших тогда всех предрержащих властей, с самого верха до самого низа, зародилась ответная реакция и среди евреев, в особенности учащейся молодежи: в противоположность прежним стремлениям, еврейские студенты и гимназисты щеголяли на улице своим жаргоном, еврейскими именами и т. п. Подобное же течение, конечно, в скрытом виде, проявлялось, вероятно, и среди солдат-евреев на военной службе, — в виде затаенного пассивного бойкота требованиям службы. Пошли новые упреки в неспособности евреев к военной службе. Не хотели ни доискиваться, ни понять сокровенных причин всех этих обвинений и упреков.

Я усилено боролся в печати против преследований *всяких инородцев*, так как по моему убеждению это губило Россию больше, чем какое бы то ни было другое зло. Боролся не только за обездоленных евреев, но и за поляков, и староверов. Ведь дошли до такого абсурда, что Куропаткин, будучи главнокомандующим, имея неограниченную власть во всем, должен был воевать с Синодом по вопросу о том, может или не может солдату-староверу, умирающему на поле брани, дать напутствие в лучший мир другой солдат старой веры? И ведь победил Синод, — что *нельзя...*

Был у меня в военно-исторической комиссии помощник, капитан Дунин-Слепец, георгиевский кавалер, израненный в Порт-Артуре, очень способный и усердный работник. И вот, когда наша работа в комиссии кончилась, всех хорошо устроили, для всех нашлись места. А Дунина оказалось никуда нельзя было ткнуть, потому что *католик*. Тем временем я нашел ему вакансию адъютанта, но в штабе Варшавской крепости. В главном штабе сначала и слышать не хотели, чтобы поляка, да еще в Варшавскую крепость. К счастью, вняли все-таки голосу здравого смысла, и Дунин был назначен в штаб Варшавской крепости. Польские газеты в Варшаве усмотрели в этом назначении даже какой-то акт примирения — так приятно поражены были поляки этим назначением.

Как мало нужно было, чтобы водворить внутри страны хоть нейтральное доброжелательство, вместо озлобления и ненависти!

Работа наша в военно-исторической комиссии была закончена. Настало время покинуть Петербург. В это время, летом 1909 г., получаю вдруг официальное письмо от начальника Главного штаба, генерала Мышлаевского, пожаловать по делам службы. Я уже готовился выслушать какое-нибудь замечание относительно моего литературного направления, о чем были уже разговоры. К моему удивлению, мне предлагают занять должность генерал-квартирмейстера Главного штаба. Соблазн был очень велик. Нравилась мне и служба с Мышлаевским, которого я узнал в совещательных комиссиях, куда меня приглашали по разным вопросам.

Нет сомнения, что в иное время, т. е. при другом душевном настроении, это весьма лестное предложение вознесло бы меня наверх блаженства. Ведь это было равнозначно апогею военной карьеры, потому что, при моем старшинстве в чине генерала, я бы стал ближайшим кандидатом на должность начальника Главного штаба и временно

военного министра, как это все осуществилось с генералом Беляевым, занявшим эту линию генерал-квартирмейстера после моего отказа.

Таким же образом я отказался приложить руку к вопросу, поднятому в военном совете, помимо меня, совершенно не знавшим меня членом военного совета генералом Ставровским о награждении меня георгиевским крестом, по статуту, за спасение батареи 6-го резервного корпуса 1 октября, в бою под Далиянтунем.

Во мне опять внедрился тогда глубокий душевный разлад. После всего пережитого в Японской войне, после всего, что творилось в России после войны, у меня раскрылись глаза. Сердце отвернулось от моих богов, которым я поклонялся до того времени. От предложенной мне высокой должности я отказался под предлогом желания служить в строю. Назначен был генерал Беляев, который стал близко к Распутину, царице и... ко всем бедствиям, постигшим Россию и его самого.

Я продолжал усилено работать в печати, затрагивая вопросы военно-политические, бытовые и по государственной обороне. Один из таких вопросов имел для меня важные последствия и заслуживает быть упомянутым здесь — не по интервенции моей личности, а по характеристике решения у нас вопросов государственной важности и по тем последствиям, которые вопрос этот имел потом во время Великой войны.

Осенью 1909 г. неожиданно вспыхнул вопрос об упразднении наших крепостей на западной границе. Привыкший решать все по-кавалерийски, с наскока, Сухоминов пожелал выделить свое управление военным министерством каким-нибудь сногшибательным проектом и придумал коренным образом изменить существующую уже сто лет систему государственной обороны России, упразднив западные крепости в связи с реорганизацией армии.

Трудно было бы возражать что-нибудь против пересмотра системы государственной обороны вообще. Почему не пересмотреть, если народилась новая обстановка, изменившиеся обстоятельства? Но Сухомлинов захотел учинить эту реформу без рассуждений и притом под сурдинку; он даже отрицал, что он автор этого проекта. В конце концов, трудно было доискаться, кому принадлежит мысль об упразднении наших западных крепостей.

Как редактор «Разведчика», я тогда открыл кампанию против этой внезапной затеи, призывая внимание правительства и Государственной Думы к этому новому проекту государственной обороны. Столыпин внял этому призыву и воспротивился проекту, а Государственная Дума отказала дать деньги на разрушение крепостей. (Одно срытие фортов Варшавской крепости должно было обойтись в 9 миллионов рублей.)

По мере сил Сухомлинов отбояривался в «Разведчике» же от нападков и отстаивал проект. Но случился вот какой казус: в конце апреля присылает он статью против нападков на него в «Новом Времени». Отказать в помещении этой статьи военному министру не могло быть и речи; но я поместил в том же номере рядом со статьей Сухомлинова передовую статью, уничтожавшую все его тезисы. 6 мая был высочайший выход в Царском Селе, на котором присутствовал и Сухомлинов. После выхода царь сунул Сухомлинову только что полученный номер «Разведчика», с подчеркнутой красным карандашом моей передовой, со словами: «Посмотрите, что про вас пишут ваши же военные»...

Вернулся Сухомлинов в Петербург в бешеном настроении против меня. В результате он не пожелал дать мне иного назначения, как только начальника штаба Брест-Литовской крепости, сказав мне при прощании такую фразу: «Вот вы все совали мне палки в колеса по крепостному вопросу: поезжайте теперь туда, чтобы поближе изучить это на практике».

Практика показала прямо противоположное. Когда разразилась Великая война в 1914 г. и варшавские форты еще не были скрыты, они сослужили нам великую службу, вопреки всем стараниям Сухомлинова.

\* \* \*

С расстроенным здоровьем я весной 1910 г. прибыл на службу в Брест-Литовскую крепость. Отчасти сказались последствия Японской войны, отчасти чрезмерно напряженная нервная работа в Петербурге. Результатом всего этого получилось переутомление, бессонница, расстройство нервов. К счастью, я не застал уже в крепости политических заключенных. А было там таких заключенных, как мне говорили, немало после революционного движения 1905 г.

Характер служебной деятельности в крепости не мог способствовать успокоению нервов. Дело в том, что за уходом коменданта, князя Туманова, я был назначен временно комендантом крепости, и на меня ложилась нравственная ответственность за всякое принятое решение. Угнетала именно нравственная ответственность: служебная несколько не тяготила и не могла идти в сравнение с тем, на что приходилось решаться на театре войны. А здесь нет-нет, да все примешивалась проклятая политика, самая гнусная.

Постоянно получались секретные циркуляры — все «строжайшие», все науськивающие: нет ли политических толков среди офицеров, нет ли на фортах ротных командиров из поляков, нет ли в мастерских крепостной артиллерии поляка или, Боже упаси, еврея-солдата; не живет ли где в крепостном районе, т. е. в расстоянии 25 верст от цитадели, какой-нибудь латыш? И на беду оказалось, как раз, что есть такой: почти 30 лет живет он в крепостном районе, подрядчик по малярным работам, женат на русской, отец большого семейства, давно забыл, что он латыш и

говорить по-латышски разучился. А теперь, согласно циркуляра, я обязан его выслать. Начальник инженеров генерал Овчинников головой ручается за него, просит оставить. Да как не оставить, когда в самом крепостном штабе сидит у меня старший адъютант Рутянян, тоже латыш, когда в крепостном соборе священствует протонерей — бывший раввин, когда начальник штаба крепости — а сейчас сам комендант крепости — из евреев — еврей! Ведь я должен, прежде всего, выслать самого себя!

Как тут служить при таких условиях, в согласии с этими секретными циркулярами! Ведь все эти так называемые инородцы честно и добросовестно делают свое дело, на благо общей Родины — иногда более честно и умело, чем иные «истиннорусские», заведомо пьяницы и воры. А между тем, читая эти секретные циркуляры, мне казалось, что я обкрадываю чье-то доверие, не говоря уже про то, что это было противно моим убеждениям, как мероприятия губительные для России. В циркулярах выискивались предки-инородцы даже до *третьего* поколения, буквально. Ведь известен факт, звучащий диким анекдотом: начальник военно-медицинской академии Данилевский не мог зачислить в академию своего сына, потому что сам он был сыном еврея.

В моей крепости, прозванной «матерью крепостей русских» (потому что Брест-Литовская крепость действительно являлась редюитом, последним убежищем всей государственной обороны западного пограничного пространства), масса вопиющих пробелов: нет гаубичной артиллерии, признанной крайне необходимой; нет минимального комплекта боевых припасов, без чего обороноспособность крепости ничего ведь не стоит; многие форты окончательно устарели, а новые, строящиеся, требуют неусыпного внимания и непрерывных изменений; даже гарнизон крепости еще только намечен, после расформирования крепостных батальонов.



Вообще, есть о чем подумать, чтобы заняться делом, имеющим жизненное значение для крепости. Но о таких пустяках мало думали придворные подхалимы в Петербурге, занятые лишь мыслью угождать высшим сферам. Там заняты были, главным образом, секретными циркулярами, чтобы оградить Россию от какого-нибудь латыша или еврея-механика, которых само их непосредственное начальство прячет от этих циркуляров.

И как зло посмеялась судьба над этими спасителями России, послав им на утешение еврея — Троцкого, поляка — Дзержинского, латыша — Петерса, грузина — Сталина, под верховенством чистокровного русака Ленина!

Отлично подготовили и взрастили эти «истиннорусские» спасители то, что переживает теперь Россия. Чтобы судить, насколько изменилось настроение в массах, в особенности инородческих, — не к России, а к официальным лицам, власть имущим, — можно судить по следующему факту. Вместе с прибывшим в крепость вновь назначенным комендантом, генералом Юрковским, мы выехали, однажды, на маневры «с обозначенным противником». Наблюдая маневр в районе боя, мы были неприятно поражены, когда мимо наших ушей стали жужжать настоящие пули. Не было сомнения, что нас обстреливают боевыми патронами под прикрытием маневров. Явно целились, стараясь убить высшее начальство.

Мы, конечно, немедленно остановили маневр. Приказали осмотреть оставшиеся патроны. Произведено было дознание на месте. Дело было передано военному следователю. И что же оказалось? У многих солдат-латышей найдены были маневренные патроны, домашним образом превращенные из холостых в боевые. Из писем с родины, из прибалтийских губерний, обнаружено было, что *матери* в письмах наставляли солдат-сыновей, как холостые патроны обращать в боевые, чтобы убивать начальников на маневрах.

Откуда такая вражда и ненависть в официальной России со стороны латышей, которые всегда считались лучшими солдатами, самым желательным элементом в ротах, как трезвые, сильные, степенные и лучшие стрелки! Вспоминаю, когда я еще был вольноопределяющимся в Красноярском полку, расположенном в Ревеле, комплектовавшемся из разных губерний, частью латышами из Курляндской губернии, то ротные командиры прибегали ко всевозможным фокусам, чтобы получить в роту побольше латышей. А теперь, 30 лет спустя, вот до чего дожили!

Умудриться нужно так плодить вокруг себя, внутри и вне, только врагов и врагов.

Я твердо решил оставить службу этому мертвящему режиму, явно губившему Россию. Посильно продолжал я бороться в прогрессивной печати под разными псевдонимами «Боевой», «Строевой», «Старый генерал» и другими — хотя все эти псевдонимы стали секретом полишинеля. Одна из таких статей, напечатанная в московской газете «Утро России», вызвала бурю в главном управлении Генерального штаба, который возглавлял тогда генерал Жилинский, известный в Петербурге под кличкой *живой труп*.

Это действительно был олицетворенный живой труп, закоснелый военный чиновник, крайне бездарный, способный убить всякое живое дело при своем прикосновении. Он это вполне доказал как в бытность во главе Генерального штаба, так и впоследствии, на должности варшавского генерал-губернатора и во время Великой войны. Жалость берет, когда подумаешь, что в мертвящих руках этого живого трупа была боевая подготовка России в эту критическую эпоху. Но — по Сеньке шапка: умирающий режим только и мог выдвинуть живые трупы.

15 и 20 июня 1911 г. я получил два конфиденциальных предостережения за номерами 143 и 146, в которых от имени военного министра мне ставится в упрек мое литера-

турное направление вообще, и в особенности сотрудничество в газетах «Речь» и «Утро России»; причем меня предупреждали, что «если направление ваших печатных статей не изменится, то к вам будет применена 69 статья кн. XXIII Свода Военных Постановлений», т. е. просто увольнение в отставку в дисциплинарном порядке...

Не довольствуясь угрозой уволить меня со службы в дисциплинарном порядке, указано было командующему войсками Варшавского округа, генералу Скалону, не представлять меня на должность начальника дивизии в течении трех лет, пока не исправлюсь, хотя я аттестован был «выдающимся».

Словом, я не нравился режиму. И мне режим был противен до глубины души. Я подал прошение об отставке «по болезни». Всем известно было, какая это болезнь, хотя я ни с кем не делился своими переживаниями.

Замечательно, как общественное мнение *массы* офицеров отнеслось к моей отставке. Обнаружилось это вот по какому поводу: получил я приглашение на полковой праздник Владикавказского полка; сам я не мог поехать и послал поздравительную телефонограмму. На празднике, как водится, читали поздравления отсутствующих начальников и провозглашали соответствующие тосты. Когда командир полка провозгласил тост за меня, то масса офицерская устроила настоящую сочувствующую демонстрацию по моему адресу, заключающуюся в том, что после продолжительного «ура» не давали произносить какие бы то ни было другие тосты, требуя бесконечного возобновления тоста «за Грулева».

Это сочувственная демонстрация *со стороны чужой* для меня части, т. е. мне не подчиненной, не относилась, конечно, к моей личности. Это было сочувствие и солидарность к моему литературному направлению и замаскированный протест против моей отставки, хотя и добровольной. Причина отставки всем была хорошо известна: это

моя книга «Злобы дня в жизни армии» и вся моя литературно-публицистическая деятельность.

Признаюсь, и самому мне больно было расставаться с армией в такое время, когда умудренный боевым опытом я мог быть полезным моей Родине. Говорю это без лицемерной скромности — по собственному сознанию и по отзывам других, в том числе и ближайших начальников. Но — что делать! Под игом свирепствовавшего, рокового для России режима Родина наша лишалась слуг поважнее и значительнее меня...

Шумно отпраздновал крепостной гарнизон проводы сначала моей семьи, а затем, в мае 1912 г., и мои проводы, в той самой Брест-Литовской крепости, в которой я начал когда-то свою офицерскую службу. Вслед за тем я выехал на постоянное жительство в Ниццу.



## Примечания

С. 5. *...ездить с докладом к Николаю II...* — В тексте данной книги Михаил Владимирович Грулев ограничивается описанием своей служебной карьеры до русско-японской войны 1904–1905 гг. Продолжив его послужной список, сообщаем, что во время этой войны он командовал 11-м пехотным Псковским полком, был контужен и за боевые отличия награжден орденами св. Владимира 4-й и 3-й степеней, а также Золотым оружием. По окончании войны в 1906 г. Грулев был назначен постоянным членом комиссии по описанию Русско-японской войны (председатель комиссии — генерал-майор Ромейко-Гурко), во время службы в комиссии был произведен в генерал-майорский чин. Никакими сведениями об исполнении М. В. Грулевым должности военного министра мы не располагаем, равно как и о его докладах императору. Известно, что в октябре 1906 г. М. В. Грулев принимал участие в представлении императору личного состава вновь образованной комиссии по описанию Русско-японской войны, и о других встречах Грулева с Николаем II у нас сведений нет. По окончании работы комиссии в 1910 г. М. В. Грулев был назначен начальником штаба Брест-Литовской крепости, и с этого поста в 1912 г. ушел в отставку, будучи, по обычаю того времени, вознагражден при отставке следующим чином генерал-лейтенанта Генерального штаба.

*...евреев на пушечный выстрел не подпускали...* — сопоставляя свои служебные успехи с ограничениями по государственной службе для евреев, автор, вольно или невольно, смешивает разные понятия — евреев как национальность и иудеев как религиозную конфессию. Такое смешение понятий было характерно в то время для еврейских националистов, а в книге генерала Грулева националистические моменты просматриваются достаточно явственно. В законодательстве Российской империи не было никаких ограничений по национально-биологическим признакам, ограничения были только религиозными. Они применялись к еврею, сохранявшему свою религию, но для крестившегося еврея все двери распахивались, и карьера автора данной книги определялась как раз фактом его крещения. Подобные заявления автора, рассеянные по всей книге, показывают нестойкость его ассимиляции в русское обще-

ство, впрочем, в известной мере, объясняющуюся глубоким кризисом этого общества во время революций.

С. 6...*черты оседлости*. — Территории Российской империи, внутри которых разрешалось проживание евреев. Впервые о черте еврейской оседлости упомянуто в 1791 г. В черту входили 15 губерний (Бессарабская, Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Екатеринославская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская, Полтавская, Таврическая, Херсонская, Черниговская и Киевская (кроме г. Киева)), именуемых губерниями постоянной еврейской оседлости. С течением времени ряд мест и территорий добавлялся или исключался из числа тех, где евреям было дозволено селиться. Ограничения на место проживания не распространялись на евреев: купцов 1-й гильдии, лиц с высшим образованием, лиц, занимающихся цеховыми и нецеховыми ремеслами, лиц, прошедших военную службу на основании рекрутского устава. Ограничения, налагаемые чертой оседлости, не распространялись на караймов и, разумеется, на евреев, принявших христианство, с точки зрения тогдашнего законодательства, евреями больше не являвшихся.

С. 7. ...*1880 г., во время погрома в Варшаве...* — Очевидно, автор имеет в виду погром, имевший место в Варшаве в декабре 1881 г. Одна из причин погрома — обвинение поляками евреев в том, что они являются проводниками русификации Польши.

С. 8. *Краевский* Андрей Александрович (1810–1889) — русский издатель и журналист. Окончил Московский университет (1828). Издавал журнал «Отечественные записки» (1839–1967), сумел привлечь в него лучшие литературные силы, в том числе до 1846 г. в нем сотрудничал В. Г. Беллинский. Краевский был также редактором ряда газет, особенной популярностью пользовалась его умеренно-либеральная газета «Голос» (1863–1864). Как издатель проявил себя способным организатором, но имел славу нещадного эксплуататора литературных сотрудников.

*Бурицев* Владимир Львович (1862–1942) — член народовольческих кружков (с 1883 г.), из семьи военного. Неоднократно репрессировался за революционную деятельность. Занимался историей революционного движения (один из редакторов журнала «Былое») и разоблачением провокаторов охранки (разоблачил Е. Ф. Азефа). В 1917 г. издавал ряд газет в России. Резко выступил против Октябрьской революции, за что по приказу Л. Троцкого 25 октября 1917 г. заключен в Петропавловскую крепость (освобожден в феврале 1918 г.). В 1918 г. эмигрировал, издавал газету «Общее дело», входил в редакцию журнала «Борьба за Россию», состоял в «Русском национальном комитете» и в «Братстве Русской правды»; впрочем, и в масонской ложе «Великий Восток Франции». Боролся против антиеврейской политики нацистской Германии (составил книгу «Протоколы сионских мудрецов — доказанный подлог»), за что в период оккупации Франции преследовался гестапо. Последние годы жизни провел в крайней нищете, умер от заражения крови.

С. 11. *Режицей... превратившейся в какую-то Латгалию...* — Режица (совр. Резекне), старинный русский город Полоцкого княжества, а

затем Витебской губернии, был передан по Рижскому миру между РСФСР и Латвией в состав Латвии на основании присутствия в округе города латышского элемента. Для обеспечения интеграции этого региона в Латвию была придумана теория о существовании особого «латгальского» этноса, родственного латышам, а регион назвали Латгалией. Латвийские националистические круги рассчитывали на ассимиляцию, но, поскольку латышская культура ничего не смогла предложить русским людям, то и в наше время в Режицком крае господствует русская культура и русский этнический элемент. Несмотря на это, латвийское правительство и общество продолжают упорствовать в своих заблуждениях по поводу мифической Латгалии.

С. 12. *...завели... казенных раввинов...* — В России закон 3 мая 1855 г. требовал для определения в равнины окончания курса в равнинских училищах (в 1874 г. преобразованы в учительские институты) или в общих высших и средних учебных заведениях. Лица, удовлетворяющие требуемому законом образовательному цензу, выбирались раввинами на три года и утверждались губернским начальством на должность официальных, или «казенных», раввинов. На них, кроме исполнения треб и обрядов, лежала обязанность ведения метрических книг. Во многих общинах существовали еще и духовные раввины.

*Талмуд* (евр. научение) — основной памятник раввинской письменности, содержащий религиозно-правовые нормы иудаизма

С. 13. *...ущемления... евреев за перемену имен и фамилий...* — такое «ущемление прав» связано с благоговейным отношением русских к предкам, что выражается даже внешне — в употреблении при обращении к человеку не только имени, но и отчества (как выражение уважения к отцу данного человека). Исходя из этого, смена фамилии и имени русским обществом подсознательно воспринимается как оскорбление своих предков, а такое отношение, опять-таки в подсознательных сферах русского национального характера, может вызывать только презрение и отторжение.

С. 15. *Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829–1894) — знаменитый пианист, был крещен Антоном и окончил консерваторию, приравненную к высшим учебным заведениям Российской империи. По положению, окончание не только высших учебных заведений, ни и гимназий, давало окончившему личное дворянство и право на служебный класс по «Табели о рангах». Здесь опять-таки автор, намеренно или нет, смешивает понятия еврейства как национальности и еврейства как принадлежности к иудаизму.

С. 16. *...бархатных... книг у евреев... не было...* — «*Бархатная книга*» — составленный при царе Алексее Михайловиче справочник по знатнейшим титулованным и нетитулованным родам Российского государства. Название получил из-за материала переплета.

*Хрулев* Степан Александрович (1807–1870) — известный боевой генерал. Боевое поприще начал в польской войне 1831 г., во время венгерской войны 1849 г. командовал передовым отрядом авангарда

главной армии. В 1853 г. принял участие в экспедиции против кокандцев. При начале Восточной войны он был послан к войскам кн. Горчакова в Дунайские княжества; особенно отличился при отражении турецкого десанта из крепости Силистрии на левый берег Дуная (20 февраля 1854 г.); принимал деятельное участие в действиях против Силистрии, а при снятии осады этой крепости командовал арьергардом; в деле под Журжею, на о-ве Родомане, был ранен. В декабре 1854 г. Хрулев был назначен состоять в распоряжении главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму, а в начале 1855 г. переведен в состав Севастопольского гарнизона и здесь выказал блестящую отвагу и распорядительность. 27 августа 1855 г. во время штурма был ранен в палец левой руки, с раздроблением кости. Выдающиеся подвиги Хрулева при обороне Севастополя доставили ему орден св. Георгия 3-й степени.

С. 19. «Тора» — Первые пять книг Библии («Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие»), содержащие описание событий священной истории от сотворения мира до смерти Моисея и составляющие так называемый Закон (по-еврейски Тора).

С. 28 *Ризохотив... евреев к образованию, правительство... не знало, что придумать, чтобы... стеснить...* — политика правительств Александра II и Александра III в области народного просвещения была разной не только в отношении евреев. Если в 60–70-х гг. правительственная политика была направлена на вовлечение в процесс образования возможно более широких слоев населения (что ознаменовалось появлением в научной и общественной жизни большого количества выдающихся деятелей различного происхождения), то с начала 80-х гг. политика «подмораживания России» привела и к ограничению образовательных возможностей для податных сословий — например, знаменитый циркуляр министра просвещения Валуева о недопущении в гимназии и университеты «кухаркиных детей».

С. 29. *...вырывали из еврейских семей малолетних детей...* — набор кантонистов, по одному ребенку от еврейской семьи (кантонистами именовались ученики специальных училищ, созданных в первую очередь для солдатских детей), предпринимался в русле общей политики Николая I на интеграцию еврейства в русское общество (см. ниже одобрительный в общем отзыв автора об этой политике).

С. 33. *...говорили... о «Колоколе» Герцена...* — сравнив ранее приведенные рассуждения ученых евреев о физической брошюре с этим местом об интересе к «Колоколу», можно выработать не совсем лестные для еврейства представления о направленности его интересов в то время.

С. 35. *ригоризм* — строгое применение какого-либо принципа.

С. 38. «микве» — ритуальное (очистительное) омовение в иудаизме; так же называется и чаша для омовения.

С. 42. *...«миснагдим» и «хасидим»...* — течения в иудаизме. *Хасидизм* (от ивр. хасидут, «праведность») — религиозно-мистическое течение в иудаизме, возникшее в XVIII в. в еврейских общинах в Речи Посполитой (территория современной Украины) как движение протес-



та против заострения иудейской учености, раввинистического формализма и оторванности ученых евреев от народной жизни. Вероучение хасидов основано на талмудических и кабалистических толкованиях Торы с большим количеством мистических и экзотических элементов. *Миснагдим* (ивр. букв., «противящиеся», «возражающие») — название, которое дали приверженцы хасидизма его противникам из среды раввинов и руководителей еврейских общин.

С. 49. ...*в толковании буддийских лам...* — подобные запреты характерны не для буддизма, но для одного из индуистских учений — джайнизма.

С. 53. ...*дикий предрассудок об употреблении евреями христианской крови...* — тем не менее, это является фактом, доказанным в ходе судебных процессов в Велиже (1823), Саратове (1853) и даже в пресловутом «деле Бейлиса» (1912). Хотя этот последний процесс и подается либеральными кругами, как полный провал обвинения, на самом деле ритуальный характер убийства 12-летнего А. Ющинского был подтвержден судом, а обвиняемый М. Бейлис был не оправдан, а освобожден «за недостатком улик». На подобные обвинения еврейство отвечает, что в его священных установлениях нет никакого следа подобных кровавых ритуалов, и это не подлежит сомнению. В то же время не подлежит сомнению, что в еврействе существует какая-то секта, практикующая подобные ритуалы. Плохую службу еврейству служит та энергия, с которым оно бросается опровергать обвинения в употреблении ритуальной крови, предпочитая во что бы то ни стало защищать соплеменников, вместо того, чтобы оказать помощь обществу и власти в разыскании изуверов и прекращении практикуемых ими человеческих жертвоприношений. Именно эти огульные отрицания и возбуждают в обществе подозрения о причастности к кровавым ритуалам всего еврейства в целом.

С. 60. ...*победы Макавеев...* — имеются в виду лидеры иудейского восстания против сирийской династии Селевкидов — священник *Маттафия* (также Асмонеи или Хасмонид) и его сыновья Иоанн, Симон, Иуда, Елеазар и Ионафан. Одержали ряд побед над сирийскими войсками, но и сами погибли.

... *исхода евреев из Египта.* — Бегство евреев из Египта, где их народ находился в плену. Согласно Библии (Исход, 14; 2, 9), евреи покинули Египет «перед Ваал-Цефоном» (современный Суэц), где они будто бы перешли Красное море, воды которого расступились перед ними и затем вновь сомкнулись, поглотив гнавшуюся за беглецами армию фараона. Пространствовав по пустыне 40 лет, евреи добрались до Палестины.

... *перехода через Черное море...* — т. е. Красное.

С. 69. *Редигер* Александр Федорович (1853–1920) — российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1907). В 1905–1909 гг. занимал пост военного министра. Автор реформ российской армии в 1905–1912 гг.

С. 73. *Милютин* Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — русский государственный и военный деятель, граф (с 1878), генерал-фельдмаршал (1898). В 1861–1881 гг. военный министр, в этой должности провел в жизнь военную реформу 1874 г. После убийства Александра II Милютин вышел в отставку.

С. 74. *Муравьев-Виленский* Михаил Николаевич, граф (1796–1866) — занимал в 1863–1865 гг. пост генерал-губернатора шести северо-западных губерний, с чрезвычайными полномочиями, энергично подавил Польское восстание. Либеральная интеллигенция окрестила его «вешателем» (якобы он был слишком жесток к повстанцам), однако документально зафиксировано: за годы правления Муравьева было казнено — 128 человек, сослано на каторгу — 972, в Сибирь — 1427. Количество невинных жертв, убитых польскими повстанцами, в разы больше. Основание для рождения прозвища Муравьев невольно дал сам. Когда его спросили, не родственник ли он того декабриста Муравьева, что был повешен, Михаил Николаевич ответил: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают сами».

С. 75. *...старший брат мой Яша...* — мимоходом излагаемая история старшего брата автора может служить иллюстрацией к его же многократным утверждениям о полной непреодолимости и пагубности «черты оседлости».

*Каракозов* Дмитрий Владимирович (1840–1866) — террорист; участник революционного кружка (так называемый Иштутинский кружок, во главе которого стоял его двоюродный брат Н. А. Иштутин). 4 апреля 1866 г. совершил неудачное покушение на императора Александра II. По приговору Верховного уголовного суда повешен.

С. 80. *Наполеон III* (1808–1873) — император французов (1852–1870), третий сын голландского короля Луи Бонапарта, брата Наполеона I и Ортанс де Богарне, дочери Жозефины Богарне от первого брака и, соответственно, падчерицы Наполеона I.

*Бисмарк* Отто Эдуард Леопольд, князь фон (1815–1898) — прусский и германский государственный деятель, создатель Второй Германской империи. Первый министр Пруссии (1862–1873, 1873–1890) и канцлер Германии (1871–1890).

С. 90. *...Александр II во время проезда через Одессу при возвращении с театра войны...* — император возвращался после завершения Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в ходе которой Россия помогла южным славянам освободиться от османского ига.

С. 95. *Мария Феодоровна* (София-Фредерика-Дагмара) (1847–1928) — дочь Христиана IX Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургского, короля Датского, императрица Всероссийская (1881–1894), затем вдовствующая императрица, супруга Александра III и мать Николая II. С 1919 г. в эмиграции.

С. 97. *Владимир Александрович* (1847–1909) — великий князь, третий сын императора Александра II. Сенатор (1868), член Государственного совета (1872). Генерал-адъютант (1872). В чине генерал-лейте-

нанта участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., командовал 12-м армейским корпусом, награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. В дальнейшем — генерал от инфантерии (1880), главнокомандующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа (1884–1905). С 1876 г. президент Императорской академии художеств.

С. 99. ...«*Париж, стоящий обедни*»... — намек на слова, якобы сказанные французским королем Генрихом IV перед очередным (последним в его жизни) переходом из протестантизма в католичество. На исходе Религиозных войн (1560–1598) Генрих, бывший вождем гугенотов (протестантов), стал законным наследником французского трона как ближайший родственник вымершей династии Валуа. Однако он понимал, что главным образом католическое население страны не примет короля-гугенота, и поменял веру (он делал это неоднократно в своей жизни, руководствуясь личными выгодами). После чего был быстро признан своими новыми подданными.

...*чечевичную похлебку, по примеру Исава*... — по библейской легенде, из рода Исаака должны были произойти два рода, и старший из них — род Исава — должен был господствовать над младшим — родом Иакова. Однажды, когда Исав вернулся с охоты голодный и просил у Иакова пищи, тот в обмен на хлеб и чечевичную похлебку потребовал продать ему право первородства, что Исав и сделал (Быт. 25:31–34).

С. 100. ...*как это было с царицей Александрой Федоровной и великой княгиней Елизаветой Федоровной*. — Александра Федоровна и Елизавета Федоровна, дочери герцога Гессен-Дармштадтского, воспитывались в лютеранской вере и, выходя замуж за великих князей Николая Александровича (будущий император) и Владимира Александровича, должны были перейти в православие, поскольку для великих князей не допускался брак с инославными.

С. 102. ...*гонением на евреев*... — рассуждения автора о природе гонений на евреев не вяжутся с его же предшествовавшими рассуждениями о Божьем проклятье, тяготеющем над евреями. Подобная путаница в высшей степени характерна для евреев-ассимилянтов, ярким представителем которых является автор.

С. 107. ...*историей военного искусства Голицына*... — Николай Сергеевич Голицын (1809–1892), князь, генерал от инфантерии, русский военный историк. Участник Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и подавления Польского восстания 1830–1831 гг. Преподавал стратегию и военную историю в Военной академии. В течение нескольких лет являлся редактором газеты «Русский инвалид». Главным его трудом является «Всеобщая военная история» (1872–1878).

*Венюков Михаил Иванович* (1832–1901) — русский географ и путешественник. Совершил ряд путешествий по Дальнему Востоку, Забайкалью, Тянь-Шаню, Алтаю. Член Русского географического общества (с 1859). Среди его работ: «Путешествие по азиатским границам России» (1868), «Опыт военного описания русско-азиатской границы» (1873–1876), «Россия и Восток» (1877).

*Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843–1882) — русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии. Один из самых талантливых и популярных военачальников середины XIX в. Участник покорения Туркестана и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

С. 109. *...об убийстве императора Александра II...* — император был смертельно ранен 1 марта 1881 г. на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге. Первая бомба, брошенная террористом-народовольцем Рысаковым, повредила карету государя, были ранены несколько казаков конвоя и случайных прохожих. Когда император вышел, чтобы узнать о состоянии раненых, сообщник Рысакова Гриневский бросил ему под ноги вторую бомбу, смертельно ранившую Александра II.

С. 111. *...Академию Генерального штаба...* — высшее военное учебное заведение в Российской империи. Создана в 1832 г. в Санкт-Петербурге как Императорская военная академия. В 1855 г. в память императора Николая I получила название Николаевская академия Генерального штаба, с 1909 г. — Императорская Николаевская военная академия.

С. 112. *Берлинский трактат* — мирный договор между Россией и Османской империей, подписанный в Берлине 13 июля 1878 г. и завершивший Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Первоначально Сан-Стефанский договор вызвал недовольство Великобритании и Австро-Венгрии, так как его условия были, по мнению этих держав, слишком благоприятны России и балканским славянам. Другие западные державы заняли позицию если не откровенно враждебную России, то, во всяком случае, неблагоприятную для нее. В этих условиях русское правительство было вынуждено согласиться на пересмотр Сан-Стефанского мира.

С. 113. *Униатский вопрос...* — политика религиозной экспансии, проводимой правящими кругами Речи Посполитой, привела к заключению унии (объединения) в 1596 г. греко-православной церкви, окормлявшей большую часть населения Великого княжества Литовского и Русского, с католической церковью. Уния выразилась в подчинении ряда приходов и престолов православной церкви в польских землях папе Римскому, причем все обряды и установления униатской церкви остались в неприкосновенности. Впоследствии, с установлением в этих регионах власти Российской империи, большинство униатских приходов возвратились в подчинение Московского патриархата. Политические события последних десятилетий привели к оживлению униатского движения.

*Победоносцев* Константин Петрович (1827–1907) — русский политический деятель, ученый-правовед и публицист. Первоначально придерживался либеральных взглядов, но затем, видя результаты реформ Александра II, перешел на консервативные, государственно-охранительные позиции. Преподавал законоведение великим князьям, в том числе будущим императорам Александру III и Николаю II. Имел большое влияние при дворе. Вышел в отставку после принятия Манифеста 17 октября 1905 г., провозгласившего основные гражданские свободы.

С. 114. ...*истории Иловайского*... — Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920), русский историк, автор работ по истории России, а также учебников истории для средних учебных заведений.

С. 120. *валганг* — часть крепостного вала, прикрытая бруствером и предназначенная главным образом для установки орудий.

С. 122. *Михаил Николаевич* (1832–1909) — великий князь, брат императора Александра II, генерал-фельдмаршал, генерал-фельдцейхмейстер, наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказской армии в 1862–1881 гг., непосредственно руководил установлением контроля над Западным Кавказом в 1863–1864 гг. В 1881–1906 гг. председатель Государственного Совета.

С. 124. *Ванновский* Петр Семенович (1822–1904) — генерал от инфантерии, военный министр в 1881–1897 гг.

С. 127. *Толстой* Дмитрий Андреевич, граф (1823–1889) — государственный деятель, министр просвещения в 1882–1889 гг.

«*Отечественные записки*» — неоднократно возобновлявшийся (основан в 1829 г.) русский литературно-общественный журнал. Журнал вел энергичную борьбу с правой журналистикой и являлся по существу легальным органом революционного подполья. Снискав славу наиболее либерально-демократического издания своего времени, журнал подвергся гонениям со стороны правительства и в 1884 г. был закрыт.

«*Дело*» — ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в 1866–1888 гг. в Петербурге. Журнал уделял много внимания крестьянскому вопросу, пропагандировал отдельные положения экономических теорий К. Маркса. Правительственные репрессии против «*Дела*» фактически положили конец журналу. После 1884 г. под давлением правительств и цензуры журнал утратил свое общественное значение.

С. 128. «*Московские ведомости*» — газета, издававшаяся в Москве в 1756–1917 гг. До 1909 г. принадлежала Московскому университету и до середины XIX в. являлась крупнейшей газетой в России. С 1863 г. под редакцией М. Н. Каткова (до 1887 г.) и П. М. Леонтьева (до 1875 г.) имела ярко выраженное правое направление и пользовалась большим влиянием. «*Московские ведомости*» выступали за твердую власть, против революционного движения, критиковали реформы 60-х гг. и прогерманскую ориентацию внешней политики правительства.

*Катков* Михаил Никифорович (1818–1887) — русский журналист и публицист. В 30-е гг. примыкал к либеральному кружку Н. В. Станкевича, был близок с В. Г. Белинским, А. И. Герценом, М. И. Бакуниним, сотрудничал в журналах «*Московский наблюдатель*» и «*Отечественные записки*», увлекался английским политическим строем. В 1850–1855 и 1863–1887 гг. редактор газеты «*Московские Ведомости*», в 1856–1887 гг. издавал журнал «*Русский Вестник*». Выдвинулся в первые ряды русских публицистов. С 1863 г., после восстания в Польше, перешел на правонационалистические позиции, вел борьбу против демокра-

тической литературы и революционного движения, выступал одним из вдохновителей политики Александра III.

**Аксаков Иван Сергеевич** (1823–1886) — публицист, поэт, общественный деятель. Сын С. Т. Аксакова. Один из идеологов славянофильства. Редактировал славянофильские газеты «День», «Москва» и «Русь», журнал «Русская беседа». В 1858–1878 гг. пользовался большим влиянием как один из руководителей Московского Славянского комитета. В годы русско-турецкой войны 1877–1878 гг. организовал кампанию в поддержку южных славян. В публицистических статьях и речах Аксаков выступал сторонником самодержавия и православия, пропагандировал идеи славянофильства и панславизма. Выступал за отмену крепостного права и гражданские свободы.

**Шелгунов Николай Васильевич** (1824–1891) — русский революционер-демократ, публицист, литературный критик. В 1863 г. был арестован, до 1877 г. в ссылке в провинциальных городах европейской России. С 1866 г. один из ведущих сотрудников, с 1880 г. фактический редактор журнала «Дело». В 1884 г. вновь арестован и сослан на пять лет в Смоленскую губернию. В 1886–1891 гг. опубликовал в журнале «Русская мысль» цикл статей «Очерки русской жизни», отразивших его идейную эволюцию к марксизму.

**Писарев Дмитрий Иванович** (1840–1868) — русский публицист и литературный критик, философ-материалист, революционный демократ. В 1861–1862 гг. ведущий критик и идейный руководитель журнала «Русское слово». За нелегальную статью, призывавшую к свержению самодержавия, в 1862–1866 гг. отбывал срок заключения в Петропавловской крепости, где написал большую часть своих сочинений. В 1867–1868 гг. сотрудничал в журналах «Дело» и «Отечественные записки». В своих трудах пытался распространить узко понимаемый экономический материализм на все социальные явления.

С. 130. *...под охраной нащетинившихся штыков...* — «конфузливый» это положение являлось, скорее, не для императора Александра III, отец которого за два года перед тем погиб вследствие покушения, а для российского общества. Подобный порядок прикрытия передвижений императора по железной дороге сохранялся до 1917 г., а потом был унаследован и советской властью. В описываемое время он, конечно, был новостью, о которой любили посудачить.

С. 132. *Бильзе* — лейтенант 16-го обозного батальона германской армии в гарнизоне Форбах (Эльзас), в 1903 г. издал под псевдонимом «Франц фон дер Кирхбург» повесть «В маленьком гарнизоне». Рисующая жизнь и обстановку службы в германской армии черными красками, книга обратила на себя всеобщее внимание, вызвала сенсацию и была переведена почти на все европейские языки. Издание в Германии было конфисковано, автор отдан под суд и приговорен к 6 месяцам заключения. Однако повесть Бильзе была распропагандирована пацифистскими кругами и вызвала подражателей в других странах, создавших особую обличительную литературу, изображающую военный быт с

его теневой стороны. Наиболее известное из подобных произведений пацифистско-революционной пропаганды в нашей стране — повесть А. И. Куприна «Поединок».

*Драгомиров* Михаил Иванович (1830–1905) — русский крупный военный деятель, знаменитый военный теоретик и педагог, генерал от инфантерии (1891). С 1860 г. преподаватель, в 1863–1869 гг. профессор кафедры тактики академии Генштаба. С 1869 г. начальник штаба Киевского военного округа. В 1873–1877 гг. командовал 14-й пехотной дивизией, блестяще руководил ее частями при форсировании Дуная у Зимницы и при обороне Шипки. С 1878 г. начальник академии Генштаба. С 1889 г. командующий войсками Киевского военного округа, с 1898 г. по совместительству киевский, подольский и волынский генерал-губернатор. С 1903 г. член Государственного Совета. Автор многочисленных трудов по военной истории, тактике, обучению и воспитанию войск, его «Учебник тактики» (СПб., 1879) более 20 лет был основным пособием в академии Генштаба.

*Леер* Генрих Антонович (1829–1904) — русский военный теоретик и историк, генерал от инфантерии (1896), член-корреспондент Петербургской академии наук (1887). В 1851–1852 гг. участвовал в Кавказской войне, в 1854–1858 гг. офицер штаба корпуса. С 1858 г. адъюнкт-профессор по кафедре тактики, с 1865 г. профессор кафедры стратегии и военной истории Академии Генштаба, одновременно состоял профессором кафедры военной истории и стратегии Инженерной академии. В начале 70-х гг. возглавлял комиссию по реорганизации сербской армии, в 1874 г. участвовал в Брюссельской международной конференции о законах и правилах ведения войны. В 1889–1889 гг. начальник академии Генштаба, с 1896 г. член Военного совета. Оставил богатое научное наследие: труды по стратегии, тактике, военной истории, истории военного искусства, в которых стремился обобщить опыт войн XIX в. и учесть влияние на ведение войны и боя массовых армий, нарезного оружия, железных дорог, парового флота и телеграфа. Леер был организатором и редактором наиболее полных научно-справочных изданий — 8-томной «Энциклопедии военных и морских наук» (СПб., 1883–1897) и 4-томного «Обзора войн России от Петра Великого до наших дней» (СПб., 1885–1898).

С. 133. *Теляковский* Владимир Аркадьевич (1861–1924) — полковник кавалерии, выпускник Академии Генштаба, известный не столько военными делами, сколько театрально-административной деятельностью. Управляющий Московской конторой императорских театров (1898–1901), директор Императорских театров (1901–1917). При Теляковском к работе в императорских театрах были привлечены многие выдающиеся деятели отечественной культуры, в частности, Шаляпин, Собинов, Рахманинов.

*Поливанов* Алексей Андреевич (1855–1920) — генерал от инфантерии (1911). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1906 г. помощник военного министра. С 1912 г. член Государственного Совета.

та. В июне 1915 г. был назначен управляющим военным министерством, с сентября военным министром. В марте 1916 г. был освобожден от должности. После февральской революции председатель Особой комиссии по реорганизации армии на демократических началах и председатель комиссии по улучшению быта военных чинов. После октябрьского переворота не у дел. В 1920 г. вступил в Красную армию, был назначен в состав советской делегации, направленной в Ригу для ведения мирных переговоров с Польшей, умер от тифа.

С. 134. *Петров* Николай Степанович (1833–1913) — государственный деятель, действительный тайный советник; главный контролер Министерства Императорского Двора (1883); член Государственного Совета (1893).

*Валь* Виктор Вильгельмович фон (1840–?) — русский военный и государственный деятель, генерал. Начал службу офицером, участвовал в усмирении польского восстания 1863–1864 гг., в 1876 г. перешел на административную службу и был сначала вице-губернатором, затем губернатором в Ярославской, Харьковской, Витебской, Подольской, Волынской и Курской губерниях. В 1892–1895 гг. петербургский градоначальник, в этой должности широко пользовался предоставленным ему правом административных репрессий. В 1895–1901 гг. почетный опекун Ксениинского института, с 1901 г. виленский губернатор, с 1902 г. товарищ министра внутренних дел при министре В. К. Плеве, заведующий отдельным корпусом жандармов. В этой должности проявил большую энергию по расследованию политических преступлений, поощрял методы провокаций. С 1904 г. член Государственного Совета.

С. 135. *Зайончковский* Андрей Медардович (1862–1926) — генерал от инфантерии (1916). Участник Русско-японской (генерал-майор, командир бригады, награжден Золотым оружием) и Первой мировой войн. В 1914 г. начальник пехотной дивизии, с марта 1915 г. командир армейского корпуса, в августе-октябре 1916 г. командовал русско-румынской Добруджанской армией. В апреле 1917 г. переведен в резерв чинов, в мае уволен со службы. В 1918 г. вступил в Красную армию, работал во Всеросглавштабе, в 1919 г. был начальником штаба 13-й армии, служил в Полевом штабе Главкома, в 1922–1926 гг. — профессор Военной академии РККА. Крупный военный теоретик, автор большого числа военно-исторических работ.

С. 139. *Хорошихин* Михаил Павлович (1844–1899) — генерал-майор (1886), оренбургский казак, писатель. Служил в штабах Оренбургского военного округа и войск Уральской области. В 1881–1888 гг. в Главном управлении казачьих войск Военного министерства. Опубликовал много работ по военной истории и военной статистике, наибольший интерес до нашего времени представляют его труды «Казачьи войска: Опыт военно-статистического описания» (1881), «Очерк казачьих войск» (1884), «Забайкальская казачья книга» и «Забайкалье. Значение его для государства» (1893). С 1888 по 1893 г. был наказным атаманом Забайкальского казачьего войска, затем в отставке.



С. 140. *Бадмаев* Петр (до крещения Жамсаран) Александрович (1849–1920) — бурят, принявший православие, действительный статский советник, доктор медицины, лейб-медик императорского двора. Проживал в Санкт-Петербурге, являлся неофициальным представителем далай-ламы, пропагандировал в русском обществе и правительственных кругах концепцию присоединения к России территорий с преобладанием последователей ламанзма — Тибета и Монголии. Боролся против Распутина, но впоследствии стал его союзником. Умер в Петрограде.

*Артамонов* Леонид Константинович (1859–?) — генерал-лейтенант (1907). Участник Ахал-Текинской экспедиции 1881 г., в 1897–1899 гг. находился в составе чрезвычайной миссии в Эфиопии, в 1900 г. участвовал в Китайском походе в должности начальника штаба Южно-маньчжурского отряда, был награжден Золотым оружием, в 1904–1905 гг. участвовал в Русско-японской войне в должности командира бригады, затем 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. В 1906 г. начальник 22-й пехотной дивизии, в 1907 г. главный начальник Кронштадта, с 1911 г. командир 16-го, затем 1-го армейского корпуса, во главе которого вступил в Первую мировую войну. Незадолго до своей гибели командующий 2-й армией генерал Самсонов снял Артамонова с должности, на чем его карьера и закончилась.

*Пржевальский* Михаил Алексеевич (1859–1934) — генерал от инфантерии (1916). В 1892–1901 гг. вел разведывательную работу в Турции под прикрытием должности секретаря российского императорского консула в Эрзеруме. Участник Первой мировой войны на Кавказском фронте, с началом военных действий возглавил Кагызманский отряд, с февраля 1915 г. командир армейского корпуса, награжден орденами св. Георгия 4-й и 3-й степеней. С апреля 1917 г. командующий Кавказской армией, с мая главнокомандующий войсками Кавказского фронта. 5 (18) декабря вместе с руководством Закавказского комиссариата заключил Эрзинджанское перемирие с Турцией. Впоследствии вступил в Добровольческую армию и в конце 1918 г. был назначен командующим добровольческими войсками на Кавказе. С 1919 г. в эмиграции.

*Стремоухов* Николай Петрович (1861–1938) — генерал-лейтенант Генштаба. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 1918 г. участник Белого движения в рядах Добровольческой армии. Председатель контрольной комиссии Комитета содействия Вооруженным силам Юга России (с конца 1918 г. по 1920 г.). После поражения белых войск — в эмиграции в Югославии.

*Федотов* Иван Иванович (1855–?) — генерал от инфантерии (1916). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Служил на Кавказе и в Туркестане. Участник Первой мировой войны (командовал дивизией, затем корпуса, затем армией). Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (1915). В июне 1917 г. снят с должности и переведен в резерв чинов при штабе Киевского ВО.

С. 142. *Комаров* Александр Виссарионович (1830–1904) — генерал от инфантерии. В 1855 г. окончил Академию Генерального штаба. В 1883 г. был назначен начальником Закаспийской области, на этом посту осуществил присоединение к Российской империи Мервского, Тедженского, Серахского и Иолатанского оазисов. Эти присоединения были окончательно закреплены за Россией после упоминаемого автором Кушкинского инцидента (18 марта 1885 г.).

*Другой Комаров...* — Комаров Виссарион Виссарионович (1838–1907), журналист и издатель консервативного направления, младший брат А. В. Комарова. Издавал газеты «Русский Мир», «Свет», «Славянские Известия».

С. 152. *Корф* Андрей Николаевич (1831–1893) — барон, генерал от кавалерии. В 1884 г. был назначен приамурским генерал-губернатором, а в 1887 г., кроме того, наказным атаманом приамурских казачьих войск. При нем началась колонизация Южно-Уссурийского края, разработка полезных ископаемых и природных ресурсов.

С. 153. *Муравьев-Амурский* Николай Николаевич, граф (1809–1881) — русский государственный деятель и дипломат, генерал от инфантерии (1858). Участник русско-турецкой (1827–1828) войны и подавления польского восстания (1830–1831). В 1846 г. тульский военный и гражданский губернатор; отличался либеральным образом мыслей, выступал за освобождение крестьян. В 1847–1861 гг. енисейский губернатор, генерал-губернатор Восточной Сибири. Проводил политику активного освоения края и занятия свободных территорий, лично возглавил экспедиции по Амуру в 1854–1855 гг. Подписал со стороны России в 1858 г. Айгунский договор с Китаем, вследствие чего в состав России вошли богатейшие земли общей площадью 1,5 млн. кв. км, за что был награжден графским титулом. С 1861 г. в Государственном Совете.

С. 164. *...бурятских сабинянок.* — Автор намекает на эпизод из легендарного периода римской истории, когда римляне, также испытывавшие недостаток женщин, решали эту проблему похищением женщин из соседнего племени сабинян, что привело к сражению между римлянами и сабинянами.

*...раскольниками поповицинской секты...* — как таковой в расколе не было. Многочисленные секты раскольников делились на два толка: поповский, т. е. признающий роль наделяемого благодатью священства, аналогично православным, и беспоповский, в котором секты, как в иудаизме и у крайних протестантских конфессий Запада, руководились мирянами, завоевавшими себе религиозный авторитет среди последователей.

*...переселены... после первого раздела Польши...* — вследствие гонений на раскольников в конце XVII — XVIII в. большое количество староверов ушло за границу, где образовали раскольничьи колонии. Особенно крупной была своеобразная староверская республика в Польше, на Ветке — речке, впадавшей в Сож у самой границы России, в пределах современной Черниговской области. После первого раздела Речи Посполитой (1772) эта территория вошла в состав Российской империи, и

все население Веткинской колонии опять попало под пресс законов против раскольников и было вывезено в Забайкалье.

*Напуганные «покушением» в Японии ...* — в 1888–1889 гг. цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II) совершал кругосветное путешествие на яхте. После «покушения» в Японии (японский полицейский, решивший, что цесаревич недостаточно почтительно ведет себя в храме, ударил его мечом) путешествие было прервано, и Николай спешно вернулся в Петербург через Сибирь.

*...поезд Екатерины II...* — путешествие Екатерины II на юг России проходило в 1787 г. Поездка имела дипломатический характер — императрицу сопровождали многочисленные представители всех правительств Европы и даже австрийский император Иосиф II. Целью поездки была демонстрация успехов России в освоении незадолго перед тем присоединенных южнорусских степей и Крыма.

С. 167. *...сибирских варнаков...* — варнак — название ссыльного в Сибири.

С. 176. *...с проездом через Сибирь наследника...* — имеется в виду наследник-цесаревич Николай Александрович (1868–1918), император Всероссийский в 1896–1917 гг. под именем Николая II. В октябре 1890–1892 гг. предпринял морское путешествие на Дальний Восток, в Индию, Китай и Японию, где на него совершил покушение японский полицейский Санзо Цуда. Обратный путь Николай совершил сухим путем через Сибирь.

*Кочубей* Виктор Сергеевич, князь (1860–1923) — внук А. Х. Бенкендорфа, шефа Отдельного корпуса жандармов. С 1899 г. начальник Главного управления Уделов. Генерал-лейтенант, генерал-адъютант (1909). С 1917 г. в отставке. Жил в Киеве, затем эмигрировал.

*Оболенский* Николай Дмитриевич, князь (1860–1912) — генерал-майор Свиты Его Величества. По окончании Пажеского корпуса был зачислен корнетом в лейб-гвардии Конный полк (1880). В 1890 г. назначен флигель-адъютантом Александра III. С 1902 г. служил в Министерстве двора. Был управляющим Кабинетом Его Величества. Исполнял личные поручения императора Николая II. К нему была особенно расположена императрица Александра Федоровна, поскольку, когда она в первый приезд в Россию была забракована как невеста цесаревича, Оболенский был единственным кавалером, который не только не отвернулся от нее, а, напротив, удвоил к ней внимание.

С. 178. *Пешков* Дмитрий Николаевич (1859–?) — участник Китайского похода 1900–1901 гг. в составе отряда генерал-майора П. К. Ренненкампа. Полковник (1907). Широкую известность Пешкову принес его конный пробег Благовещенск — Царское Село (7.11.1889–19.5.1890), предпринятый с целью испытания выносливости лошади «монголки», которую использовали забайкальские и амурские казаки. В Царском Селе был представлен императору и получил щедрую награду. Награжден орденами: Св. Владимира 4-й степени с мечами, Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. Станислава 2-й степени с мечами.

*Брусилов* Алексей Алексеевич (1853–1926) — российский и советский военный деятель, генерал от кавалерии (1912). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Перед Первой мировой войной командующий войсками Киевского военного округа, с началом войны командующий 8-й армией, в 1916 г. стал главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, во главе которого в мае — августе провел имевшее частичный успех так называемое «брусиловское» наступление. Брусилов долгое время являлся начальником Офицерской кавалерийской школы, имевшей задачей повышать конное мастерство офицеров кавалерии. Великий князь Николай Николаевич-младший, приняв должность инспектора кавалерии, обнаружил, что искусство кавалеристов русской армии в конной езде недостаточно высоко и принял ряд мер по его повышению. Среди этих мер была интенсификация курса Офицерской кавалерийской школы. Брусилов стал одним из ближайших сотрудников великого князя в вопросе обучения кавалерии и ввел немало новшеств, в том числе «парфорсные охоты», требующие высокого искусства от всадников, за что даже заслужил в русской армии негласное прозвище «берейтора». Охоты эти проводились в арендованном имении в Польше, почему Грулев и говорит «под Варшавой».

С. 180. *Поклевский-Козелл* Альфонс Фомич (1810–1890) — предприниматель и общественный деятель Урала и Сибири. Владелец многочисленных предприятий (в первую очередь, его интересы распространялись на сферу производства алкогольной продукции и торговлю). Основатель первого пароходства на реках Западной Сибири. Участник утверждения проекта и строительства железнодорожной линии Екатеринбург — Тюмень. Меценат, на его средства были устроены десятки школ, училищ, больниц, бесплатных столовых, театров, клубов для рабочих, церквей и т. д. Помогал ссыльным полякам, построил на Урале и в Сибири пять костелов.

*Голицын* Григорий Сергеевич, светлейший князь (1838–1907) — генерал от инфантерии (1896), генерал-адъютант. В 1860–1864 гг. участвовал в заключительных кампаниях Кавказской войны, подполковник, командовал полком на Кавказе, с 1872 г. лейб-гвардии Финляндским полком. В 1876 г. был назначен военным губернатором и командующим войсками Уральской области и наказным атаманом Уральского казачьего войска. С 1885 г. в Сенате, с 1893 г. в Государственном Совете, в 1896–1905 гг. главноначальствующий гражданской частью на Кавказе, командующий войсками Кавказского военного округа и атаман кавказских казачьих войск.

С. 185. *Унтербергер* Павел Федорович (1842–1921) — инженер-генерал, сенатор, член Государственного Совета. В 1888–1897 гг. военный губернатор Приморской области и наказной атаман Уссурийского казачьего войска. Много внимания уделял обустройству крестьян-переселенцев, укреплению казачьего войска вдоль границы, строительству Уссурийской железной дороги, развитию крепости Владивосток. В 1905–1910 гг. — приамурский генерал-губернатор и войско-

вой наказной атаман Амурского и Уссурийского казачьих войск. Способствовал развитию экономики края, руководил расквартированием войск, выведенных из Маньчжурии, укреплял оборону Дальнего Востока.

С. 186. *Лечицкий* Платон Алексеевич (1856–1923) — генерал от инфантерии (1913). Окончил Варшавское пехотное юнкерское училище. Всю службу провел на строевых должностях. Участник Китайской кампании 1900–1901 гг., Русско-японской (георгиевский кавалер, награжден Золотым оружием, генерал-майор) и Первой мировой войн. В 1914 г. командовал армейским корпусом, группой войск, с августа 1914 г. 9-й армией Юго-Западного фронта, награжден Золотым оружием с бриллиантами и орденом св. Георгия 3-й степени. В апреле 1917 г. вышел в отставку. После октябрьского переворота вступил в Красную армию. Впоследствии был арестован, умер в тюрьме.

С. 187. *Японо-китайская война 1894–1895* гг. представляла собой агрессию Японии против Китая с целью установить японский контроль над Кореей и начать проникновение в Китай. В ходе войны японские флот и армия нанесли ряд поражений вооруженным силам Китая и глубоко вторглись на китайскую территорию. По завершившему войну Симоносекскому договору 1895 г. к Японии отошли Ляодунский полуостров, острова Тайвань и Пэнхуледао, Китай отказался от сюзеренитета над Кореей и выплатил Японии контрибуцию.

В ходе переговоров между японской и китайской делегациями в Симоносеки Россия привлекла Германию и Францию к дипломатическому демаршу. 11 (23) апреля Японии была направлена совместная нота, требующая отказа от пункта Симоносекского договора, который предусматривал передачу Японии Ляодунского полуострова. В подкрепление ультиматума Россия провела мобилизацию Приамурского военного округа, а Франция и Германия направили дополнительные силы в состав своих эскадр в Тихом океане. В тексте Симоносекского договора, подписанного 17 (29) апреля 1895 г., эта статья осталась, но при обмене ратификационными грамотами между Японией и Китаем, происходившем в Пекине в мае 1895 г., она была исключена из текста договора. Этот ультиматум вызывал бурное негодование в Японии и в последующем стал одним из поводов к русско-японской войне 1904–1905 гг.

С. 188. *Духовский* (Духовской) Сергей Михайлович (1838–1901) — генерал-лейтенант. В 1893 г. назначен приамурским генерал-губернатором.

*Тифонтай* Иван — крещеный китаец, крупный торговец, игравший роль компрадора для русских военных и гражданских властей со времени строительства Китайско-Восточной железной дороги, в том числе и во время Русско-японской войны 1904–1905 гг.

С. 189. *...постройки города Харбина*. — В 1896 г. был подписан русско-китайский договор о строительстве Китайско-Восточной железной дороги через территорию Маньчжурии, а в следующем году уже началось ее строительство. Город Харбин был построен на месте ма-

ленькой китайской деревушки как административный центр КВЖД и быстро стал крупным торгово-промышленным центром.

С. 190 *...восстаний 1900 года...* — были организованы древними тайными обществами, боровшимися с властью маъчжурской династии, основатели которой завоевали Китай в середине XVII в. Их общим названием в тот момент было «Ихэтуань» («Отряд справедливости и мира») или «Ихэцюань» («кулак, поднятый во имя справедливости»), почему восстание именуют «ихэтуаньским», или «боксерским». Поражение Китая в войне с Японией и последующее представление европейским державам в управление целых областей страны, сопровождавшееся интенсивной христианской миссионерской деятельностью, вызвало в Китае национальное движение. Движение ихэтуаней началось в апреле 1898 г. Очагом восстания стала провинция Шаньдун, в которой в 1899 г. было уже более 40 тыс. вооруженных повстанцев. В начале 1900 г. центр восстания переместился в столичную провинцию Чжили, а число повстанцев выросло до 100 тыс. человек. Войска повстанцев громили иностранные религиозные миссии, причем ненависть к иностранцам часто принимала уродливые формы. Европейские державы и США начали стягивать силы и в мае 1900 г. высадили десанты в районе Тяньцзиня и ввели вооруженные отряды в свои посольства в Пекине. Это стало катализатором восстания в столичной провинции Чжили, а также в Маньчжурии. Десанты европейцев, продвигавшиеся на Пекин, были отброшены повстанцами. В Пекине взбунтовавшиеся китайские солдаты начали убивать европейских дипломатов и осадили посольский квартал. К ним присоединились прибывшие в столицу отряды ихэтуаней. В этой ситуации китайское правительство перешло на сторону повстанцев, рассчитывая канализировать социальный взрыв против иностранцев, и 21 июня 1900 г. объявило войну иностранным державам. После этого восстание охватило весь восток Китая, от Маньчжурии до Юньнани.

Европейские войска, к которым присоединились части США и крупный контингент японских вооруженных сил, захватили форты Таку, прикрывавшие Тяньцзинь, а 21 июня с боем заняли Тяньцзинь. Была создана так называемая союзная армия под командованием германского фельдмаршала Вальдерзее, которая 3 августа начала наступление на Пекин. 14 августа Пекин был захвачен войсками интервентов, 56-дневная блокада посольского квартала снята, а город полностью разграблен. Китайское правительство новым указом обвинило ихэтуаней в создавшейся ситуации и предписало всем правительственным силам и структурам беспощадно расправляться с восставшими. После этого в рядах повстанцев остались лишь наиболее стойкие приверженцы антиманьчжурских тайных обществ, которые продолжали вооруженную борьбу до осени 1901 г. Между тем с декабря 1900 до сентября 1901 г. шли переговоры китайского правительства с представителями держав, осуществивших интервенцию, которые закончились подписанием так называемого «Заключительного протокола», по которому суверенитет

Китай был значительно ограничен, а эти державы получили свободу действий в Китае.

*...выдержал дважды нашествие иноземных завоевателей...* — имеется в виду вторжение японских войск в 1894–1895 гг. и интервенция объединенных сил Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, Франции, США, Японии, России и Италии в 1900–1901 гг.

*...огромные военные контрибуции...* — Китаю пришлось выплатить в это время контрибуцию Японии по Симоносекскому мирному договору — 300 млн. юаней (150 млн. долларов) и по Заключительному протоколу 1901 г. — 450 млн. лянов серебра (735 млн. долларов).

*Чан-Тсо-Лин* (в настоящее время принята транскрипция «Чжан Цзолинь») (1875–1928) — с 1918 по 1928 г. военный правитель Маньчжурии, маршал. В 1922 г. провозгласил «автономию» трех северо-западных провинций (фактическую независимость). Покровительствовал русским эмигрантам. Был убит японцами (подрыв поезда маршала) за попытки переориентироваться на США.

*...захвата Восточно-Китайской железной дороги...* — Китайско-Восточная железная дорога была построена в 1897–1903 гг., обошлась России в 375 млн. золотых рублей и, в соответствии с русско-китайским договором 1896 г., обладала экстерриториальностью. После октябрьского переворота власти КВЖД пытались сохранить прежний статус, но в 1918 г. зону дороги заняли японские войска, после чего Япония, США, Великобритания и Франция заключили соглашение, по которому власть в зоне дороги перешла к так называемому Межсоюзному комитету. В 1924 г. в Пекине было подписано советско-китайское соглашение, по которому КВЖД становилась чисто коммерческим предприятием. Но диктаторы Маньчжурии Чжан Цзолинь, а после его гибели наследовавший ему его сын Чжан Сюэлян встали на путь нарушения этого соглашения. Летом и осенью 1929 г. Чжан Сюэлян провел серию провокаций и захватил территорию и имущество КВЖД. Последовал военный конфликт, в котором советские войска разгромили войска Чжан Сюэяна и вынудили его восстановить статус дороги. Осенью 1931 г. в Маньчжурию вторглись японские войска. Все силы Чан Кайши были связаны в борьбе с советским движением и, не желая ослаблять давления на советские районы, он попытался разрешить конфликт через Лигу Наций. Но Япония, в ответ на прокитайскую резолюцию Лиги, просто вышла из нее и к лету 1933 г. завершили оккупацию Маньчжурии и подавление сопротивления антияпонских сил. Поскольку для функционирования дороги создались совершенно невозможные условия, СССР предложил Японии выкупить дорогу, и в 1935 г. она была продана Японии за десятую часть ее цены — 140 млн. иен.

С. 197. *Аганеев* Александр Петрович (1868–1904) — полковник; участник китайского похода 1900–1901 гг., награжден Золотым оружием. По возвращении из кампании преподавал в Николаевской академии Генерального штаба, профессор. С началом русско-японской войны был назначен начальником военного отдела при штабе командующего Тихо-

океанской эскадрой адмирала Макарова, погиб вместе с адмиралом на броненосце «Петропавловск» 31 марта (12 апреля) 1904 г.

С. 198. *Хитрово* Михаил Александрович (1837–1896) — дипломат и поэт. Посланник в Японии в 1892–1896 гг. Создал на Дальнем Востоке российско-франко-германский союз, который не допустил утверждения Японии на материке после ее победы над Китаем. После возвращения в Россию выступал за заключение союза России с Японией.

С. 198 ...*Россия имела неудачных представителей на Дальнем Востоке...* — автор имеет в виду императорского наместника на Дальнем Востоке адмирала Е. И. Алексеева, статс-секретаря Особого комитета по делам Дальнего Востока А. М. Безобразова и вице-адмирала А. М. Абазу (управляющего делами Особого комитета Дальнего Востока). Эти люди своей политикой, направленной на расширение русского влияния в регионе без учета интересов соседних государств, недооценкой военной мощи Японии и проделанной этой страной дипломатической подготовке к войне с Россией, во многом ответственны за поражение нашей страны в Русско-японской войне. К числу «неудачных» деятелей можно отнести и главнокомандующего нашими войсками на Дальнем Востоке генерала от инфантерии А. М. Куропаткина. Способный штабной офицер, он не имел ни опыта, ни таланта для того, чтобы занимать эту должность (что, впрочем, понимал и сам).

С. 201. *Андижанское восстание 1898 г.* прошло на фоне обычных для Средней Азии ирригационных волнений в Ферганской долине, которые пытались использовать духовенство, зараженное идеями пантюркизма, и знать упраздненного Кокандского ханства. Подготовку к восстанию возглавил Мадали-ишан, обосновавшийся в кишлаке Минг-Тюбе, близ Андижана. Он установил связь с турецким султаном и наметал поднять восстание в Намангане, Оше, Маргелане, овладеть Наманганом и восстановить Кокандское ханство под лозунгом газавата (войны с неверными ради торжества ислама). 17 мая Мадали-ишан собрал в кишлаке Минг-тюбе около 2 тыс. дехкан, вооруженных в основном кетменями и холодным оружием, и повел их на Андижан. На рассвете 18 мая повстанцы напали на бараки двух рот 20-го Туркестанского линейного кадрового батальона, расположенные на окраине Андижана. Солдаты быстро отразили нападение, после чего началась расправа с повстанцами. 383 повстанца были осуждены, 18 из них, включая Мадали-ишана, повешены, остальные отправлены на каторгу и поселение. Андижанское восстание было единичным фактом сопротивления местного населения русским властям, с самого момента завоевания и до восстания 1916 г.

*Бревский* Александр Борисович, барон (1834–1910) — генерал от инфантерии. Был начальником штаба Московского и Одесского военных округов, в 1890–1898 гг. Туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками Туркестанского военного округа, в 1898–1906 гг. член Военного совета.



*Рамолик* — медицинский термин, производимый от французского «*ramolie*» («расслабленный»).

С. 203 *Куропаткин* Алексей Николаевич (1848–1925) — русский военный деятель, генерал от инфантерии. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., георгиевский кавалер, награжден Золотым оружием. В 1878 г. адъютант-профессор Николаевской академии Генерального штаба, затем заведующий Азиатской частью Главного штаба. С 1879 г. командир стрелковой бригады, участник Ахал-Текинских экспедиций 1880–1881 гг., награжден орденом св. Георгия 3-й степени. С 1883 г. при Главном штабе, с 1890 г. начальник и командующий войсками Закаспийской области. В 1898 г. назначен управляющим военным министерством, а в 1898–1904 г. занимал пост военного министра и председателя Военного совета. После начала русско-японской войны был назначен командующим Маньчжурской армией, а 13 октября того же года — главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действовавшими против Японии. После разгрома его войск в Мукденском сражении 3 марта 1905 г. был снят с должности и по личной просьбе назначен командующим 1-й Маньчжурской армией. При переводе войск на мирное положение был снят со всех постов и являлся только генерал-адъютантом Свиты его величества. Во время Первой мировой войны в 1915 г. был назначен командиром Гренадерского корпуса, в конце января 1916 г. — командующим 5-й армией, а в феврале того же года — главнокомандующим армиями Северного фронта. С июля 1916 г. Туркестанский генерал-губернатор и войсковой наказной атаман Семипалатинского казачьего войска, руководил подавлением Туркестанского восстания. После февральской революции отстранен от должности, с мая 1917 г. жил в своем бывшем имении в Холмском уезде Псковской губернии. Убит бандитами.

С. 205. *Дрейфус* Альберт — капитан французского Генштаба, еврей по происхождению, был по косвенным уликам в 1894 г. обвинен в шпионаже в пользу Германии, разжалован и приговорен к пожизненному заключению. По этому поводу в французской прессе была поднята целая кампания за пересмотр его дела, страсти во французском обществе разыгрались так, что на рубеже XIX и XX вв. вся Франция разделилась на лагеря «дрейфусаров» и «антидрейфусаров» (наиболее отличались литераторы — А. Франс и Э. Золя, но главную роль в борьбе за оправдание Дрейфуса играли банкиры ротшильдовского круга, сионистские и масонские структуры). В 1899 г. дело Дрейфуса было пересмотрено, пожизненное заключение заменено на 10 лет крепости, после чего президент Французской республики сразу же его помиловал. Борьба за оправдание Дрейфуса, однако же, продолжалась и завершилась в 1906 г. его полным оправданием. Дрейфус был восстановлен в армии с чином майора и награжден орденом Почетного легиона, после чего вышел в отставку. Сионистские и масонские круги использовали дело Дрейфуса для укрепления своих позиций в государственной системе Франции — например, перед Первой мировой войной вскрылось, что ни один офи-

цер во французской армии не мог получить повышения, если его кандидатура не утверждалась представителями масонских лож и т. п. Кстати, ряд современных историков считают, что обвинение против Дрейфуса было доказательным.

«*Новое Время*» — русская газета, издававшаяся А. С. Суворинным в 1868–1917 гг. в Петербурге. Наиболее популярная в России газета, придерживалось внепартийных позиций и с одинаковым рвением критиковала как правительство, так и либерально-революционные круги, за что подвергалась яростным поношениям как справа, так и слева.

*Короленко* Владимир Галактионович (1853–1921) — русский писатель и публицист. Резко выступал против карательных действий правительства в период первой русской революции 1905–1907 гг., активно участвовал в пресловутом деле Бейлиса в качестве защитника обвиняемого, завоевал себе огромный авторитет в среде революционной демократии. После октябрьского переворота именовал себя «беспартийным социалистом», большевиков не поддерживал, но против контрреволюционных действий выступал с прежними жаром и страстью.

С. 206. *Девриен* Альфред Федорович (1842–?) — русский книгоиздатель, швейцарец по происхождению. В 1872 г. основал книжное издательство в Петербурге, издавал в основном литературу по сельскому хозяйству, естествознанию и географии, книги для детей и юношества. В 1917 г. эмигрировал в Германию.

С. 207. *Юденич* Николай Николаевич (1862–1933) — генерал от инфантерии (1915). Участник Русско-японской войны. В 1907–1912 гг. генерал-квартирмейстер штаба Кавказского военного округа, с 1912 г. начальник штаба Казанского, затем Кавказского военных округов. Участник Первой мировой войны, с 1914 г. помощник главнокомандующего войсками Отдельной Кавказской армии, с марта 1917 г. главнокомандующий войсками Кавказского фронта. В апреле был снят с должности. Активный участник белого движения. С 1919 г. в эмиграции.

С. 209. *Николай Константинович* (1850–1919) — великий князь, сын великого князя Николая Николаевича, страдал неизлечимым психическим расстройством. Большую часть жизни провел в Туркестане, был расстрелян большевиками в Ташкенте.

С. 212. *Николай Михайлович* (1859–1919) — великий князь, генерал от инфантерии, известный историк. Масон французской ложи «Биксио». Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и Первой мировой войны, состоял в распоряжении главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Был расстрелян большевиками в Петропавловской крепости.

*Барятинский* Александр Иванович, князь (1815–1879) — генерал-фельдмаршал (1859). Рюрикович, потомок святого князя Михаила Черниговского. С весны 1851 г. был назначен начальником левого фланга Кавказской линии. На этой должности впервые продемонстрировал выработанный им метод боевых действий — непрерывное наступление в высоких темпах, постоянные скрытые обходы позиций горцев, тща-

тельная разведка и заблаговременная подготовка путей подхода. В 1853 г. был назначен начальником штаба Кавказской армии, но осуществление уже вполне выработанного им плана завоевания Кавказа пришлось отложить ввиду начавшейся Восточной войны и переброски всех сил против турецких войск. За участие в сражении при Кюрюк-Дара был награжден орденом св. Георгия 3-й степени, но не смог ужиться с новым командующим Н. Н. Муравьевым и самовольно уехал в Санкт-Петербург. Это нарушение дисциплины ему в конце концов было прощено и, после краткого командования резервным корпусом, Барятинский был назначен новым императором Александром II командиром Кавказского корпуса и наместником на Кавказе в чине генерала от инфантерии. В ходе трехлетней кампании на Восточном Кавказе Барятинский нанес решительное поражение войскам имамата и взял в плен самого имама Шамиля, был награжден орденом св. Георгия 2-й степени, орденом св. Андрея Первозванного и произведен в генерал-фельдмаршалы. В 1860 г. военная и административная деятельность Барятинского на Кавказе завершилась: вследствие расстроенного здоровья он уехал в продолжительный отпуск, а в 1862 г. испросил себе увольнение от занимаемых должностей. Далее Барятинский до самой смерти находился не у дел, сохраняя дружеские отношения с императором Александром и продолжая живо интересоваться военными и политическими проблемами. Встал в оппозицию военным реформам военного министра Д. А. Милютина, резко критиковал их за «бюрократизм».

С. 220. ...*знаменитое письмо Николаю II...* — незадолго до революции великий князь Николай Михайлович послал императору письмо, в котором резко критиковал его политику и, в особенности, влияние Распутина при дворе. По обычаю политиков того времени, письмо это было размножено и широко распространялось в обществе.

С. 221. *Штурмер* Борис Владимирович (1848–1917) — русский государственный деятель. Обер-камергер, член Государственного Совета с 1904 г. 20 января 1916 г. назначен председателем Совета министров, в марте — июле был по совместительству министром внутренних дел, а в июле — ноябре министром иностранных дел. В ноябре 1916 г. был уволен в отставку. Во время февральской революции был арестован, умер в Петропавловской крепости.

С. 222. *Сергей Александрович* (1857–1905) — великий князь, сын императора Александра II, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного совета, московский генерал-губернатор (с 1891 г.), командующий Московским военным округом (с 1896 г.). Убит террористом боевой организации эсеров И. Каляевым в 1905 г.

С. 224. ...*войну с Японией ради своих лесных концессий...* — война с Японией имела причиной активное проникновение России в Маньчжурию, оккупированную в ходе борьбы с повстанцами-ихэтуанями, и Корею. Это проникновение велось по определенному плану создания «Желтороссии», т. е. включения в состав Российской империи Маньчжурии, Кореи и Монголии (ставился вопрос и о Китайском Туркестане и Тибете).

...последней Великой войны... — имеется в виду Первая мировая война.

С. 227. ...наступление на р. Шахэ... — было предпринято русской Маньчжурской армией во время Русско-японской войны вскоре после Ляоянского сражения. Операция проходила с 22 сентября (5 октября) по 1 (17) октября 1904 г. Силы Маньчжурской армии под командованием А. Н. Куропаткина составляли свыше 200 тыс. человек с 758 орудиями и 32 пулеметами, японцы ввели в сражение 1, 2 и 4-ю армии под общим командованием И. Ойямы — всего до 170 тыс. человек, 648 орудий, 18 пулеметов. Сражение носило характер встречных боев и закончилось безрезультатно. Стратегический выигрыш был на стороне японцев, поскольку Куропаткину не удалось осуществить свой план.

Объявлена конституция... — имеется в виду известный манифест от 17 октября 1905 г. о созыве Государственной думы. Конституцией этот манифест не был, но в то время было широко распространено это общепринятое название для него.

С. 228. Мартынов Евгений Иванович (1864–1937) — русский военный теоретик и военный историк, генерал-лейтенант (1910). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг., георгиевский кавалер. После войны Мартынов состоял при Главном штабе, написал немало критических статей и книг по опыту войны, в 1908 г. был назначен командиром стрелковой бригады, с 1910 г. начальником Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. В качестве корреспондента московской газеты «Утро России» принимал участие во 2-й Балканской войне. Вступил в Красную армию, с марта 1919 г. преподавал в Академии Генштаба РККА, с 1924 г. служил в штабе РККА. Репрессирован.

С. 229. ...одесских погромах... — одесские погромы в 1905–1906 гг. носили такой характер, что даже автор не рискует назвать их «еврейскими». То революционеры (в массе именно одесские евреи) громили магазины и сжигали суда с зерном в одесском порту, то контрреволюционеры (в основном русское население) громили еврейские дома — этот цикл повторялся, как минимум, дважды. Положение обострялось политическими провокациями, типа объявления революционерами Одессы «вольным портом», «независимой республикой» и пр. Только ввод в начале 1906 г. в Одессу казачьей дивизии и применение ею холодного оружия против манифестантов и забастовщиков (кстати, единственный случай применения оружия казаками в 1905–1907 гг.; как правило, они ограничивались нагайками) прекратил массовые волнения в Одессе.

С. 230. ...в бою под Шилехе... — имел место во время сражения на р. Шахэ. 9 октября (26 сентября) 1904 г. японские войска перешли в контрнаступление и в ночь на 12-е вышли к р. Шилихэ, оттеснив за нее 3-ю пехотную дивизию, в составе которой действовал 11-й Псковский полк полковника Грулева. Ранним утром японцы вновь атаковали, и части 3-й дивизии, обстреливаемые фланговым огнем, отступили в беспорядке, оставив противнику две батареи. Последующая контратака оказалась неудачной, и деморализованные части 3-й дивизии продолжали отступать в беспорядке.

С. 231. *Покровский* Николай Николаевич (1865–1930) – государственный деятель; тайный советник (1913). Товарищ министра финансов в 1906–1914 гг. В январе – ноябре 1916 г. министр иностранных дел. После октября 1917 г. в эмиграции.

...*Разуваевым и Колупаевым...* – часто употреблявшиеся М. Е. Салтыковым-Щедриным в его сатирах «говорящие фамилии» для обозначения «кулаков», кабатчиков и прочих «миродеров».

С. 233. *...легли костями свыше двадцати тысяч еврейских солдат...* – по подсчетам военных историков, в Маньчжурских армиях за все время Русско-японской войны 1904–1905 гг. состояло 18 тыс. нижних чинов еврейской национальности; из них за время войны дезертировало и перебежало к неприятелю 12 тыс. Е. И. Мартынов сообщает, что только в одной из дивизий с 1 апреля 1904 г. по 1 июля 1905 г. бежало и перебежало к противнику 256 евреев, солдат же других национальностей за это время бежало только 8.

С. 234. *Дунин-Слепец* Иосиф Константинович – штабс-капитан 89-го пехотного Беломорского полка. Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени в 1908 г.

*Мышлаевский* Александр Захарьевич (1856–1920) – русский военный деятель и военный историк, генерал от инфантерии (1912). С 1909 г. командир 2-го Кавказского корпуса, с 1913 г. помощник наместника на Кавказе по военным делам. Участник Первой мировой войны, помощник главнокомандующего Кавказской армией и фактический руководитель ее действий. В марте 1915 г. ввиду болезни уволен в отставку, в июле вновь определен на службу в распоряжение военного министра.

С. 235. *Ставровский* Константин Николаевич (1846–?) – генерал от кавалерии (1907). Член Военного Совета с 4 мая 1905 г.

*Беляев* Михаил Алексеевич (1863–1918) – генерал от инфантерии (1914). Участник Русско-японской войны, награжден Золотым оружием. С 1909 г. начальник отделения Главного управления Генерального штаба, в 1914 г. начальник Генерального штаба, с 1915 г. по совместительству также помощник военного министра. В январе 1917 г. был назначен военным министром. В 1918 г. был арестован и расстрелян ЧК.

С. 236. *Сухомлинов* Владимир Александрович (1848–1926) – генерал от кавалерии (1906). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (георгиевский кавалер, награжден Золотым оружием). В 1904–1908 гг. командующий войсками Киевского военного округа, с декабря 1908 г. начальник Генерального штаба, с марта 1909 г. военный министр. В июне 1915 г. был уволен, в апреле 1916 г. арестован по обвинениям в бездействии, превышении власти, подлогах, лихоимстве и государственной измене. В сентябре 1917 г. был приговорен к бессрочной каторге. В мае 1918 г. был освобожден по амнистии, выехал в эмиграцию.

С. 237. *Туманов* Николай Евсеевич (1844–?) – князь, инженер-генерал (1907). Участник Русско-японской войны. В 1905 г. назначен начальником инженеров Варшавского военного округа, комендант

Брест-Литовской крепости (с 7 июля 1906 г.). Член Военного совета (1910). Во время Первой мировой войны — главный начальник Двинского (бывшего Виленского), затем Петроградского военных округов. В 1916–1917 гг. — главный начальник снабжений армий Западного фронта (снят с этого поста после Февральской революции).

С. 238. *Данилевский* Александр Яковлевич (1838–1923) — биохимик, член-корреспондент Петербургской академии наук (1898). В 1863–1871 гг. профессор Казанского университета, подал в отставку в знак протеста против преследований известного анатома П. Ф. Лесгафта. С 1885 г. профессор Харьковского университета, с 1892 г. — Военно-медицинской академии. Начальником академии, вопреки утверждениям автора, не был.

С. 239. *...чистокровного русака Ленина!* — Назвать Ленина «русском», да еще «чистокровным» автор мог исключительно по незнанию родословной «вождя мирового пролетариата», видимо, ориентируясь на русские имя-отчество-фамилию. Не углубляясь в детали, напомним, что дед Ленина по материнской линии был еврей-выкрест, а бабка по отцовской — калмычка.

С. 240. *Жилинский* Яков Григорьевич (1853–1918) — русский военный деятель, генерал от кавалерии (1910). С 1900 г. генерал-квартирмейстер Главного штаба. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Несмотря на узкий политический и стратегический кругозор, благодаря придворным связям в 1911 г. был назначен начальником Генштаба. Во время переговоров 1912–1913 гг. с начальником французского генштаба генералом Жоффром дал от имени русского военно-политического руководства безответственное обещание выставить против Германии через 15 дней после начала мобилизации 800-тысячную армию. С марта 1914 г. варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского военного округа. С началом Первой мировой войны главнокомандующий войсками Северо-Западного фронта, в сентябре 1914 г. был смещен с этого поста как один из главных виновников в провале Восточно-Прусской операции. В 1915–1916 гг. представитель русского Верховного главнокомандования в Союзном совете в Париже. С сентября 1917 г. в отставке.

С. 241. *«Речь»* и *«Утро России»* — ежедневные газеты либерального направления. *«Речь»* — центральный орган Партии конституционалистов-демократов (кадетов), выходила с 1906 г., закрыта в октябре 1917 г. по приказу большевистских властей. *«Утро России»* издавалась известным предпринимателем П. Рябушинским, с 1912 г. являлась органом Прогрессивной партии. Закрыта большевиками в начале 1918 г.

*В. Климанов, Е. Морозов*

תעמולה לקליטת עליה בחיפה  
חיפה 20 פרץ 33041  
ספריה 8920

## Именной указатель

- Агапеев А. П. — 197  
Аксаков И. С. — 128  
Александр I — 144  
Александр II — 75, 90, 96, 97, 109, 112, 141, 142, 224  
Александр III — 29, 46, 96, 109, 113, 114, 119, 124, 129–131, 138, 140–142, 182  
Александра Федоровна — 100, 101  
Александрович — 181  
Алексеев, доктор — 178  
Алексеев, купец — 159, 160  
Альбинович В. В. — 82–85  
Альбинович В. Н. — 82  
Анкудович — 79  
Анц — 86  
Апухтин — 228  
Артаксеркс — 60  
Артамонов Л. К. — 140
- Бадмаев П. А. — 140  
Барятинский А. И. — 216, 217  
Басаргин — 177  
Бейерлейн — 132  
Беляев М. А. — 235  
Белярминов — 85  
Бильзе — 132  
Бисмарк О. фон — 80  
Богданов — 188  
Бокль — 82  
Бочаров — 128, 129  
Бочарова Ф. М. — 132
- Бруслов А. А. — 178  
Бурцев В. Л. — 8
- Валь В. В. фон — 134  
Ванновский П. С. — 124  
Венюков М. И. — 107  
Веревкин — 112  
Виктория — 191  
Владимир Александрович — 97  
Вогак — 198  
Волков — 176  
Вревский А. Б. — 201, 202, 210  
Высотский — 112
- Гаарман — 53  
Гаман — 60  
Генрих Прусский — 119  
Гервиниус — 85  
Герцен А. И. — 33  
Гжеляховский — 112, 118  
Голицын Г. С. — 180, 181  
Голицын Н. С. — 107  
Горбунов П. — 94  
Грановский — 82  
Грулев С. — 84  
Грулев Я. — 80, 83, 85  
Гумбольдт — 82  
Гусев — 125
- Данилевский А. Я. — 238  
Девриен А. Ф. — 206  
Дзержинский Ф. Э. — 239

- Дондуков-Корсаков — 145  
 Драгомиров М. И. — 49, 132–135,  
 139, 140  
 Дрейфус А. — 205  
 Душин-Слепец И. К. — 234  
 Духовской С. М. — 188, 202, 203,  
 206, 207, 210  
 Дюма А. — 82
- Екатерина II — 161, 177  
 Елизавета Федоровна — 100, 101
- Жиллинский Я. Г. — 240
- Заварзин — 118  
 Зайончковский А. М. — 135  
 Заруцкий — 78  
 Зельман фон — 117–119  
 Зигер-Корн фон — 96
- Иаков — 52  
 Иванов — 180  
 Изметьев — 228  
 Иловайский Д. И. — 114  
 Ильина — 232
- Калиновский — 74  
 Каракозов Д. В. — 75, 76  
 Катков М. Н. — 128  
 Квицинский — 87  
 Колокольцев — 16  
 Колупаев — 231  
 Комаров А. В. — 142  
 Комаров В. В. — 142  
 Комарова К. Н. — 142  
 Копылов А. — 71  
 Короленко В. Г. — 205  
 Короткевич — 135  
 Корф, атаман — 178  
 Корф А. Н. — 152, 153, 180, 182,  
 183  
 Кочубей В. С. — 176  
 Краевич — 82  
 Краевский А. А. — 8  
 Кублицкий — 135  
 Кузнецов — 75
- Кузьмин — 130  
 Кузьяевский — 127  
 Куропаткин А. Н. — 203, 207, 214,  
 233
- Леер Г. А. — 132, 133  
 Ленин В. И. — 239  
 Лесков Н. — 68  
 Лечицкий П. А. — 186  
 Лиговцев — 36  
 Лишина — 145, 146  
 Ломан — 89, 95  
 Львов — 69  
 Лябри де — 198
- Маевский — 140  
 Макаевеи — 60  
 Мария Федоровна — 96, 209  
 Мартынов Е. И. — 228  
 Мартынов, полковник — 110  
 Микутский — 80  
 Милютин Д. А. — 73, 124, 222, 224  
 Минут — 127  
 Михаил Николаевич — 122, 141  
 Мищенко — 145  
 Моммзен Т. — 82, 85  
 Моравский — 70  
 Музыченко — 112  
 Муравьев-Виленский М. Н. — 74  
 Муравьев-Амурский Н. Н. — 153  
 Мышлаевский А. З. — 234
- Наполеон I Бонапарт — 144  
 Наполеон III — 80  
 Николай I — 29, 41, 49, 73, 224  
 Николай II — 5, 29, 46, 138, 176,  
 177, 203, 209, 220, 224, 229  
 Николай Константинович — 209,  
 211  
 Николай Михайлович — 212, 218,  
 219
- Оболенский Н. Д. — 176  
 Овчинников — 238
- Павлов — 86



- Парский — 228  
Парфенов — 95  
Пенде — 159  
Петерс — 239  
Петров Н. С. — 134  
Пешков Д. Н. — 178  
Писарев Д. И. — 128  
Победоносцев К. П. — 113  
Повало-Швейковский А. Н. — 200  
Поклевский-Козелл А. Ф. — 180,  
181  
Покровский Н. И. — 231  
Поливанов А. А. — 133  
Поляков — 40  
Попов — 214  
Пржевальский М. А. — 140
- Разгонов — 126  
Разуваев — 231  
Распутин Г. Е. — 235  
Редигер А. Ф. — 69  
Рихтер — 139  
Розенбах — 202  
Ротшильд — 40, 41  
Рубинштейн А. Г. — 15  
Рутиня — 238
- Савельев — 69, 70  
Сакьямуни — 49  
Самойлов — 197  
Самуил из Нахардоу — 23  
Семучев — 16  
Сергей Александрович — 222  
Скалон — 241  
Скобелев М. Д. — 107  
Сморгунер — 205  
Соболев — 222, 223  
Соловьев — 109-111  
Спиноза Б. — 23  
Ставровский К. Н. — 235  
Сталли И. В. — 239  
Сташевский — 205  
Столыпин П. А. — 236
- Стремоухов Н. П. — 140  
Стульгинский — 73  
Суликовский — 214, 220  
Сухомлинов В. А. — 236, 237
- Теляковский В. А. — 133, 134  
Терехов Ф. — 86  
Толстой Д. А. — 127  
Толстой Л. Н. — 102, 138, 149  
Тифонтай И. — 188  
Троцкий Л. Д. — 41, 239  
Троцкий-Сенютович — 106  
Туманов Н. Е. — 237  
Туров — 122
- Унтербергер П. Ф. — 185
- Федоренко — 89  
Федотов И. И. — 140  
Фишер — 128  
Фишер фон Альбах — 111, 142  
Францева — 143, 180  
Фрейман — 90
- Хитрово М. А. — 198, 199  
Хор — 201  
Хорошкин М. П. — 139, 178, 183,  
188  
Хрулев С. А. — 16
- Чан Цзолинь — 190  
Чижевский — 133
- Шелгунов Н. В. — 128  
Шиллер Ф. — 127  
Штюмер Б. В. — 221
- Эйнштейн А. — 65
- Юденитч Н. Н. — 207  
Юрковский — 239
- Янжул — 225

# Содержание

Мое исповедное слово .....	5
----------------------------	---

## Часть первая. Гетто

Глава I. Детство в черте оседлости .....	11
Глава II. Быт домашний и религиозный в черте оседлости .....	31
Глава III. Общественный быт .....	63
Глава IV. Поиски путей в жизни .....	77

## Часть вторая. После Рубикона

Глава V. Жизнь и служба армейского офицера .....	105
Глава VI. Жизнь и служба в Генеральном штабе .....	136
Глава VII. Жизнь и служба в Сибири .....	155
Глава VIII. Служба на Дальнем Востоке .....	176
Глава IX. С Дальнего Востока — в Среднюю Азию .....	197
Глава X. На Кавказе .....	212
Глава XI. С окраины в сердце России и на войну с Японией ....	221
Глава XII. После Японской войны — перед грядущей великой катастрофой .....	227
Примечания /В. Климанов, Е. Филиппов .....	243
Именной указатель .....	269

**Грулев Михаил Владимирович**

## Записки генерала-еврея

Художественное оформление *А. П. Зарубин*

Компьютерная верстка *И. В. Белоусенко*

Корректор *М. В. Лушина*

Издательство «Кучково поле»

105064, г. Москва, Малый Демидовский пер., 3

Тел./факс: (495) 974 61 69, тел.: (499) 763 34 38.

E-mail: kuchkovopole@mail.ru

ООО «Гинсерборся»

Подписано в печать 23.04.07. Формат 84x108/32.

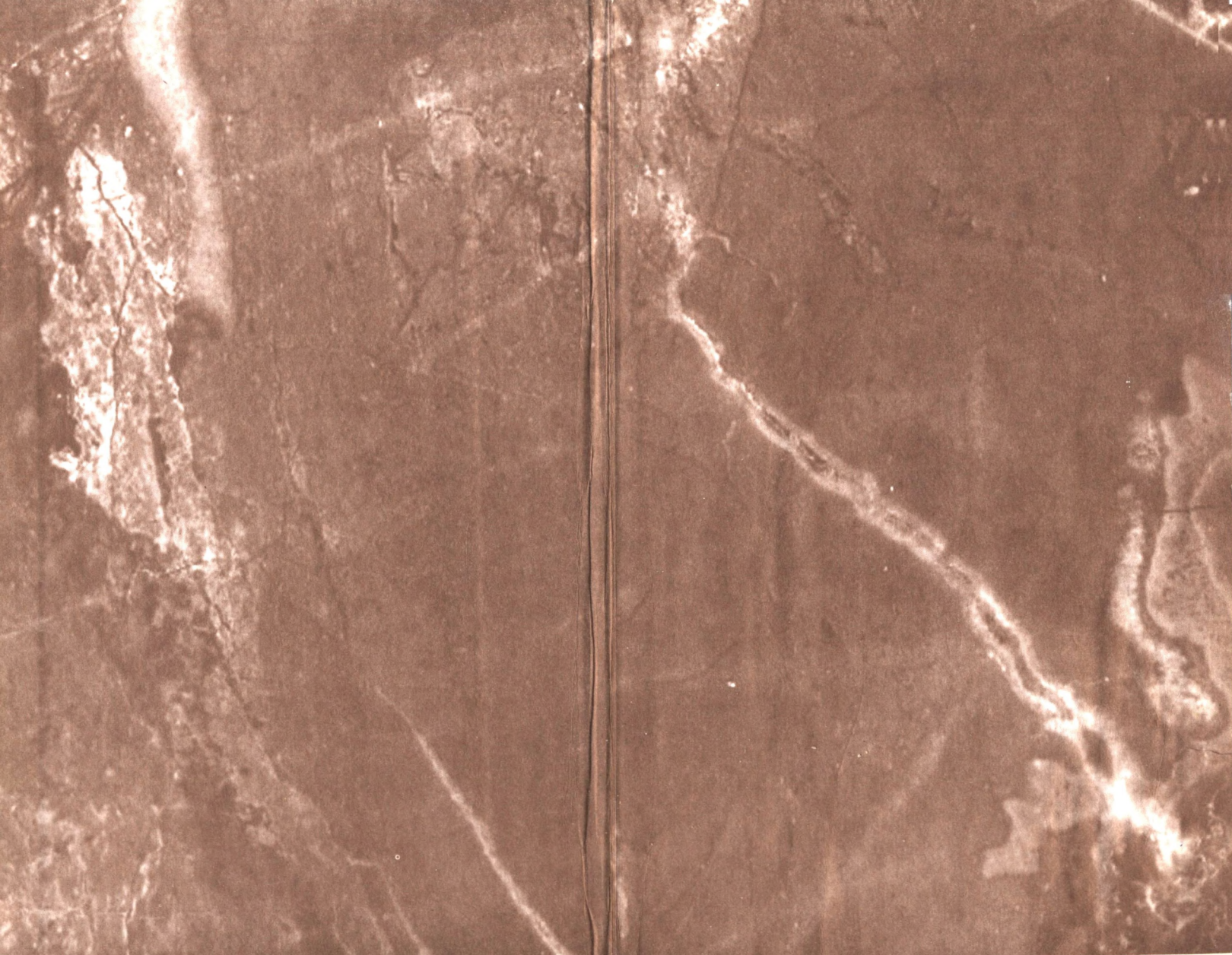
Усл. печ. л. 14,28. Печать офсетная.

Гарнитура «PetersburgC». Тираж 1000 экз. Заказ № 2360.

Отпечатано в полном соответствии  
с качеством предоставленных диапозитивов  
в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».

610033, г. Киров, ул. Московская, 122

OCR Давид Титиевский, июль 2021 г., Хайфа





08-08  
79-00



«Кучково поле» – «Гиперборея»